ВРЕМЯ И МЫ

126

1994

MOSCOW - NEW YORK

ВРЕМЯ И МЫ

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Двадцатый год издания

Выходит один раз в три месяца

126
1994

НЬЮ-ЙОРК, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ЛЕВ НАВРОЗОВ**
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ДЖОН ГЛЭД **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ **ЕФИМ ЭТКИНД** *(зам. гл. редактора)*

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-65,
Факс: (201) 592-69-68,

Московский центр журнала "Время и мы"
Издательская группа "Прогресс—Литера". 119847 Москва,
Зубовский бульвар, 17.
Тел.: 246-13-40, 245-22-43

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot Mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,
92800 PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Берлине
Manama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Юрий НАГИБИН
Дафнис и Хлоя 5
Г. ПОМЕРАНЦ
Благоговение перед любовью 117

ПОЭЗИЯ
Д.А. ПРИГОВ
Великие 134
Михаил АЙЗЕНБЕРГ
Все наше дело, время, — хрупко 139
Валерий ВЫСОТСКИЙ
Судьба России 144

СОВРЕМЕННЫЙ МИР
Лев АННИНСКИЙ
Мысли маргинала 150

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Дмитрий БЫКОВ
Московское затмение 165

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Премиальный период русской словестности 179

ЗАПАД—ВОСТОК
Жириновский и "Си-Би-Эс" 193

ГОЛЛИВУД
"Мне помогали две вещи: поддержка друзей и обратный билет в Россию" 205

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
А. НЮРНБЕРГ
Рассказы старого художника 216

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Два мира Михаила Александрова 270

НЕМНОГОЕ О РАЗНОМ
Книгохранилище XXI века 281
Аэрофлот бросает вызов 287

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнениием редакции

© "**Время** и **мы**"
ISSN 0737-7061

Юрий НАГИБИН

ДАФНИС И ХЛОЯ

История одной любви

12

Первое, что делает война — это резко делит страну и все ее население на фронт и тыл. Можно много говорить о неоднородности и того, и другого: иные прекрасно устраивались на фронте, другие погибали в тылу от голода, холода, болезней. Я же подразумевал под фронтом передний край, где убивают, а под тылом — где правит девиз лысого парикмахера из Клуба писателей: "В этой войне главное — выжить".

Этот девиз взяла на вооружение и Анна Михайловна Гербет. Ввиду крайней сложности ситуации я был мобилизован на обслуживание семьи в качестве, так сказать, вольнонаемного зятя. Каждое утро я обязан был являться на Зубовскую и получать очередное задание, связанное с отовариванием, иначе говоря, созданием продовольственных запасов.

Окончание. Начало см. в №125.

Мы продолжали штурмовать магазины, когда Анну Михайловну осенила идея более кардинально решить продовольственную проблему. Она с удивительной быстротой подыскала дачу на Истре и перевезла туда семью, обеих сестер, племянника Борю, заодно и меня, доказавшего годность к физическому труду.

Небескорыстный характер приглашения выяснился в день приезда в деревню. Каждое утро отправлялись мы в поле по росистой траве с граблями на плече ворошить сено. За восьмичасовой рабочий день мы нарабатывали лишь четверть трудодня. Особенно трудно было ворошить мокрые и тяжеленные рядки клевера, милой, сладковатой кашки, чтоб ей пусто было! Не понимаю, в чем дело, но Даша, чуждая спорта, кроме летнего плавания и танцев, чуждая всех физических усилий, уставала меньше меня. А ее тетки-лошади вовсе не уставали. Что касается Анны Михайловны, то она лишь появлялась в поле и после нескольких ритуальных движений возвращалась домой обслуживать своего ученого мужа. Она приходила будто для того, чтобы "благословить наш скорбный труд и дум высокое стремленье".

Гербета, конечно, не трогали: он выполнял правительственное задание — писал для вузов курс логики. Книгу ему заказали еще до войны и по разгильдяйству забыли отменить заказ.

К вечеру я прямо деревенел от чертовых граблей. Мы ходили окунуться на реку и, случалось, я просто ополаскивался у берега, а Даша плавала, наслаждаясь нагревшейся к вечеру водой. Нас обоих странно возбуждала ее голизна. На Дашу — она сама говорила — действовало то, что ее видят издали, конечно, обнаженной в присутствии мужчины. Возвращаясь домой, мы получали довольно скудный обед: Анна Михайловна жадничала так, словно предстояла, если не столетняя, то тридцатилетняя война, а потом начиналось самое страшное: Гербет читал вслух очередную главу "Логики". Хотелось поваляться, отдохнуть, а надо было сидеть в плетеном кресле на веранде и внимательно слушать. Анна Михайловна не ленилась

проверить, действительно ли я вникал в текст или считал ворон.

Я терпел эту странную и тягостную жизнь, потому что Даша с замечательной находчивостью выкраивала минуты для близости. К нашим услугам был недалекий лес, излучина реки, дровяной сарай, даже горница, где мы спали: старики на продавленном диване, Даша на раскладушке, а я на полу, отделенный от остальной семьи большим обеденным столом. Утром Гербет ходил купаться на реку, освежая тело в студенейшей воде для освежения философской мысли. Анна Михайловна спешила на базар — чем раньше придешь, тем дешевле купишь, ее сопровождала одна из сестер, и Даша ныряла ко мне под одеяло.

Одно комическое происшествие открыло мне полноту неведения Анны Михайловны. Отчим подарил мне упаковку презервативов. Это и всегда был дефицитный товар, а во время войны — подавно. Отчим случайно наткнулся на них в аптеке и решил осчастливить меня до конца войны. Как потом обнаружилось, рассчитаны были эти изделия фашистского коричневого цвета — и размером, и толщиной резины, и увесистостью — на слонов. Предприятие, их выпустившее, исходило из циничного лозунга тех дней: война все спишет. Потребовалось неистовое напряжение моей страсти, чтобы заполнить этот скафандр. Даша закричала от боли, а я изнутри познал, что такое фригидность: все делаешь, как надо, и ничего не чувствуешь. В бешенстве я сорвал гнусную резину и вышвырнул в окно. Там ее через некоторое время подобрал племянник Анны Михайловны Сережа и по естественному ходу детской мысли попытался надуть, но слабых легких на это не хватило. Сережа принес изделие в дом. Никто не мог понять, что это такое. Высказывались разные предположения: камера от какого-то странного продолговатого футбольного мяча, что-то упавшее с неба: деталь воздушной колбасы, занесенная ветром с московской окраины, кусок обшивки дирижабля. Гербет, увлекавшийся научной фантастикой, считал это частью снаряжения инопланетянина. Анну Михайловну осенила блес-

тящая мысль использовать находку в качестве шапочки для купания. Все это время я умирал от страха и завидовал Дашиной выдержке, не озадачившись тем, какая за этим искушенность во лжи.

Колхозная страда была детским лепетом перед той мукой, которая начиналась после ужина, когда Гербет читал очередную главу. Как ни тер я слюнями глаза, как ни щипал себя за руку, ляжку, как ни дергал за мочку уха, а иногда — в отчаянии — болезненно ущемлял половые органы, мне не удавалось преодолеть дремоту. Голос Гербета уподоблялся гудению шмеля, я испуганно вздрагивал и возвращался к полуяви. Это опамятывание не оставалось незамеченным, и Анна Михайловна всякий раз отпускала в мой адрес две-три колкости. Даша ни разу не поддержала мать. Мне кажется, она приспособилась спать с открытыми глазами, как это умеют собаки и лошади, и мое оскорбительное поведение во время интеллектуальной литургии оставалось ей неизвестным.

Тревожась за своих, я собрался в Москву.

Там за время моего отсутствия сложился новый быт. Самым удивительным оказалась московская ночь, когда все спускались в метро и бомбоубежища, а дежурные лезли на крышу тушить зажигалки. Отчим уже дважды дежурил, и ему очень понравилось. Он был храбрым человеком. Мать не уступала ему в отваге, но пожилых женщин на крышу не брали, она оставалась дома.

А институт мой опустел: студенты, преподаватели, деканы и даже директорат ушли на фронт с народным ополчением. Пока я копнил и трахался на истринской пойме, мои товарищи проливали кровь на полях сражений. Как потом выяснилось, не было ни сражений, ни крови, лишь одного сценариста случайно ранило в задницу пулей задремавшего часового. Призывной пункт находился неподалеку, в Останкино. Я поспешил туда и был принят с распростертыми объятиями. В два счета прошел медицинскую комиссию, нашедшую меня в отличной форме, заполнил анкету, пожал левую руку комиссару, правую он успел потерять в боях, и отправился домой до вызова.

В результате этого моего поступка мы решили с Дашей расписаться, чтобы не потерять друг друга в сумятице войны. Сделано это было, разумеется, втайне от ее семьи.

А немцы подходили все ближе, и с фронта доносились страшные вести вопреки лаконично-успокоительным сводкам Информбюро: "Нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике, наши войска отошли на заранее подготовленные позиции." Гербет, который не был чужд ехидства, подсчитал по сводкам, что с начала войны немцы потеряли всю авиацию, и непонятно, чьи самолеты бросают свои бомбы на Москву.

Меня все сильнее мучило, что вгиковские ребята громят безграмотного врага на огневых рубежах, а я торчу в поле, как Микула Селянинович, забывший о своей воинской ипостаси.

В таком юмористическом ключе я сообщил Даше о своем намерении не дожидаться больше вызова, а самому явиться в школу лейтенантов. Это было на террасе, довольно поздно, когда все ушли спать. Я понял вдруг, что Даша уже догадалась о моем решении и сегодня попрощалась со мной.

Когда кончился трудовой день, она взяла меня за руку и повела в лес. Обычно мы шли на реку, я, естественно, не противился, но был удивлен. Отойдя совсем недалеко от опушки, Даша молча сняла через голову сарафан, потом лифчик, трусы, скинула тапочки и осталась совсем нагой. Мы легли на мягкую подстилку из старых, совсем не колющихся игл. Когда я наконец освободил ее, мимо нас, потупив ошалелые глаза, прошел мужик. Даша не обратила на него внимания, словно была не живым человеком, а обнаженной с картины Эдуарда Манэ "Завтрак на траве". Теперь я все понял, то был ее прощальный дар, и в горести последнего объятия она просто не заметила шляющегося по лесу мужика.

И хотя мои слова, сказанные на террасе, не явились для нее новостью, она расплакалась.

Что более всего поразило Анну Михайловну, которая не спала и все слышала? Потеря рабочей силы, Дашины слезы, или то, что она приняла за советский патриотизм? Но что бы там ни было, к этому времени все знали: продолжительность жизни комвзвода на фронте — четыре дня. Ведь она же была женщиной, матерью.

— Что из-за него все плачут? — очень горласто донеслось из горницы. — И Гера Ростовцева плакала, — с чего она взяла? — и эта дурища плачет. Подумаешь, какое сокровище!..

— Мама! — сказала Даша, сразу перестав плакать.

— Ты мне не указывай! Я знаю, что говорю. Его пустили в дом, а он приволок этого мерзкого мальчишку. (Она говорила об Оське.)

— Вы сами его пригласили, — вставил я.

— Надо же дойти до такой наглости! В семейный дом привести этого подонка, этого скомороха!

— Постеснялись бы!.. Вы же мать. Ему, может, жить-то осталось...

— А мне что? — взвизгнула она. — Хороших людей убивают...

— Заткнитесь! — гаркнул я.

— Вы с кем говорите? Кто вы такой? Вы сами-то недалеко от него ушли... А ты дура, дура, дура!.. — это относилось к дочери.

На какое-то мгновение мне показалось, что я брежу. Я обращался к стене и ответ получал от стены. Сейчас я опомнюсь, и все будет по-прежнему. Увы, нет, стена говорила голосом Анны Михайловны, и мерзкие слова ее стали такой же реальностью жизни, как дом, терраса, ночь и все мы, загнанные в этот отсек ночи. Дашу я теперь видел лишь в отблеске зарниц, которые принимал вначале за световые сигналы московской бомбежки. У нее было бессмысленное, отключенное от происходящего лицо. Рухнуло здание, которое она с таким трудом возводила. Если б Анна Михайловна оскорбляла только меня,

я сумел бы переломить себя ради Даши, но Оська был моей болью.

— Вот не думал, что вы можете быть так вульгарны, — сказал я. — Мадам Рекамье с душой кухарки.

В ответ яростный вопль, стенания, слезы.

— Он оскорбил меня, Дявуся! Он оскорбил меня!

— Хочешь, я вышвырну его вон?! — раздался вкрадчивый голос Гербета. — Он спал, когда я читал "Логику", — увеличил список моих преступлений Гербет.

— Он страшный, жестокий, некультурный человек! — вновь завелась Анна Михайловна. — Мы не знали таких. Цинизм, разврат, бездушие, за что нам такое наказание, Дявуся?

— Это выше моего понимания. Когда я увидел, как он клюет носом... Но я щадил ваши чувства. Мне же все было ясно. Чужак в доме. Опасный чужак.

— Новый Резников, — подсказал я.

— Да он в тысячу раз лучше! — взвилась Анна Михайловна. — Он личность! Умный, большой, несчастный, сбитый с толку человек!..

— Анечка, — успокаивающе сказал Гербет. — Не убивайся так. Мы можем от него избавиться.

— Как? — заинтересовалась Анна Михайловна.

— Вспомни, что он говорил вчера утром.

Я крепко выразился насчет полководческого гения товарища Сталина. На десятку, не меньше. И опять мне показалось, что я сплю и сейчас проснусь, и вокруг будет нормальный мир. Ведь этот идеалист, друг Аристотеля и Платона, имеет в виду донос.

Анна Михайловна не отозвалась, возможно, она обдумывала предложение.

— Поеду в Москву, — сказал я Даше.

Мой чемоданчик стоял на террасе. Даша не двинулась, пока я его собирал, и я не подошел к ней.

В Москве я сошел не то в Тушино, не то на следующей станции. Заехал домой, бросил чемоданчик и сразу отправился в Останкино.

— А вы разве не знаете, что студентов вернули из

ополчения? — спросил меня однорукий капитан. — Первого сентября, как всегда, начнутся занятия. Так что доучивайтесь.

Что-то в его повадке показалось мне подозрительным. Пропала сердечность, он не смотрел в глаза, как человек, не привыкший врать, но вынужденный это делать. И не для искушения судьбы, а ради правды, я сказал:

— Мое заявление остается в силе. Я не вернусь в институт.

— Мы не можем вас взять, — голос уже звучал резко, неприязненно. — Приказ о студентах подписан Верховным главнокомандующим.

Дома в два счета разгадали нехитрую загадку, да я и сам уже догадался.

— Тебя не взяли как сына репрессированного, — сказал отчим. — Разве можно доверить взвод исчадию врага народа?

А через два дня ранним утром я открыл дверь Даше. Я находился один в квартире. Вероня, переночевав в метро, отправилась в магазин, а мама с отчимом заигрались в покер у знакомых и остались там.

— Я не могла раньше приехать, — сказала Даша. — Мне не давали взять вещи.

Оказывается, все, что произошло при мне, было жиденькой прелюдией. С моим уходом Анна Михайловна разбушевалась еще пуще, и Гербет вкрадчивым тоном повторил свое предложение в более конкретной форме: сообщить "куда следует" о моих настроениях. Я-то думал, что он хотел припугнуть меня, что тоже было отвратительно, но звездочет-идеалист имел в виду прямой донос.

— Имейте в виду, что я его жена, — сказала Даша. — Меня тоже посадят.

Анна Михайловна не сразу охватила размеры бедствия. Тогда Даша показала им паспорт со штемпелем зарегистрированного брака. Казалось бы, это должно было хоть немного успокоить Анну Михайловну, все-таки, нет позора прелюбодеяния, но истерика пошла крещендо. Она пыталась разорвать Дашин паспорт, лишь полная потеря сил помешала ей осуществить это намерение.

Даша рассказывала скупо, неохотно, пыталась привнести в свой рассказ немного иронии. Она была скрытной, сообщала о себе и своих переживаниях ровно столько, сколько считала нужным, и я не пытался расспрашивать ее о подробностях скандала, но догадывался, что матери она простит, уже простила, а Гербету нет. Это соответствовало и моему отношению к случившемуся. Анна Михайловна была ужасна, но вместе — смешна и даже жалка в своем бесчинстве, она не дошла до подлости Гербета. Она привыкла брать жизнь упорством, давлением сильного, негибкого и неуклонного характера, но забыла, что дочь унаследовала от нее эти качества, усугубив их выдержкой и умением не растрачивать себя впустую. Весь следующий день прошел в уговорах, прерываемых новыми проклятиями и слезами; к вечеру, истратив много сил, она все чаще била на сентименты, вспоминала Дашино детство и как счастливы были они друг с другом, даже попыталась раз стать на колени, чему помешали сестры. При этом она заперла шкаф с Дашиными вещами и спрятала ключ.

К ночи Анну Михайловну все-таки сморило. Даша вскрыла столовым ножом шкаф, забрала нужные вещи и рано утром ушла на станцию, оставив прощальную записку.

Какие страсти, какая ненависть, и к кому — к мальчишке, которого ждет война!.. И, вспомнив о войне, я сообщил Даше, что меня не взяли в школу лейтенантов. "Слава Богу! — она перекрестилась. — Слава Богу!.."

Оказывается, Даша была уверена, что меня заберут, и приехала, чтобы жить вместе с моей матерью.

Послышался мерзкий звук воздушной тревоги. Я сказал Даше:

— Раздевайся. Иди сюда.

Постель стала нашим бомбоубежищем, самым надежным в мире.

А через короткое время вместе с Дашей я переехал на

Зубовскую. Этому предшествовал телефонный звонок Анны Михайловны. Она долго говорила с мамой, потом с Дашей, и семейный совет предписал мне помириться с Гербетами. У Анны Михайловны не хватило высоты извиниться передо мной за истринскую сцену.

Даше было тяжело в нашей крошечной квартиренке, она в ней не помещалась. В ванну был ход через мамину комнату. Даша не могла ни вымыться утром толком, ни принять душ — мама и ложилась, и вставала поздно. На кухню, если там находилась Вероня, было не войти, а в уборную Даша не вписывалась (это не каламбур) из-за своих габаритов. Это помещение годилось для таких астеников, как наша семья (некогда полная Вероня иссохла к старости в дубовый листик), Даша принадлежала к пикническому или атлетическому типу.

Дашу угнетало и то, что она сидит у нас на шее. Я зарабатывал журналистикой сущие гроши, Вероня получала пенсию — двадцать три рубля, весь наш доход. А Гербеты процветали: мало того, что колхозные трудодни обеспечили их, как говорят в деревне, "до новины", Август Теодорович в связи с бегством философской профессуры стал нарасхват: в двух институтах он заведовал кафедрой, а в трех — преподавал, и самое невероятное — его "Логика" пошла в печать. Почти весь философский корпус состоял из марксисто-ленинистов и, естественно, членов партии, Гербет был беспартийным, идеалистом и занимался греками. В философском смысле Москва уподобилась Элладе, в лице Гербета здесь господствовала Афинская школа.

Мне думается, что переезд к Гербетам был началом конца нашего с Дашей брака. Я каждый день навещал маму и Вероню, работал в своем кабинете, но ночевать отправлялся на Зубовскую. А ей, как я понял много времени спустя, наше уже не запретное, а санкционированное свыше, не романтическое, а официальное, почти механическое еженощное соединение стало докучно. Физиологически она в нем не нуждалась, близость была апофеозом риска, домашней борьбы за самостоятельность, бунта, утверждения себя, великой тайной. А сейчас за стеной кряхтели, словно пародируя нас, старики (им, кстати, не было пятидесяти), звенел на редкость голосистый металл советской ночной посуды, рушилась вода в уборной.

Правда, поначалу Даша испытывала некоторый подъем. Она впервые взяла верх над семьей, поступила по-своему, стала женой человека, которого сама выбрала, покончив с унизительно-затянувшейся детскостью.

Из мести Анна Михайловна не давала нам выспаться, в семь утра ее фальшивый голос напоминал, что начался новый день, исполненный забот. Кстати, у нее самой забот почти не было: всех посадили на карточки, писателям дали абонементы или лимиты, какие-либо продовольственные операции стали невозможны да и не нужны — гербетовские закрома и так ломились.

То недолгое время, что Даша жила у меня, характер наших интимных отношений не менялся, они сохраняли свои изначальные особенности: поиск, борьба, преодоление, взятие крепости, а порой нежданный и потому особенно волнующий подарок. Мы были в море, нас качала и била крутая волна, порой захлестывала, срывая дыхание, обдавала колючими брызгами, мы теряли направление, забывая, где берег. Сейчас ничего этого не стало — наш челнок застыл посреди плоского, недвижимого, затянутой ряской пруда. Я заметил это далеко не сразу: сам раскачивая лодку, я воображал, что нас колыхали волны. Их не было. Не требовалось ничего преодолевать, Даша спокойно, с милой обязательностью готова была выполнить свои супружеские обязанности, совершенно ей не нужные, если им не сопутствовали психологические сложности, оживлявшие спящее царство ее плоти. Даше нужна была измена, она изменяла со мной своей матери. Сейчас они были если не в разводе, то в сепарации, как говорят на западе, и акт любви исчерпывался в себе самом, что было достаточно для меня, но не для Даши.

Мы с Гербетом страдали прямо противоположными

психическими сдвигами: я — клаустрофобией, он — агорафобией. При переходе площади его начинало всего трясти, он делал руками какие-то атавистические движения, словно перебирал лианы — жест, унаследованный от наших косматых предков, когда они спасались на деревьях. Обезьяньи движения перемежались с чисто профессорскими — он нервно, дергая носом, поправлял очки. Бомбежки Гербет смертельно боялся, а подвал, служивший бомбоубежищем, любил, в нем не было пространства. Я же боялся подвала куда больше налетов.

Вот завыла сирена и тут же слышится фальшиво-испуганный голос Анны Михайловны:

— Ах, какая ужасная бомбежка!.. Они разрушат город. Мы погибнем под обломками. Скорее вниз, это последняя возможность спастись.

От зловещих причитаний жены Гербет совсем терял голову и начинал тыкаться в стены, как слепой щенок.

— Держись за меня, Дявуся! — кричала Анна Михайловна, спокойно и зорко оглядывая квартиру, чтобы не оставить включенными электрические приборы, газ. — Дашенька, бери Дявусю под правую руку, Юра, толкайте его сзади.

В первый раз этот прием сработал. Мы спустились в котельную. Там было тесно, влажно и жарко. Чувствовал я себя препогано, что не помешало заметить суетливо-кокетливую молодую дворничиху с крашенными перекисью волосами. Она вела себя, будто хозяйка салона, все время приговаривая: "Располагайтесь!.. Чувствуйте себя, как дома... Я пригласила бы вас к себе, но у меня так тесно!.." Зеленые кошачьи глаза сверкали.

Запомним эту молодую дворничиху, она еще появится в нашем повествовании.

Гербет на какое-то время оклемался, но тут близко забили зенитные пулеметы, и он опять выпал из сознания.

После этого визита в котельную Анне Михайловне при всей ее настырности ни разу не удалось загнать нас туда.

Возвращался Подколокольный переулок, возвращалась

Даша тех дней, а не нынешняя: в длинной спальной рубахе, с лицом, намазанным жирным кремом.

Ах, как это было хорошо! На улице что-то ревело, грохотало, порой зенитные пулеметы словно расстреливали нашу комнату, а то случались провалы странного беззвучия — после особенно мощного разрыва, и вновь пальба и гром, и черные хлопья сажи, как галки, мечутся по двору — где-то поблизости горит. Но мы были неуязвимы, подтверждая справедливость горьковских слов из его наивной поэмы, высмеянной пьяным Сталиным: "Любовь побеждает смерть!"

Происходящее между нами обострялось еще и тем, что отбой могли дать в любую минуту, а из котельной до квартиры путь недолгий. Бомбежка управляла ритмом нашей любви по принципу — наоборот. Когда она усиливалась, мы сбавляли темп, когда стихала, мы кидались в погоню за временем...

Но все имеет конец: разгромленные под Москвой немцы почти прекратили налеты. Кончился и наш с Дашей "героический" период, потекла спокойная, размеренная супружеская жизнь с длинной спальной рубахой и жирным кремом на лице. Но мне это вскоре перестало мешать. Я твердо знал, что возле меня единственно нужная мне женщина на свете, с которой проживу всю жизнь. Иногда верилось, что хорошо проживу, с честью и славой, в достатке и радости. Но пускай нам выпадет и не такая прекрасная жизнь, без успеха и славы, все равно это будет жизнь с ней. Меня до слез трогала фраза Александра Грина, которой он заканчивает несколько своих рассказов: "Они жили долго и умерли в один день". Я готов был умереть раньше Даши, но как прекрасно уйти вместе на склоне долгой и всегда горячей жизни.

В эти дни я распрощался с Оськой, чей отъезд почему-то задержался. Наше расставание так и осталось одним из самых пронзительных и больных переживаний всей моей жизни. Он затащил меня к себе и стал навязывать все, что оставалось в порядком опустошенном доме. Родители его были в давнем разводе, но уезжали

в эвакуацию вместе. Отец — художник забрал собственные картины, Оськины рисунки и фотографии (потом он подарит их мне), мать "реализовала" все, что представляло хоть какую-то ценность. Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязывал мне лыжные ботинки и тронутую молью шапку-финку, суконную, с барашковым верхом.

Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, скорее всего навечной, ничтожное копание в шмотье посреди такой войны. Неужели не было о чем поговорить, неужели не было друг для друга серьезных и высоких слов? Все было, да не выговаривалось вслух. Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые "пригодятся". "Держи!.." — а за этим: "Меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно". "Бери кофемолку, не ломайся!" — это значит: "А хорошая у нас была дружба!" "Давай, черт с тобой!" — а внутри: "Друг мой милый, друг золотой, неужели это правда, и ничего больше не будет?.."

А потом я шел вечерней затемненной Москвой и думал, что обязан быть там, где Павлик и Оська, иначе не смогу жить.

И неожиданно это случилось. В исходе сорок первого года были созданы новые фронты со всеми полагающимися службами. ГЛАВПУР испытывал нехватку в людях, владеющих немецким языком для служб контрпропаганды фронтов, армий, дивизий, а также для немецких газет. Наш друг Николай Николаевич Вильмонт порекомендовал меня отделу кадров ПУРа. Меня вызвали, устроили экзамен по языку и, не поинтересовавшись ни моими документами, ни анкетой, зачислили на должность инструктора-литератора газеты для войск противника при ПУ Волховского фронта. Мне выдали обмундирование: полукомандирское-полусолдатское, в петлицы офицерской гимнастерки и куцой солдатской шинели навесили по два кубаря, я сходу стал лейтенантом, без останкинского научения. Кирзовые сапоги, дерматиновая сумка и дерматиновая пустая кобура на офицерском ремне дополняли мою амуницию, да еще я получил шапку из поддельной цигейки пожарного лисьего цвета. И так, беспартийный, даже в комсомоле не состоял, я был произведен в политработники.

До сих пор не понимаю, почему мой, вполне естественный для молодого человека поступок был воспринят Гербетами как семейное дезертирство, почти как предательство. Самому Гербету было наплевать с высокой горы — уеду я или нет, но Анна Михайловна и Даша стали мрачнее тучи, и Гербет, подчиняясь их настроению, осуждающе покачивал мудрой головой. Впервые Даша объединилась с матерью против меня. А в чем моя вина? После разгрома немцев под Москвой, ни столице, ни Гербетам лично ничего не грозило (меньше всего они боялись немцев), от меня им не было ни морального, ни материального прибытка, теперь же Даша получила половину моего денежного аттестата, равного жалованию командира полка. "Бросить Дашу!.. — вздыхала Анна Михайловна. — Как волка ни корми, он все в лес смотрит". У меня ум за разум заходил. В конце концов я не выдержал: "Можно подумать, что я иду не на фронт, а в публичный дом".

Анна Михайловна ответила на эту дерзость легкой истерикой. "Решил и даже не посоветовался!.." "А если с вами что случится?.." "Он не считает нас своей семьей!" — взвилась Анна Михайловна, как будто на этот счет были хоть какие-то сомнения. Я нарушил устав семьи, мужчины здесь не принимают решений, это дело женщин. Из меня хотели вылепить второго Гербета. Перед моим уходом Анна Михайловна милостиво и величественно разрешила поцеловать ей руку. Что я и сделал без особого восторга...

Провожала меня одна Даша. Она была не то что печальна, а как-то сумрачна. Взволнованный предстоящей мне самостоятельной мужской жизнью на войне, я не испытывал сильной тоски, к тому же мне почему-то казалось, что мы вскоре свидимся. И Дашей владела не тоска разлуки, а что-то другое. Теперь я знаю, она боялась за будущее, которое представляла себе куда лучше меня и отнюдь не в тонах утренней Авроры. Не во мне она сомневалась, а в себе самой.

Мы сошли на остановке. Было темно, морозно, угрюмо. За высокой оградой торчала башня крематория. Над дверью школы, где мне предстояло провести ночь, горела синяя маскировочная лампочка. Из глубины незнакомой Москвы надвигался тоже синими огнями Дашин трамвай.

— Я поеду, — сказала Даша.

Мы коснулись друг друга морозными лицами.

Я видел, как она послала себя на ступеньку трамвая рывком грузной женщины.

Ни на миг не мелькнуло мне, что это конец той Даше, которая началась безмятежным коктебельским днем три с половиной года назад.

Даша не исчезнет из моей жизни, но то будет совсем другая Даша, а со своей Дашей я расстался навсегда морозной ночью возле крематория...

13

Фронт очень похож на тыл: здесь так же все проточено доносительством, подсиживаниями, жаждой сделать карьеру, схватить награду или другую жизненную сласть, такой же спрос на водку и баб. Сходство кончается там, где стреляют.

Здесь все присущие человеку чувства сводятся к тоске и страху, но зато кончается советская власть. Она напоминает о себе одиноким вскриком политрука: "За Родину! За Сталина!", когда подымается в атаку. Бойцы таких глупостей не кричат, они идут навстречу смерти с бледными перекошенными лицами и пустыми глазами, изредка можно услышать "ура!", похожее на предсмертный хрип. Советская власть доберется до переднего края после летнего приказа Сталина в виде заградотрядов, стреляющих в спину отступающим.

Меня часто посылали во фронтовые командировки, где я попадал не только под бомбежку, артиллерийский и минометный обстрел, но и под пули снайперов, и мне было страшно. Однажды я участвовал в бою, уцелел воистину чудом, и мне было очень страшно. Когда я летал на бомбежку и вокруг рвались зенитные снаряды, тоже было страшно. Когда я вел рупорную передачу из ничьей земли и немцы ударили из счетверенных минометов (моя первая контузия — уже на Воронежском фронте) — тоже было страшно, но все это — здоровый, естественный страх, преодолеваемый ради порученного дела. А в седьмом отделе и в газете я испытывал подчас тот нерассуждающий, отвратительный страх, каким были омрачены мое детство и юность, когда ночь напролет я ожидал воронка. На меня неутомимо капал (обхожусь этим мягким словом, вместо положенного "стучал", поскольку то было наушничество, а не письменные доносы — впрочем, откуда мне знать?) мой коллега по газете, литературовед Верцман. Он не мог мне простить, что на одном и том же секретариате СП (проклятое совпадение) меня приняли, а его не приняли в Союз писателей. В отместку Верцман восстановил против меня все начальство. Особенно донимал меня главный редактор газеты Полтавский. Такие экземпляры создаются специально для поддержания юдофобства, ибо гнусность Полтавского была окрашена в яркие семитские черты: каракулевая голова, певучие гласные, мучительные усилия сдержать местечковую жестикуляцию, чувство иронического превосходства от мнимого ума — был глуп, как пробка, играл в полководца.

Полтавский по каждому поводу и без всякого повода цеплялся ко мне: внушения сменялись разносами, разносы — публичным унижением. И каждый раз он давал мне

понять, что это не главная моя провинность, что ему известно про меня "так-о-о-е"!..

Меня все чаще посылали то на фронт, то в небо, и я полюбил эти поездки за чистоту физического страха.

Но война, как говорил Швейк, "занятие для маленьких детей", я же пишу о серьезном, о жизни человеческого сердца.

Мы никогда прежде не переписывались с Дашей, а в письмах человек всегда оказывается иным, чем в живом общении. Потом, когда ты привыкаешь к новому ракурсу, как к почерку, он почти сливается со своим привычным образом.

Женщины почти всегда хорошо пишут письма и почти всегда в них — другие. Быть может, причина лежит в лживости женской натуры. Врать письменно, притворяться, имитировать чувство гораздо легче на расстоянии, когда не видно лица, глаз и можно спокойно моделировать воображаемую действительность. Лишь очень прямые натуры, как у моей матери, мгновенно узнаваемы в письмах, но не талантливы.

В Дашиных, умело выстроенных посланиях, я плохо чувствовал ее. Меня удивило, что она умеет так литературно писать, и когда она сообщила нежданную новость, что бросила на последнем курсе ненавистный текстильный институт и поступила в Литературный — имени Горького, я принял это как должное. Конечно, ей помог Гербет, преподававший там философию, потому что домашних работ, свидетельствующих о творческих возможностях, она представить не могла — сроду не притрагивалась к перу. Эпистолярный жанр, у нас отсутствующий, — совершенно особый род литературы. Женщина, пишущая прекрасные письма, может оказаться не в состоянии накорябать газетную заметку. Я никогда не слышал от Даши таких гладких, круглых и пространных фраз, из которых состояли ее письма. Живая речь моей жены была крайне проста, скупа, малословна и точна. Мне нравилось, как она разговаривает, потому что за каждым словом отчетливо возникал предмет, явление, чувство. Слово

было адекватно тому, что оно призвано выразить. А в этой новой мадам де Севиньи я тщетно пытался разглядеть милые черты, она ускользала от меня в своей изящной, чуть жеманной эпистолярной прозе. Но вместе с тем я гордился ее письмами, ценя то усилие, которое она в них вкладывала. Не писала впопыхах, тяп-ляп, лишь бы отделаться, а отдавалась этому, как благостному труду. Брала тугой хороший лист бумаги, свежее перо и на час, а то и более, уходила в общение со мной.

Я послал Даше свою маленькую фотографию, сделанную для командирского удостоверения. Я был пострижен под бокс, что выглядело довольно вульгарно, но художник Шишловский, наш сотрудник, ловко пририсовал меховой треух, придавший мне весьма лихой вид. Даша написала: "Спасибо Шишловскому за красивого мужа". Я снова ощутил ужимку, но горделиво показал письмо Шишловскому. Постепенно я стал как-то привыкать к этой эпистолярной Даше, но слияния контуров — прежнего и нынешнего — не произошло.

Даша словно помолодела. Она и так была далеко не старуха — двадцать три года, но она жила не в советском, а в дореволюционном возрасте; у нас в двадцать три — комсомолка, а в старину — молодая дама, либо грустный перестарок. Даша никогда не выглядела студенткой, а сейчас за ее письмами мне виделось румяное лицо литвузовки, общественницы и чуть ли не комсомолки.

Когда же в этих солнечных письмах возникала нота тоски: она писала, что в обморочной яви видит меня коленопреклоненным возле ее тахты, я испытывал не волнение, а стыд, как от разглашения интимной тайны. И чем дальше, тем отчетливей ощущал я фальшь литературного приема.

Тоска по Даше как-то раздваивалась. Я тосковал и душой, и телом по Даше коктебельской, Даше Подколокольного переулка, Даше на столешнице пустой летней квартиры Гербетов, Даше на краешке низкой тахты, Даше лесной, Даше в грохоте воздушного налета, Даше, тепло и дружески улыбающейся Павлику, когда она впервые

увидела его бритую маленькую солдатскую голову, Даше, танцующей с Оськой под ресторанное танго, и о многих других Дашах, но не по той Даше, что всплывала со страниц длинных, старательных писем.

Даша словно наверстывала ту глуповатую студенческую молодость, которой была лишена в положенное время, потраченное на врага сумбурной антинародной музыки, отчасти — на борьбу за меня.

Случалось ли вам видеть, как выпускают коров после долгого зимнего стойлового содержания на волю, на весеннюю травку? Огромные, неуклюжие, рогатые, с тяжелым выменем и печальными глазами животные прыгают, скачут, задирают морды к небу, мычат, валяются на траве, чуть ли не кувыркаются. Зрелище нелепое и до слез трогательное. Об этом напомнила мне Дашина метаморфоза, но трогательного чувства я не испытывал.

Напротив. Тут пахло воровством. У меня украли мою Дашу с полного ее согласия. Конечно, я далеко не сразу понял, а поняв, признал свою потерю, прошли месяцы, прежде чем я отважился найти для случившегося прямое слово. Каждое новое письмо Даши — она строго дозировала переписку — уводило ее все дальше от меня.

Меж тем, вокруг творилась весна с шипящим таянием толстых снегов, бурлили ручьи, грачи кружились над разрушенной колокольней, пахло землей и набухающими почками, и высокий тонус прифронтовой половой жизни достиг размаха стихийного бедствия. Мужчины совсем осатанели от доступности юных существ в шинелях и голубых мужских кальсонах, плотно обтягивающих крепкие икры. Не знаю, как на других фронтах, на Волховском все дамы и девицы: связистки, почтарши, телефонистки, медсестры, сандружинницы, официантки офицерских столовых, кладовщицы, машинистки и секретарши военных канцелярий щеголяли в люминисцирующих кальсонах цвета неба венецианца Тьеполо. Ночью над Малой Вишерой, где в ту пору располагалось ПУ и другие учреждения фронтового значения, воздух полнился любовным стоном. И в этом половом раю я вел себя, как старый евнух. Надо

мной смеялись, хоть придумывай себе роман, чтобы не быть притчей во языцех. Но я не мог быть с другой женщиной, я был отравлен Дашей.

Особенно остро я ощутил это, когда мы перебрались в деревню Акуловку под Неболчами.

Работники русской газеты жили в поезде, а нас поселили неподалеку в деревне Акуловке: и там я встретил Марусю, самую красивую сельскую девушку в мире, из которой, живи она в городе, вышла бы, как поется в старой песне, "хоть куда мадам". А может, и вышла, я ведь не знаю ее судьбы.

О ней я придумал повесть "Перекур", ставшую фильмом "Пристань на том берегу". Тут много выдуманного, а правда — в прелести Маруси и в том, что наш роман остался незавершенным. Не Маруся, а я тому причиной, мы остановились на пороге, не перешагнув его. Увлеченность Марусей обернулась во мне ощущением не своей, а Дашиной неверности. Я не мог бы ни обнимать, ни целовать Марусю, если б не смутное и вместе неотвязное чувство, что Даша уже не принадлежит мне.

Эта муть давно копилась в душе, но обрела четкие очертания после недавнего письма Даши. Я попросил маму отдать гонорар за рассказ, опубликованный в "Вечерней Москве", моей бывшей няньке Кате, которая очень нуждалась. Наверное, Даша узнала от мамы об этом весьма скромном жесте человеколюбия и отозвалась на него самым неожиданным образом. Сухо, жестко она сообщила мне, что откажется от аттестата, если я намерен продолжать свою благотворительную деятельность. За Дашиным поступком угадывалась направляющая рука Анны Михайловны, она опять овладела дочерью, иначе не подвигнешь благородного человека на низкий поступок. Но при всей жадности и алчности Анны Михайловны дело было не в тех грошах, которые пошли бывшей няньке, а во всей системе отношений. Я становился реальностью, во что Анна Михайловна никогда не верила. Писатель-фронтовик, член СП, мое имя мелькало на страницах газет, журналов, звучало по радио. На выходе была пер-

вая книжка, и уже принята вторая. Словом, я представлял собой материал, из которого можно вылепить мужа. А муж нужен только такой: "муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей". Для этого прежде всего надо оторвать меня от матери и семьи, я должен быть весь, со всеми потрохами, на службе Гербетов. Этого не добьешься, если не расшатать Дашиного чувства ко мне, чем Анна Михайловна несомненно, с радостно-мстительным чувством и занялась.

Сейчас, вспоминая то далекое время, я острее переживаю свою обиду, чем это было на самом деле. Наверное, в молодой черствости, захваченности всем объемом бытия и ощущением бесконечности отпущенного времени, многое воспринималось легче, чем кажется из потомков старости. Помогла мне и упомянутая выше способность к идиотической слепоте, надежной форме самозащиты. Так будет и впредь. Пока женщина не теряла для меня своей привлекательности, я ничего не видел. Потом иссыхал родник, я рвал — сразу и без сожаления — и тут оказывалось, что и раньше знал все, но по доброй воле носил шоры.

Дальнейшие события развивались энергично. Немецкие газеты приказом свыше закрыли, толку от них, как от козла молока. Работников газет стали распределять по другим службам контрпропаганды. Я же получил приглашение в газету воздушной армии Волховского фронта, но отпустить меня не могли без санкции ГЛАВПУРа. И тут вспомнили о старом вызове из "Советского писателя" для ознакомления с версткой и предложили оформить недельную командировку в Москву, если я привезу три литра водки. Через два дня, не успев предупредить домашних о своем приезде, я вошел в квартиренку на улице Фурманова.

Все мое короткое пребывание в Москве шло под песню "Как на темный ерик", невероятно популярную в те дни. Ею приветствовали приезжающих в отпуск или в командировку фронтовиков. Там были такие волнующие слова:

Любо, братцы, любо.
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом не приходится тужить.
Не приходится тужить.

Тут взгляды обращались к герою и все рюмки тянулись к нему. Я едва перешагнул родной порог, как появилась водка, и новая мамина подруга, соседка по подъезду, вдова пародиста Архангельского Кира, зубастая, очкастая, с сильным ловким телом, завела разухабисто:

Как на темный ерик, как на темный ерик
Грянули казаки — сорок тысяч лошадей...

Бедная мама не справилась с потрясением, сразу напилась и отключилась от происходящего. Дождавшись десяти часов — раньше я не решался тревожить Гербетов — я позвонил Даше. Она сама сняла трубку.

— Приезжай, — сказал я.

— Как ты очутился тут? — в голосе растерянность и настороженность.

Я объяснил.

— Мне надо в институт. У нас начинается сессия. Я заеду по пути, только не надолго.

Ее холодная сдержанность не насторожила меня и не огорчила, я думал лишь о том, что сейчас увижу ее.

Она приехала не слишком скоро.

— У вас тут гулянье? — спросила она, закатив глаза.

— Да, выпили немного. Пойдем.

— Куда ты меня тянешь?

— А ты не понимаешь?

Я с какой-то грубой нежностью втолкнул ее в свою комнату. Она показалась мне немного опухшей, похудевшей, что ей не шло, и вообще какой-то не такой.

Диван стоял как раз напротив двери. Я толкнул Дашу на него, она упала навзничь. Я неуклюже, бестолково и, не думая о предосторожностях, овладел ею. Это было словно не с любимой и не с женой, а со случайной девкой в подъезде или у водосточной трубы. Причиной тому избыток желания, и она могла бы это понять, но не захотела. Она поднялась с хмурым, оскорбленным видом, одернула юбку.

— Моя миссия выполнена?

— Я слишком соскучился, — пробормотал я.

Опять она закатила глаза, то ли у нее усилилась косина, то ли все, что шло от меня, вызывало недовольство.

— Мне пора в институт, — сказала она. — Увидимся вечером.

— Приходи сюда. Мама и отчим уйдут к Кире и там останутся. Мы будем одни.

Она чуть подумала и согласилась.

— А когда ты у нас появишься? Завтра день рождения Сережи. Тетка что-то устраивает. Будет мама и мои новые друзья.

— Кто такие?

— Одного ты знаешь, Резунов, молодой прозаик. О другом я тебе писала — Стась, раненый летчик, мы познакомились в госпитале.

Я вспомнил Резунова — Илья Муромец с носом кнопкой. Если б не нос, он был бы хоть куда: высоченный, плечистый, с серыми внимательными глазами, застенчивой улыбкой. Он всячески подчеркивал и свою простонародность, и свою былинность: носил косоворотку, кожух; проза его чуть отдавала Клюевым. Правда, я знал всего один рассказ. Меня позвали на литинститутский семинар, где он читал. Мне запомнилась фраза: "Задрала ноги чудо-девка, стон по лесу пошел!" Ногу она задрала вполне целомудренно, залезая на телегу. Его однокашник, красивый юноша с пятнистым румянцем сказал на слезе: "Старик, ты и сам не знаешь, насколько ты талантлив!" Остальные участники семинара были тоже потрясены, герой молчал, только вздыхал и разводил руками, то был жест Островского, но слова великого драматурга, произнесенные после премьеры "бедность не порок", остались в подтексте: "Простите, братцы, не я, Господь Бог писал моей рукой." Впоследствии, когда отпала былинная шелуха, он стал писать талантливые, крепкие рассказы. Я помог этому человеку, отнявшему у меня жену, издать книгу, написал похвальную рецензию и дал рекомендацию в Союз писателей. Насчет того, что он отнял у меня жену,

это так, для красного словца. Отнять жену нельзя, женщина или хочет этого, или не хочет. Если не хочет, то можно красавца Алена Делона помножить на миллиардера Тернера и еще на Нильса Бора, и все равно ничего не выйдет, если женщина хочет, достаточно одного Резунова.

Он давно исчез, и я не знаю, жив он или умер. У него оказалось серьезное психическое расстройство, поэтому такого здоровяка не взяли в армию. Прежде я думал, что он такой же псих, каким я сам значился до контузий, но у него никто не сидел, он, действительно, был болен.

О летчике Даша мне писала. Он был поляком из Риги, они познакомились в госпитале, над которым шефствовал Литвуз. Госпитальное знакомство продолжилось. Именно Стась, так его звали, перетерпев Резунова и мои пиратские набеги, станет Дашиным мужем, отцом ее ребенка. Он тоже умер несколько лет назад, я узнал о его кончине из газетного некролога. Был слух, что они с Дашей разошлись. Я пишу кладбищенский роман, почти все герои покинули свет. А давно ли все начиналось? Бог мой, как скоро ночь минула!

Но Стась был покамест в глубоком запасе, а на мое поле ворвался Илья Муромец, о чем я тогда не подозревал.

Вечером Даша явилась совсем другой, нежели утром: подмазанная, принаряженная, оживленная и ненастоящая, что я ощутил с присущей мне чувствительностью, тут же растворив в серной кислоте своего спасительного идиотизма. Она изо всех сил маскировала отчуждение, которое испытывала ко мне. Я одного так и не понял, было ли ее поведение результатом домашней разработки, или она вела собственную игру, в которой присутствовал остаток прежнего чувства ко мне. Она решала ряд задач, одной из них — наименее важной — было проверить, сохранилось ли хоть что-то от былого чувства. Но даже если так, дух Анны Михайловны незримо витал над нами.

Ведь при всех обязательствах семья не ставила себе целью отделаться от меня любым способом. Цель была

прямо противоположная. Резунов хорош был для былины, но не для дома Гербетов и вообще не для брачной жизни. Это о нем поется: "Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток." За минувшее время Анна Михайловна не превратилась в сентиментальную идеалистку. Покровительствуя роману дочери, она хотела проучить меня, а главное лишить той опоры, которую я всегда находил в Даше...

В тот вечер мы как будто связали прошлое с настоящим, все было, как встарь: ужин вдвоем, вино, разговоры, постель, вечность. Все на двоих, вечность — только мне. Вернувшись на землю, я закурил. Это было ново для Даши.

— Дай мне попробовать, — попросила она.

Я дал ей беломорину, после двух затяжек она закашлялась, закатила глаза и сказала, что ей дурно. Шатаясь, прошла в ванну, там долго и тщетно давилась, а, вернувшись, сообщила нечто ошеломляющее: "Я попалась". "Как попалась?" "Ты утром не пожалел меня, я забеременела". В нашей практике уже было бескровное лишение девственности, сейчас к этому прибавилась молниеносная беременность. Даша была женщиной с парадоксальной физиологией. Как поступил бы на моем месте нормальный мужчина? Рассмеялся бы или, что более вероятно, набил морду. Как поступил я? Поверил.

Но поверив, повел себя нелогично. Коль зачатие свершилось, в предосторожностях не стало нужды, я же удвоил осмотрительность. Не хотел, видимо, усугублять беременность. Что творилось в моей бедной голове? Что творилось в моей бедной душе? То же, что и всегда: растерянность и бессилие перед любимым человеком. Все, кого я по-настоящему любил, делали со мной, что хотели. Хорошо еще, что таких было не слишком много.

Во все мое оставшееся пребывание в Москве о беременности больше не упоминалось, а я деликатно не расспрашивал. Первую ложь вообще легко проглотить. Впоследствии она может сойти за шутку, розыгрыш, слуховую галлюцинацию, недоразумение, но если дать ей обрасти деталями и аргументами, гниль лжи невыносимо засмердит. Даша знала, что может заставить меня поверить во что угодно, но ведь я жил не в вакууме и вполне мог сказать маме, что ей предстоит стать бабушкой. И Даша села бы в лужу. Нет, в лужу сел бы я. Даша закатит глаза и скажет со вздохом: "Боже, как ты отупел на фронте, шуток не понимаешь."

Если же она, действительно, была беременна, то зачем было сейчас об этом говорить? Можно сказать через месяц, все выглядело бы вполне достоверно. Единственно разумное объяснение, которое пришло мне в голову только сейчас: своим заявлением она обеспечивала Илье Муромцу полную половую свободу. Богатырская натура не умела себя сдерживать, а на резинки у него не было денег. Аборт Даша-таки сделала, по ее словам, о чем я узнал, уже порвав с ней.

Вся тьма, путаница, нелепость, в которую оказались вовлечены участники этой любовной истории, шли от того, что нашим маленьким оркестром дирижировала Анна Михайловна. Она была очень плохим дирижером, ибо думала не о музыке, а том, что стоит за пультом и палочка у нее в руке. Она же нас чудовищно запутала. Наверное, Даше следовало сказать мне все начистоту, я дал бы ей свободу, и тут открылось бы, что мы не можем друг без друга, ведь так оно и сталось, но по-дурному, по-низкому. Анне Михайловне очень захотелось, чтобы адюльтер происходил под прикрытием брака, ей нужно было мое унижение и абсолютная подчиненность дочери. Добилась же она прямо противоположного.

На следующий день я отправился к Дашиной тетке на день рождения Сережи, мальчика, который собирал колоски в истринском колхозе. Наверное, он был хорошим мальчиком, но я как-то проглядел его. У меня не было ощущения непрерывности его существования, мне казалось, что Анна Михайловна всякий раз создает его наново, как гомункулуса, для каких-то своих нужд.

У него нашлась еще побочная задача: помочь мне разыграть роль ветерана, испытанного мечом и огнем усталого воина, которому неуютно среди тыловых крыс,

за крытым скатертью столом, бивуачному человеку, разучившемуся пользоваться вилкой. Мне бы выхватывать печеную в золе картошку струганой палочкой, обрезать кусок мяса у губ ножевым немецким штыком... Завороженный огромной штатской фигурой Резунова, я совсем забыл, что тут сидит настоящий, тяжело раненый воин Стась.

Сережа заинтересовался висящим у меня на ремнях наганом. Я был экипирован несколько причудливо. Кира достала мне в обмен на мою куцую шинельку длиннющую кавалерийскую шинель времен гражданской войны с длиннющим разрезом сзади и стрелами на обшлагах рукавов, поверх много мужественных ремней и наган в громадной кобуре. Я походил на стилизованного кавалериста из кинофильма "Щорс". Стась поглядывал на мою экипировку с добродушным удивлением, но Резунов был ошеломлен двойным величием воина и члена Союза писателей. Сережа, конечно, тянулся к оружию.

Никто не пил, хотя, как выяснилось впоследствии, оба жениха были выдающимися выпивохами: Стась — в прибалтийском туповато-выдержанном пошибе, Резунов — в духе русского алкоголизма. Я лихо, "по-фронтовому", хватил две рюмки, но дальше заклинило, пить одному в компании невозможно. Сквозь густой туман, окутывающий мое сознание в близости Даши, я начал что-то различать, и то, что я различал, мне не нравилось. Я, как Чацкий, с корабля на бал явился на этот тусклый праздник после десятимесячного отсутствия. Неужели так уж необходимо было это сборище? Сережин день рождения можно было отметить, пригласив его сверстников и накормив их касторовыми лепешками, омлетом из яичного порошка и тертой редькой — такова была спартанская закусь в этом бедном доме, да и откуда взяться другой, если Анна Михайловна не посчитала нужным расцветить стол дефицитами из своих закромов? Но смысл тут был — информативный. Меня не словесно, что слова — дым! — а визуально поставили в известность, как обстоят дела. Обычно сдержанная до суховатости на людях Даша была

раскованна, мила и даже весела, чего я за ней почти не наблюдал. Она купалась в мутных водах нашего обожания. Женихи сидели прямые, "как выстрел из ружья", и не переставая смолили самокрутки. Захлебный и торжествующий смех Анны Михайловны, не соответствующий унылой атмосфере, бил по нервам. Я не выдержал и под каким-то мало убедительным предлогом покинул компанию. Меня не удерживали...

Как странно, что эти важнейшие для меня дни, когда я терял Дашу, совсем не остались в памяти. А ведь был среди них и тот день, когда мы виделись в последний раз перед разрывом, происшедшим очень скоро, в мой непредвиденный приезд-проезд. Столько мусора хранится в памяти, а слом жизни не сохранился.

Я "отметился" у Гербетов, провел там скучный, ничем не примечательный, какой-то мертвый вечер, переночевал, утром попил чаю, Даша торопилась в институт — не было в Литвузе за всю его историю более старательной студентки — я в ГЛАВПУР за своим ближайшим будущим. А затем уже полная тьма. Не может быть, чтобы мы больше не виделись, иначе я не позвонил бы ей, вернувшись через несколько дней в Москву. Знаю, что никакого объяснения между нами не было, даже намека на попытку разобраться в случившемся, но что-то такое было, если она не пошла меня провожать.

Я вернулся в Неболчи — ПУ опять перебралось сюда, отдал обещанную водку отделу кадров и услышал нежданное известие: меня отзывает ГЛАВПУР для нового назначения. Надежды работать в нормальной русской газете погорели, контрпропаганда цепко держалась за свои худосочные кадры. Быстрота, с какой пришел вызов, говорила о срочной нужде в таком незаменимом работнике, как я. Это и льстило, и огорчало. Значит, я едва успею заглянуть домой и сразу в путь — в неизвестность. Признаться, военное будущее волновало меня куда меньше возможности хоть день провести со своими. Видать, надо прямо с вокзала ехать в ГЛАВПУР, но ведь я живу совсем рядом — была, не была, пусть день — да мой!

Обниму маму, Вероню, увижу Дашу, а там — хоть на страшный суд.

О пути в памяти — мучительное, бессонное нетерпение, желание подтолкнуть поезд, натужно одолевающий медленно кружащийся однообразный пустынный пейзаж и вдруг застывающий на месте, словно в раздумье: стоит продолжать тяжелую и бесплодную борьбу с расстоянием? В исходе второго дня мы добрались до Дмитрова. Поезд шел не по расписанию, значит, я могу наврать в ПУРе, что ехали четыре дня, никто проверять не станет.

У Сивцева Вражка стоял патруль, я доехал до следующей остановки трамвая, у Кропоткинских ворот. И там был патруль, но на другой стороне. Я схватил свои чемоданы и на рысях помчался в спасительное устье Гагаринского переулка.

Не стану описывать слез Верони, с трудом пресеченных попыток мамы немедленно вызвать Киру и начать пир с "Темным ериком", мною владело одно желание: скорее увидеть Дашу. Что-то случилось со мной, отпало все дурное, я вновь исполнился веры в нашу бессмертную любовь. Я позвонил, долго никто не подходил, затем раздался сонный Дашин голос: "Слушаю!"

— Это я! — закричал я с восторгом человека, принесшего счастливую весть. — У меня всего один день и то незаконный. Отсылают на другой фронт. Я тебя жду.

Долгое молчание, затем;

— Лучше ты приходи... когда освободишься.

— Да я не занят. Просто боюсь засыпаться, на всех углах патрули, а у меня просроченное предписание.

— Так рано... — Даша зевнула. — Я плохо соображаю. Ты можешь перезвонить?

— Когда? — убыль ничем не оправданного оптимизма я почувствую много позже.

— Ну, днем... Мне надо в институт. Ты забыл, что у меня сессия?

— По правде говоря — да! — сообщил я жизнерадостно.

— Ты всегда думаешь только о себе.

— Ладно. Я позвоню в два. Ты вернешься?

Ответа я не услышал, нас разъединили, а может, она положила трубку, считая, что мы договорились.

В начале третьего я позвонил Даше. Трубку подняла Анна Михайловна и сообщила, что Даша не сможет сегодня встретиться со мной, она пошла к подруге, чтобы вместе готовиться к ответственному экзамену. Я только сейчас обратил внимание на тайный яд этого сообщения: мне преподносилась та же ложь, что прежде — Анне Михайловне, когда Даша встречалась со мной — на свет появилась мифическая институтская подруга.

— Ей так важен этот экзамен?

— Она обещала Дявусе сдать его на пятерку.

— Анна Михайловна, вы понимаете, что говорите? Меня могут завтра отправить на фронт. У нас не будет другой возможности увидеться.

— Что вы на меня кричите? (я говорил взволнованным, но тихим голосом — не хотел, чтобы унизительный разговор слышали). — Я-то тут причем? Вы спросили, я вам ответила.

— Мне трудно поверить, что вы говорите всерьез. Даша всегда плохо училась, но ни вас, ни Дявусю, это ничуть не волновало. С чего вдруг вам приспичило делать из нее отличницу?

— Вы что — выпили?

— Не ваше дело. Я больше не позвоню и передайте Даше, чтобы она не смела звонить мне.

Вот так я расстался с Дашей — по телефону да еще через посредницу.

Почти две недели провел я в Москве, спел полсотни раз про "Темный ерик", получил в "Советском писателе" верстку своей книги и отдельно обложку, завел очень приятное знакомство с новыми маминими друзьями — большой сказочно обаятельной семьей, жившей поблизости от нас в Сивцевом Вражке.

Накануне отъезда вдруг раздался Дашин звонок. Наверное, я попался на глаза кому-то из общих знакомых.

— Ты еще здесь? — спросила она чуть иронически. — Значит, все было не так страшно.

— Да, отъезд задержался.

— И не счел нужным сообщить мне об этом?

— Нет, Это ни к чему. Все кончилось.

— Что кончилось?

— Все. Я ведь сказал твоей матери, чтобы ты не звонила.

И положил трубку. Ничего во мне не дрогнуло, мной владела спокойная и непоколебимая злость. Голос Даши был нейтрален, в нем не слышалось теплых нот, она не искала примирения, просто хотела определиться. Насколько серьезно приняла она мои слова, не знаю, но свободу на ближайшее будущее обрела. Она не сомневалась, что в случае необходимости может вернуть меня. Так ли она ошибалась в этом, покажет дальнейший рассказ.

14

На другой день я уехал на Воронежский фронт, откуда вернулся ровно через месяц в весьма неважном виде. Во время рупорной передачи из ничьей земли меня контузило серьезно — и на всю жизнь. Меня отправили во фронтовой госпиталь, после обследования — в Москву на комиссию, где я получил — уже без дураков — плохую психушную статью и направление в больницу имени Кащенко, откуда сбежал в тот же день, ибо ничего страшнее этого богоугодного заведения нет на свете. Два знаменитых профессора: психиатр и невропатолог стали восстанавливать мне душу в домашних условиях. Через два месяца я был в отличной форме, примерно в той, в какой находится петух, суматошно бегая по двору с отрубленной головой. Мне полагалась инвалидная статья. Я не устаю благодарить маму за то, что она удержала меня от горестной судьбы инвалида Отечественной войны. Она сказала: "Дело даже не в том, что замучают комиссиями-перекомиссиями, они тягают на проверку

даже безногих, ты будешь придавлен своей неполноценностью. А ты забудь о статье, живи, как здоровый человек". Я так и сделал. Конечно, болезнь не заговоришь словами, она напоминала о себе, порой довольно жестоко, но с годами все реже и мягче. Я привык к ней, она — ко мне, мы зажили душа в душу. Для меня не в новинку было одолевать жизнь с черного хода, проще говоря, по блату, ведь и на фронт я попал не через парадные двери. Пришло время, и я по блату получил шоферские права, по блату доставал медицинские справки для зарубежных поездок, да и налоги теперь с меня дерут, как со здорового. От районного психдиспансера, где я числился на учете, никакой докуки не было, а с наступлением старческого маразма меня сняли с учета.

Нездоровье скрадывает время, избавляя от ненужных мыслей, еще надежнее, чем водка. А потом меня захлестнула суета устройства, поездок, срочной работы, внутренняя остановка произошла где-то в начале холодного, сырого, черного апреля, похожего не на весенний месяц, а на раннюю февральскую ростепель. И наступило то чувство, которое сродни ностальгии, только не по родине, а по человеку, по всему, что он нес с собой в твою жизнь. Наверное, это имел в виду Пастернак, когда писал о своем умершем родственнике-музыканте: "Черты в две орлиных дуги несли на буксире квартиру, обрывки афиш и цветы, и приторный запах эфира". У эстонцев есть хорошее, короткое, гриновское слово для обозначения такой вот тоски, от которой выть хочется, но я его забыл.

"...к дому на Зубовском у него были другие вопросы..."

Это очень большой по тем временам, П-образный семиэтажный кирпичный дом, построенный в середине тридцатых годов. Внутреннюю часть буквы "П" составлял обширный двор, посреди находился сквер с тощими липами, лавочками, деревянными грибами, беседкой и площадкой для детских игр, обнесенный низенькой оградой. Старые московские дворы поэтичны, этот двор, предтеча бесконечных безликих, скучных дворов новой московской застройки, был начисто лишен поэзии, хоть какой-то

зацепки для лирического чувства. Дашина семья жила на первом этаже в левом крыле дома. Окна располагались довольно близко к земле и, став на цыпочки, можно было заглянуть в комнаты, поэтому окна всегда оставались зашторенными. Все равно, можно было исхитриться и ухватить глазом какие-то предметы обстановки в Дашиной комнате: люстру с матово-молочным колпаком, ее семнадцатилетнюю фотографию на стене — возраст первой любви, угол платяного шкафа; иногда, если штору задергивали небрежно, приоткрывалась другая чать комнаты с книжной полкой и коктебельской акварелью Волошина. Но как он ни тщился, ему ни разу не удалось увидеть хоть краешек дивана, перед которым он стоял на коленях. Кроме дивана, его ничто не волновало в Дашиной комнате, ибо тут все было нейтрально к ее личности. Пейзаж Волошина ее не трогал, в нем не было коктебельского солнца, покрывавшего ее каждое лето плотным шоколадным загаром. Фотографию свою она не любила как напоминание о том, что хочется забыть. Карточку нашел и повесил на стену он. Даша вначале недовольно кривилась, потом перестала ее замечать. Она была интимно связана не с обстановкой, которой распоряжалась мать, а с одеждой, любя дома теплое, мягкое и уютное: платки, чесанки, стеганые халаты, высокие войлочные туфли, а на выход — вещи яркие, броские, придававшие ей уверенность. На людях она была довольно молчалива, пожалуй, застенчива, одежда как бы возмещала недостаток апломба. Поэтому он не часто заглядывал в Дашину комнату.

Его привлекал самый дом тем волнением, которое он испытывал в счастливые времена, приближаясь к нему. Он жил неподалеку, у Кропоткинской площади, но почему-то всегда ехал сюда на трамвае. До войны москвичи не любили ходить пешком, даже одну остановку стремились проехать на трамвае, пусть вися на подножке.

Он отправлялся на свидание с таким чувством, будто оно обязательно не состоится. Сумеет ли он доехать, ведь от Кропоткинской до Зубовской площади дольше, чем до самой далекой звезды? Трамвай сойдет с рельс, он попадет под машину, случится землетрясение, и на месте Дашиного дома останутся развалины. Фашисты без объявления войны разбомбят Москву, хулиганы с Усачевки всадят ему в спину нож, его не впустят в дом за неведомую страшную провинность. Даша заболела, умерла, вышла замуж. И странное дело, последние, более возможные причины его провала волновали меньше, чем глобальные катаклизмы, главное, чтобы дом уцелел. Если дом на месте, то не все пропало.

Он соскакивал на остановке, темное ущелье Кропоткинской оставалось позади, впереди открывали широкий просвет от площади к Хамовникам, возвращая надежду. Он перебегал улицу. Здесь, на углу находилось становище седоусого айсора, в кубанке с вытертым овечьим мехом. За его спиной змеились черные и коричневые шнурки, посверкивали баночки с гуталином, свисали аппетитные гроздья стелек. Вкусный запах сапожной мази оборачивался гарантией успеха. Он уже знал: дом на месте, и сейчас ему откроет дверь Даша в шерстяном или шелковом платке на плечах, аккуратных валеночках или войлочных туфлях, такая уютная, милая, родная, враждебная лишь косиной правого глаза, которая пройдет, как только она убедится, что он не стал чужим. Он любил эту некрасивую косину, потому что то была примета ее заинтересованности в нем...

Но ему ни разу не пришло на ум встретиться с ней, объясниться, не было такой силы, которая могла бы вернуть к ней. Так чего же он добивался своим паломничеством к ее дому? Может, просто воскрешал прошлое, еще не обесцененное настоящим? Но почему такое простое и естественное объяснение не приходило на ум? Скорее уж, он ждал какого-то чуда. Но не чуда возвращения к ней, а чуда освобождения от нее. Ему хотелось увидеть дом не воплощением тайны, а чем он был на самом деле: огромной унылой коробкой, где продолжала жить ставшая ненужной женщина..."

Так я писал когда-то об этой поре моей жизни, писал

с ощущением полной жизненной правды. И все же проговорился сомнением в ней словечком "он". Почему я прибегнул к третьему лицу, если писал о себе? Потому что нет во мне довлатовской свободы в обращении с материалом собственной жизни. Кажется, что Довлатов насквозь, до мельчайших подробностей, автобиографичен, что каждая его повесть — фрагмент жизни автора. Но попробуйте сложить эти фрагменты в единую картину — ничего не получится. Об одном и том же — ключевом — событии: встреча с будущей женой, отъезд на "историческую родину" в США и проч. — он всякий раз рассказывает по-другому. Иногда кажется, что у него было несколько тихих, равнодушно-очаровательных жен, несколько отъездов в эмиграцию. А как все это выглядело на самом деле, он, похоже, и сам не знает, ибо что такое "на самом деле"? Ведь спроси его жену о тех же событиях, и окажется, что она помнит их на свой лад, ее "на самом деле" не совпадет с довлатовскими вариантами. И дело не в том, что память человеческая несовершенна, а в том, что воспоминание у любого человека, тем паче, писателя — это творческий акт.

Я знаю точно, что проделал описанный выше маршрут, но, кажется, всего лишь однажды, правда, в другой раз я подошел к заветному дому со стороны метро "Крымский мост", нарочно проехав свою остановку. Но сколько раз я повторял мысленно тот короткий и бесконечный путь, что был некогда путем к счастью! Значит, не нужно никакого "он", это я раз за разом садился в трамвай у Кропоткинской площади и ехал в недостижимую страну своего прошлого...

А потом Даша позвонила и попала прямо на меня. Я не ждал звонка, не был готов к разговору, а главное, не мог понять, нужен мне ее звонок или нет. Ведь тосковал я по той Даше, что осталась в прошлом, а не по той, чей знакомый и чужой голос доносился из трубки, не волнуя, не радуя, не умиляя, но все-таки тревожа. После каких-то незначащих фраз она сообщила, что сделала аборт. Я промычал что-то нечленораздельное. Но ей удалось пой-

мать доверительный, чуть печальный, дружеский тон, а я уподобился актеру, не выучившему роли. В этом было что-то унизительное.

— Ты не хочешь меня увидеть? — спросила Даша.

— Зачем?

— Разве мы не можем остаться друзьями?

— Можем, наверное.

— Ты пишешь для себя?

— Да. Вот о тебе написал.

— Ты дашь мне прочесть?

Я подумал и ответил утвердительно.

— А где нам увидеться? — спросила Даша.

— Приходи ко мне.

— Нет. Сейчас не время. И у меня не надо. Давай — на ничьей земле.

— Можно у Киры Архангельской. Она даст мне ключ.

— Хорошо.

И мы встретились. Едва она вошла, я сразу, чисто рефлекторно, хотел ее обнять. Она не резко, но холодно и как-то обидно пресекла мою попытку. Даша очень изменилась: похудела и при этом обабилась. Слишком напудренное, погрубевшее лицо утратило прежний смугловатый оттенок. В Даше появилось что-то простонародное. Она не нравилась мне, но все равно вызывала желание. Вспомнилось погодинское: "Быть тебе только другом, я не могу, о, нет." Даша затеяла со мной жестокую игру. Желание возбуждали ее бедра, колени, ноги, надо смотреть не вниз, а вверх, на ее мучнистое лицо. Простонародное появилось в Даше не случайно, женщина непроизвольно принимает тот образ, который желанен близкому ей мужчине. Эту Дашу сформировал черносошный Резунов. Раздражение помогло мне собраться.

Я прочел Даше небольшое, страниц на шесть произведение, посвященное моей любви к ней и нашему разрыву. Так, как написан этот кусок, я тогда не умел писать. Отчим без моего разрешения дал прочесть Андрею Платонову. "Он и все другое так пишет?" — озабоченно спросил Андрей Платонов. "Нет, — честно ответил отчим, — дру-

гое — хуже." "То-то!" — со странным удовлетворением сказал Платонов. Сохранись фрагмент, я дал бы его в эту книгу, но он пропал, так же загадочно, как и многое другое, принадлежащее мне, после смерти матери. Сила владевшего мною чувства нашла в нем необходимые, быть может, единственные слова. И все же, удивительно, как я отважился прочесть Даше свое проклятие сквозь слезы. Особенно жестоко обошелся я с ее матерью. Даша выслушала все с завидным хладнокровием, думается, она не столько слушала, сколько пропускала мимо слуха, как нечто мешающее ее намерениям. Она уловила главное: из равнодушия не может родиться такая ярость.

Я никак не мог понять, зачем понадобилась ей сухая, натянутая, полулитературная встреча. Кирину квартиру можно было освоить с гораздо большей пользой, но Даша сразу, ясно и жестко, показала, что на это нечего рассчитывать. Теряясь в темных закоулках ее души, я по обыкновению стал искать разгадку в Анне Михайловне, в ее сложных жизненных расчетах. Возможно, Даше ничуть не нужна эта встреча, но, как и в прежние времена, она подчинилась нажиму матери. Даша вообще охотно уступала ей по неглавной линии, легко сдавая ненужные позиции, а в том, что, действительно, важно, уступала лишь при сближенности желаний.

У Анны Михайловны было прочное жизненное правило: не терять друзей. Несмотря на возникавшие время от времени сложности — изгнание Пастернака за нелюбовь, а Вильмонта — за сплетни, она сохранила весь киевско-ирпеньский круг, не потеряв никого. Шло ли это от жизненной практичности: старый друг, в самом деле, лучше новых двух, или от лирического чувства, вовсе не чуждого ее большой и сложной душе, не столь важно. Анна Михайловна не разбрасывалась людьми, если они приживались к ткани гербетовского быта. Я вполне допускаю, что, обозрев уже долгую историю наших отношений, она решила не вышвыривать меня на помойку: испытанный человек всегда может пригодиться. У меня мелькнула мысль, что к этому примешивалось некоторое разочарование в

былинном Резунове, но тут я глубоко ошибался (как и во всем прочем) — семья переживала пору наивысшего восхищения богатырем.

Даша, к моему облегчению, вскоре заспешила домой. Мы попрощались, тщетно пытаясь выдавить из себя хоть какие-то знаки взаимного расположения. Она выглядела лучше в этой томительной психологической борьбе, ей достаточно было опустить веки с большими ресницами, и лицо обретало глубокое и печальное выражение, говорящее о тайне, я же оставался весь на виду с пустой, бессодержательной ряшкой и неловким, скованным телом.

Даша ушла, а я прилег на тахту, как-то вяло пытаясь понять, во что меня опять вовлекают. Я курил папиросу за папиросой, но никакого озарения не приходило. Спуститься вниз, где играли в преферанс, либо пели про темный ерик, не хотелось.

Я обманывал себя надеждой, что за истекшие с нашего разговора месяцы сделал большой шаг на пути освобождения от Даши: научился быть с другими женщинами. И первой оказалась та самая Оськина знакомая, которая так откровенно пыталась соблазнить меня. Я ей сам позвонил, и она восприняла мой звонок настолько естественно, без следа удивления, будто после нашей единственной и весьма неудачной встречи прошла неделя, а не годы со страшной, все еще длящейся войной. "Да, милый, куда вы запропастились?..." Хорошо, что в мире существуют нетребовательные и необязательные женщины, не предъявляющие никаких требований ни к себе, ни к другим, кроме требований плоти, которым они подчиняются безоговорочно. Эта милая женщина сразу избавила меня от неуверенности, сопутствующей слишком долгой привязанности к одному объекту. Кавалер де Грие не только от зацикленности на Манон и чистоты души не мог принять утешения от ее подруг, он думал, у него ничего не получится. Профессионалка страсти уверенно вывела меня на путь греха, с которого я не сходил в ближайшие четверть века. Точнее сказать, она навсегда

освободила меня от ощущения греха своим поведением, а главное, правдивыми рассказами о наших общих знакомых, поголовно погрязших в свинстве. И оказалось, что это свинство прекрасно уживается с супружеской любовью, преданностью, взаимным уважением, дружбой и другими прекрасными человеческими качествами.

А сейчас, так и не разобравшись в затеянной Дашей новой игре, я лишний раз убедился, что ни славная моя наставница, ни другие милые — каждая на свой лад — женщины не могут, при всем своем искреннем старании, заменить мне одну подурневшую Дашу с мучнистым лицом. С той ее прелестью, что продолжала жить во мне, ничего не могли поделать все дурные ухищрения грубой реальности. Живая Даша скорее мешала моей любви...

Жизнь продолжалась, смерть продолжалась. Я ездил на фронт и на освобожденные земли, возвращался, писал, встречался с людьми, довольно много пил, но во мне ничего не менялось. Я мог вовсе не думать о Даше и все равно страдал. Это стало моим обычным состоянием, я сжился с ним, как человек сживается с раком, если тот не слишком спешит, горбом, тяжесть этих чуждых изначальной природе надбавок всегда с тобой, но ты дышишь, передвигаешься, делаешь предназначенное тебе дело, гуляешь по праздникам.

И опять прошло время. Даша позвонила и сказала, что надо оформить развод. "Ты выходишь замуж?" — спросил я. "Нет, но глупо ходить в соломенных вдовах." Я не знал, что такое "соломенная вдова", не знаю до сих пор, но аргумент показался мне убедительным. Мы встретились около загса в Чертольском переулке и начали прохаживаться взад вперед, болтая о всякой чепухе, вместо того, чтобы сразу покончить с делом.

Даша похорошела, стала приветлива, оживлена, она надела свой старый синий габардиновый плащ, который я увидел на ней в нашу первую весну и очень любил. Он был на Даше, когда мы ходили сниматься к знаменитому фотографу Наппельбауму на Петровку. У дверей учреждения, которое прекратит наш брачный союз, мы испы-

тывали прилив доверия друг к дугу, прежнюю легкость, даже родность. Ведь нас столько связывало: воспоминания, общие дружбы и общая боль о погибших. Без устали мерили мы шагами тротуар от Кропоткинской до Гагаринского, но знали, что все равно не отговориться, не заполнить словами то долгое молчание, которое воцарилось между нами с последней, тягостной встречи у Киры. Когда мы опомнились, загс закрылся.

— Ну что ж, — с комическим разочарованием сказала Даша, — придется нам придти сюда опять. Завтра я занята, послезавтра ты можешь?.. Давай в три часа, сразу после перерыва, когда меньше разбитых сердец.

Точное наблюдение: люди охотнее разводятся с утра, а расписываются во второй половине дня. В пору нашей молодости загсы одновременно работали в оба конца: на соединение и разъединение, впоследствии эти функции разделили. Очевидно, людям душевно удобнее развестись пораньше и в дневной суете утопить тягостное ощущение, равно удобнее расписаться попозже — и сразу же за свадебный стол. Тогда не было увитых лентами машин и блядских целлулоидных кукол на передке, поездок к могиле Неизвестного солдата и на Воробьевы горы. Жили проще: расписывался — и сразу пьянка.

Когда-то мой отчим Як. Рыкачев в повести "Похороны" произвел социально-психологический анализ обряда советских похорон. Загс — не менее интересная тема. Я не обладаю качествами аналитика, поэтому ограничусь некоторыми соображениями. Почему-то в отдел регистрации браков набирали самых безобразных и злых баб того сумрачного возраста, когда окончательно убита надежда. Грубостью и приказательностью тона служительницы Гименея могли поспорить с всесильными продавщицами продовольственных магазинов. В отделе расторжения уз действовали юные, хотя и не слишком любезные девицы, которым ежедневно давался урок бренности бедных человеческих надежд. Тут не могло быть случайности. Негласный обычай входил в систему государственного подавления личности. Институция брака, вопреки всем од-

нообразным и тупым предсказаниям антиутопистов, осталась при социализме и сохранила свой независимый от власти характер. Государство — за редким исключением — не могло предписать вступить в брак, не повелеть развестись. Более того, и в обозримом будущем не светила выдача мужей и жен по талонам. И коль государство вынуждено было мириться с чудовищным своеволием, тлетворным, враждебным светлому будущему духом индивидуализма, оно старалось сделать максимально невыносимыми, отвратительными акции, потворствующие мятежному духу граждан. Пусть помнят и в минуты мнимой свободы, что они ничто, плевок, всхарк, который растопчет державная нога. Этим же объясняется, почему к разводящимся относились чуть милостивей, те испытали на собственной шкуре и показали другим, к чему приводит самоуправство.

Мы получили свою порцию хамства, но весьма умеренную: не так подошли, не так встали, застим свет, переговариваемся, — мы извинялись и спешили исправить оплошность. Но когда маленькая, пухленькая, со щечками, похожая на лютую морскую свинку девица, глядя в брачное свидетельство, спросила, кто из нас Гербет, я не выдержал. "Я — Гербет Дарья Владимировна, а она — Нагибин Юрий Маркович." Девица раскричалась, брызгая слюной, что не будет нас "оформлять", выскочила из-за стола и убежала.

Мы вышли из загса и побрели в сторону Дашиного дома. Мы шли, то и дело останавливаясь, чтобы попрощаться, но всякий раз, не сговариваясь, шли дальше. Миновали Дом Ученых, пожарную часть с каланчой, увидели просвет Зубовской площади и решили, что я провожу Дашу до дверей.

Почему-то разговор повернул на Резунова. Полагаю, инициатива принадлежала Даше, меня литературный богатырь не больно занимал, ибо я недооценивал его значения в Дашиной, а следовательно, и в моей жизни.

Даша говорила о нем с придыханием, как говорят о чем-то, не вполне постижимом человеческим рассудком.

Он был воплощением подвига. Когда наступили крещенские морозы и кончились дрова для печурок на тощих московских рынках, Гербеты лишь по отсутствию среди них дровосека чуть не разрубили на топливо кухонный табурет. "Ты мужчина или нет?" — кричала Анна Михайловна на Августа Теодоровича, неумело и опасливо жалящего ножку табурета тупым лезвием колуна. И в эту минуту в дверь что-то толкнулось. Гербеты молча переглянулись — время приближалось к комендантскому часу, когда не ходят в гости. Слабо охнув, Гербет скрылся в уборной, Анна Михайловна закрыла лицо ладонями, собирая себя для новой борьбы с судьбой. Наиболее хладнокровная, Даша пошла и открыла дверь. Там стоял заснеженный смеющийся Пастернак, а над ним высилась гора из снега, створки ворот и человека. То был Резунов с топливом на плечах. Он сорвал створку на Усачевке, где было много деревянных строений, и притащил на спине сквозь стужу, метель и воинские дозоры, защищающие город от лихих людей, столкнувшись у гербетовских дверей с жившим у них тогда Пастернаком.

Конечно, все были потрясены таким доказательством любви, силы и бесстрашия. Особенно шумно восхищался Пастернак и даже сделал попытку поднять ворота, но это оказалось непосильным его крепкому, мускульному телу.

Оказывается, Пастернака угощали и творчеством Резунова, которое, как я понял, ценилось у Гербетов неизмеримо выше моего. В Резунове зрилось могучее, земляное, исконно русское начало, его прозаические былины смешно сравнивать с худосочными поделками маменькиного сынка, вскормленного на тощей ниве интеллигентского бумагомарания. Конечно, Даша не произносила никаких обидных слов в мой адрес, она даже не восхваляла Резунова, только, говоря о нем, распахивала свои чудесные светло-карие глаза, будто пыталась охватить огромность этого человека, могучего и щедрого, как сама природа.

Сопротивляясь тому впечатлению, которое произвел на меня Резунов в Дашином изображении, я подумал о его

странном сходстве с врагом музыкального сумбура Резниковым. Они были совершенно разные. Но чем-то схожи: неинтеллигентностью, чужеродностью миру Гербетов. И отсюда их пленящая сила. Гербеты, несмотря на свои русские паспорта, были иноземцами и боялись народа, в котором им приходилось жить. Даже сравнительно цивилизованный Твардовский их пугал, что же говорить о таких стихийных натурах, как Резников и Резунов. Гербетам хотелось народного покровительства, а в русских интеллигентах они видели такую же тварь дрожащую, как они сами и все их привычное окружение. Это относится прежде всего к старшему поколению и духу семьи, несомненно влиявшему на Дашу и укреплявшему ее в очарованности витязем Резуновым.

— Ты что, живешь с ним? — несколько неожиданно для самого себя спросил я.

Она как-то странно сложилась, будто я ударил ее в грудь.

— Да, конечно... сейчас...

Она посмотрела на меня и разрыдалась. Какое же у меня было лицо? Убейте меня, я не сомневался в отрицательном ответе. Если б не было китайской оперы "Исповедь идиота", я так назвал бы эту книгу. Чем объяснить мою противоестественную слепоту? С одной стороны, памятью о том, как мучительно трудно было мне взять эту крепость. С другой — свежей памятью о том, как непросто было мне переступить черту, а я считал себя куда испорченней и ниже ее. Я не допускал, что Даша при ее гордости, даже высокомерии, холодности, выдержке и брезгливости пойдет на близость с человеком, который всегда будет для нее чужой кровью.

Почему завела Даша похвальную песнь Резунову? И как случился ее последний ответ? Ведь она умеет врать, когда надо. Как ни странно, ею двигали честность и порядочность. Она открыла мне все карты. Я потерял ее не по капризу, ее поведение не было данью военной распущенности, за ним стояло сильное чувство, которое расшибает человека, как гром, и ничего тут не поделать.

Ворвавшийся в ее существование человек заплатил по всем счетам любовью, преданностью, терпением, подвигами, он — не знак настырной мировой суеты, а большой, самобытный талант, яркая личность, признанная самим Пастернаком.

Первоначально ей рисовалось классическое трио, которое так дивно и убийственно изобразил Достоевский в "Зимних заметках о летних впечатлениях". Даша не читала этого произведения и не знала, что Достоевский уже все придумал за нее. Он писал о французах. Треугольник состоит из жены — очаровательной Мабиш, мужа Бри-Бри, доброго и снисходительного увальня, и любовника Гюстава, основное качество которого — благородство. Гюстав так благороден, хотя не понять, чем именно, что вызывает у окружающих слезы умиления. Бри-Бри вовсе не дурак, не водевильный околпаченный муж, он все понимает и потому прощает, у него огромное сердце, и он так любит Мабиш, что переносит часть любви на Гюстава. Вот чего хотелось Даше, вот для чего она звонила, спровоцировала встречу у Киры, заговорила меня, чтобы оттянуть развод, она надеялась, что во мне проснется Бри-Бри. Но мы все-таки развелись, и Даша быстро пересмотрела схему. Бри-Бри становится преданным другом. И бац — мой неожиданный глупый вопрос. Она не сомневалась, что я все знаю, их отношения с Резуновым ни для кого не были тайной. Она сказала правду от растерянности, в какую поверг ее мой идиотизм. И зарыдала не только от жалости ко мне, увидев мое опрокинувшееся лицо, но и от досады на себя, что так глупо проговорилась. Тут не было ничего плохого, напротив: Даша не хотела, чтобы я выпал из кузовка, как лишний гриб, я был душевно нужен, она не зачеркивала прошлого, которое мощно жило в ней. Это было почти как любовь, я мог бы гордиться такой привязанностью, если б смотрел на жизнь ясным, трезвым взглядом, а не сквозь белесый налет идиотического доверия.

Даша не ошибалась, полагая, что я продолжаю любить ее, она ошибалась лишь в окраске этой любви. Ей каза-

лось, что, пройдя все испытания и бури, моя любовь стала тем тихим, но прочным чувством — в чем-то и требовательным: нужны встречи, разговоры, поверение тайн, вздохи о минувшем и высокое смирение перед настоящим, которое она испытывала ко мне. Она не понимала, что я люблю ее по-другому — страстью. Моя любовь к ней могла стать — и стала в свой час — помойкой, но не могла стать "вежливым гавотом" или "соловьиным скитом", на это я не был способен. А Даше хватало темперамента, чтобы понять мою обреченность только на такую любовь к ней...

15

Напрасно думал я, что между нами все кончено. Я настолько уверился в окончательном разрыве, что даже женился. Даша откуда-то прослышала об этом неярком событии и позвонила поздравить меня. Голос был исполнен тепла и какого-то милого, чисто женского любопытства. Я сказал, что, к сожалению, ничего интересного о случившемся событии рассказать не могу, после чего Даша пригласила меня в гости. "Знаешь, мама обижается, почему Юра никогда к нам не зайдет. Все-таки, не чужой." Я так изумился, что чуть не на другой день примчался к Гербетам. То был необычайно тусклый визит с неожиданно ярким финалом. Настроившись на родственность, которую обещало Дашино приглашение, я не расшибся, для этого недостаточен был разбег. От Гербета я ничего не ждал, но с Анной Михайловной нас все-таки крепко связывала долгая взаимная неприязнь. Поскольку сейчас повод для нее отпал, это сильное чувство приняло во мне оттенок расположения, близости.

Не понимаю, почему у нас не оказалось темы для разговора. Я со своими поездками, с той незнакомой Гербетам околоправительственной средой, куда меня занесло женитьбой, являлся источником довольно интересной информации, но вопросов ко мне не было. О их житье-бытье я знал от Даши. Мы сидели, пили чай с теми

же касторовыми коржами, что и в начале войны, возможно, они сохранились с тех далеких дней, и вели какие-то ватные речи. Самый воздух казался мне ватным, горло, грудь, бронхи забило ватой, было трудно дышать. Мне в голову не могло придти, что Анна Михайловна получала от меня необходимые ей сведения. "У вас все здоровы?.. Как настроение у Ксении Алексеевны?.. Вера Ивановна еще скрипит?.. Вы часто бываете с ними?.. Семья по-прежнему дружна?.." Я-то слышал в этих изредка роняемых вопросах вялые усилия вежливости, а тут таились смысл и весьма далекий расчет. Истина открылась мне много позже.

Вдруг эта вата разом вспыхнула и сгорела дотла, оставив по себе бодрящий горьковатый запах и несколько лепестков гари — явился почему-то вновь живущий у Гербетов Борис Леонидович Пастернак. Он вошел, с порога рокоча, гудя, рассыпая улыбки вместе с огромными желтыми зубами, не державшимися в деснах, мощный, бодрый, свежий, заряженный жизнью. По его сердечному — впервые — рукопожатию я понял, что ему разонравился Резунов, если вообще когда-то нравился.

— Вы были на лобном месте? — спросил он сходу.

Я не понял. Оказывается, он имел в виду состоявшуюся накануне проработку Зощенко за повесть "Перед восходом солнца" в Союзе писателей. То была генеральная репетиция последовавшего вскоре уничтожения великого писателя. Уже тогда я не посещал гнусных писательских сходок, но мой отчим был там и подробно все рассказал. Больше всего удивляло и огорчало предательство Виктора Шкловского, друга и соратника Зощенко по "Серапионовым братьям", которого я привык чтить за ранние книги: "Гамбургский счет", "Zoo", "Третья фабрика". "Витя, — потрясенно сказал после его хлесткого выступления Михаил Михайлович, — но ты же совсем другое говорил мне в Ташкенте." "Я не попугай," — осклабился большой карлик, как прозвал его Катаев, и обласкал пухлой рукой голый блестящий череп. "Боже, как вы злы, беспощадны

и несправедливы!" — были последние слова Зощенко в литературном застенке.

Я передал Пастернаку в подробностях рассказ отчима. Борис Леонидович пришел в сильное возбуждение сообщившееся, Гербетам, которые слушали меня со скучными лицами. Но Боренька взволнован, Боренька возмущен — все обязаны разделять его чувства.

— Еголин, скотина, звонил мне вчера утром и уговаривал придти на обсуждение: "Это очень важно", — говорил значительным голосом. Вот наглец! — Руки Пастернака обшаривали карманы пиджака, брюк, наконец, нашли какую-то бумажку, и он кинулся к телефону.

— Как вы осмелились приглашать меня на это позорище? — громово разнеслось по квартире. — Это гадость, слышите, гадость! Так обращаться с писателем. И не смейте мне больше звонить! — трубка шмякнулась на рычажок.

Борис Леонидович вернулся в комнату, плотоядно улыбаясь.

— Боренька, вы погубите себя и всех нас, — сказала Анна Михайловна, испуганная ничуть не больше, чем во время бомбежек.

Еголин в ту пору ведал литературой в ЦК.

Гербет нервно поправлял очки, готовый броситься под спасительные своды дворницкой-котельной.

Отстрелявшись, Борис Леонидович пришел в отменное расположение духа и стал шумно восторгаться погодой — стояли солнечные, сухие дни. Удивительно, почему погода так много значила для его мироощущения и поэзии?..

Я жил у своей новой жены, а работать приходил к матери, где у меня была комната, удобный письменный стол, книги и взятая напрокат пишущая машинка "Оливетти". Приходил точно, как на службу, к десяти утра, а уходил в разное время, случалось — и нередко — оставался ночевать. Мне здесь было интереснее. Как-то раз я пришел, и мать огорошила меня сообщением:

— Звонила Анна Михайловна Гербет и пригласили себя

со всей семьей к нам в гости. Вероня пошла на рынок за телятиной.

— И Даша будет? — спросил я растерянно.

— Само собой. Что это наехало на твою бывшую тещу? Разливалась соловьем, сказала, что безумно соскучилась. Так мало осталось в мире близких душ. Война всех раскидала, и люди никак не вернут себе навык общения. Просила, чтобы чужих не звали.

— Значит, Киру мы не увидим?

— Да. Обойдемся разок без "темного ерика".

— А как же Бровин?

У нас ютился мой товарищ по киноинституту режиссер, переключившийся на драматургию. Он недавно демобилизовался и еще не подыскал жилья. Сам был из Моздока.

— Я сказала, что это твой лучший друг, Дашин знакомый еще с довоенной поры, ему разрешено присутствовать.

— Дивны дела твои, Господи!

— А что такое? — пожала плечами мама. — Они люди нашего круга, не то что твоя новая родня. Министры, маршалы, генералы, а чуть потри — шофера.

Я сказал, что хочу пригласить Галю и набрал ее телефон.

— Не жди меня к обеду, — сказал я. — А вечером давай сюда. Придут Гербеты, Август Теодорович, будет читать новые главы из своей "Эстетики".

Галя не испытала даже секундного колебания.

— Ой, мне надо на дачу! Звонила нянька. Бубульку тошнит. (Бубулька — Галина дочь от первого брака, хорошая, но чудовищно забалованная девочка.) — Ее каждый день тошнит. Она отрыгнула весь завтрак: яички, рисовую кашку, апельсин, какао, — меня всегда восхищала легкость, с какой моя жена лгала. — Ты извинись за меня. Так хочется послушать!,.

На миг мне стало жарко: а что если Галю также восхищает мое умение лгать? Тогда наша жизнь идет более сложными, извилистыми путями, чем мне представляется.

Гости явились минута в минуту с чисто немецкой пун-

ктуальностью. Даша опиралась на палочку — поскользнулась и расшибла колено, которое ей забинтовали в поликлинике. Это небольшое увечье сделало ее беспомощно трогательной, милой улыбкой она извинялась, что причиняет окружающим беспокойство. А вот с Анной Михайловной произошло что-то тревожное. Казалось бы, нарядная одежда, умело наложенный грим молодят и украшают женщину, а в Анне Михайловне появилось что-то трагическое. Она сильно обхудала, у нее образовалась талия и высоко поднялись охваченные тугим лифчиком груди, густые волосы чуть поредели на висках, открыв беззащитные плоскости с пульсирующими голубыми жилками. Она стала красива, но жутковатой, обреченной красотой. Такой была Медея, принявшая свое роковое решение. Один Гербет предстал в обычном, будто застывшем образе, но я заметил в ходе долгого ужина, что он стал чаще обычного выпадать из разговора, уносясь в какие-то свои дали. Но водку пил исправно и, как всегда, ничуть не хмелея.

Мой друг Бровин, человек умный, с точным душевным слухом, хорошо поддерживал компанию. Тон задавала Анна Михайловна, она, конечно, была очень сильным человеком, если подавляла даже мою мятежную мать. Она пила только вино, но безотказно, бокал за бокалом, и как бы подавала нам пример — сбросьте оковы, среди своих они ни к чему. Но какое-то не отпускающее внутренне напряжение мешало алкоголю оказать положенное воздействие. А вот Даша непривычно быстро захмелела, наверное, ей хотелось поскорее отделить себя от происходящего завесой хмеля. Но и опьянение ее было красиво, как костыль и неуклюжесть хромоты. "В красивом существе все красиво", — говорил Жан Жироду, а он знал в этом толк. Я перепадал из рая в ад, и снова в рай, и снова в ад, в зависимости от того, что брало во мне верх: гипнотическое воздействие живой прелести Даши или память об измене.

За всю мою жизнь никто так не злил и не раздражал меня, как Анна Михайловна. Этот вечер не явил собой

исключения, хотя сама она ничуть к тому не стремилась. И все же я подпал под ее обаяние. Она вносила в наш застольный тон серьезную, душевную, с горестным отзвоном ноту, у нее было прекрасное, бездонное, трагическое лицо, в котором все — правда, последняя, неподкупная правда (ведь она знала то, чего не знали мы и о чем только начинали догадываться ее дочь и муж), что она неизлечимо больна и жить ей осталось считанные месяцы.

Но как она уйдет, покинув Дашу, которую любила какой-то свирепой любовью, рыхлую, неприспособленную, непрактичную, на дуботола-полупсиха, грозившего навсегда остаться литературным подростком? Нищий поэт — освящено традицией и — в отдалении — красиво, нищий прозаик — черт знает что. И нет за ним ни семьи, ни защиты, ни опоры. Она угадала вещим сердцем, что Гербет уйдет из дома, когда ее не станет, к другой женщине, которая ждет не дождется ее кончины, и эта молодая женщина родит ему дитя, и он забудет о существовании Даши. Наверное, сейчас она понимала, сколь неумно, нерасчетливо вела Дашу, дав ей так рано изведать взрослую страсть, а затем лишив всякой самостоятельности. Она помешала Даше получить профессию, отдав ее в литсад имени Горького, как в старину отдавали девушек в институт благородных девиц. Тут сказалась глубокая литературность Анны Михайловны. Прожив жизнь в световом круге Пастернака, она, сама не отдавая себе отчета, считала литературу единственным занятием, достойным человека. Но у Даши не было критического таланта, она вообще была нетворческой личностью. Дашин талант был в облике, взмахе ресниц, очаровании женственности, ее предназначение быть возлюбленной — не важно, в браке или без формальных уз. Но это можно, пока рядом есть мама. А когда мамы не станет?.. И тут блуждающий взор Анны Михайловны обратился к нашей семье, небогатой, не взысканной советским успехом и привилегиями, но крепкой, надежной, выдержавшей немало бурь и уцелевшей. Самым притягательным в этой семье был не я, хотя она уже поняла, что я крепкий орешек, не умный,

интересный ей Рыкачев, а несгибаемый характер моей матери. Вот кому она могла доверить Дашу.

Когда люди говорят друг другу хорошие слова и в словах этих есть хоть крупица живого чувства, создается столь редкая на земле атмосфера благорастворения. Мы все страшно одиноки, в каменных домах с центральным отоплением мы такие же продрогшие существа, как наши косматые предки в насквозь продуваемых хижинах. Наша дрожь не с холода пространств, она рождается изнутри, из застуженного сердца. И если кому вдруг удается растопить ледяную корочку, мы становимся от радости добрыми, доверчивыми, немного глупыми, Такую вот атмосферу чуть глуповатой доброты удалось создать к концу вечера Анне Михайловне. Но я и тогда знал, что являюсь наименее растроганным из всех присутствующих. Впрочем, о какой растроганности Гербета может идти речь? Ему было хорошо от выпивки и что его не шпыняют, но душа его витала в иных пределах. Мог ли он вообразить, что в этих пределах нальется для него всклень чаша унижений и стыда?

Когда вставали из-за стола, несколько тяжеловато, ибо все порядком нагрузились, Даша покачнулась на своей поврежденной ноге и сказала удивленно-беспомощным голосом: кажется, мне не дойти.

— Зачем ногу трудить? — беспечно отозвалась Анна Михайловна. — Где-нибудь прикорнешь, а утром Юра тебя привезет.

— Что это — простодушие или цинизм? — подумал я, мне в голову не пришло, что это отчаяние.

Когда мы стали прощаться, Анна Михайловна затеяла в нашем узком коридоре какой-то поцелуйный обряд. Она расцеловалась щека в щеку с мамой, и, уже отпустив ее голову, поцеловала еще раз, вверяя ей Дашу этим поцелуем, о чем мама, разумеется, не догадывалась. Потом она целовалась с отчимом, тоже очень истово, после чего попала в мои объятия. Я никогда не целовал Анну Михайловну, что несколько странно для близких людей, знавших столько расставаний и встреч, и с непривычки чуточку

перестарался. Мы поцеловались по-родственному крепко в уста несколько раз, затем я поцеловал ее глаза и в шею. Она покорно, мягко-женственно стерпела эти излишества. Когда я поцеловал ее в шею, у меня возникло пронзительное ощущение, что мои губы внедряются в больную плоть. Под челюстной костью с двух сторон явственно ощущались вздутия, крупные желваки.

Я вполне допускаю, что несу бред. Возможно, дело было просто в худобе. У нее начала образовываться "лошадиная голова", как бывает при некоторых раковых заболеваниях, вызывающих резкое похудение. Человек худеет неравномерно: сразу утончается шея, западает за ушами, а какие-то мягкие ткани, не столь податливые, оборачиваются припухлостями. Если это так, то из ложных предпосылок я сделал правильный вывод, о котором никому не сказал.

Это открытие, пусть еще туманное, не смягчило меня к Даше, которая снова шла на материнских помочах. И хоть на этот раз ее вели ко мне, я не хотел получать такой подарок из чужих рук. Только сейчас, за машинкой, я понял, что и Даша, и Гербет знали о состоянии Анны Михайловны куда больше, чем мне тогда казалось. И бедная Анна Михайловна напрасно думала, что обманула проницательность близких людей, особенно такого любящего человека, как Даша. Анна Михайловна всегда шла, как танк, к своей цели, но дочь далеко не всегда так покорно следовала за ней. Сейчас Анна Михайловна была подбитым танком, с заклиненным орудием, порванной гусеницей, развороченной башней и все ломила вперед к своей недостижимой цели. Было истинным героизмом для человека с такой болезнью затеять эту встречу, притащить сюда свое страдающее тело и вливать в него вредоносное вино, держать в руках компанию, улыбаться, говорить добрые слова и отправляться сквозь ночь домой. Из смертной жалости к любимому человеку Даша выполняла все ее желания. Я не думаю, что в данном случае это давалось ей с мучительным трудом.

Мы прошли в мою комнату, я прилег на тахту, Даша

села рядом, а напротив — довольно неожиданно — расположился в кресле мой друг с институтских времен Бровин. Я вдруг почувствовал грусть и усталость. Свидание двух кланов было по-своему высокохудожественно и абсурдно, трагично и жалко, оно загадало много новых загадок, ничего не распутав в настоящем, разбередило душу сумбуром противоречивых чувств, а главное, еще не кончилось.

Я закрыл глаза, как бы выключил свет, чтобы в темноте и внутренней тишине хоть как-то собрать себя воедино, но присутствующие в комнате решили, что я уснул. И тут произошло нечто, похожее на цирк, когда после опасного подкупольного полета на арене кочевряжится коверный. Мой верный друг принялся кадрить Дашу. Тогда еще не было этого слова, но обозначаемое им действие давно существовало: это неизящный, нахрапистый современный способ ухаживания.

Мой друг был человеком умным и одаренным, но с неизжитым провинциализмом, что сказывалось не только в жестах, манере шутить, промахах поведения, но и в какой-то ограниченности: из Моздока жизнь выглядела грубее, примитивней, проще, чем она есть на самом деле.

Ничего не стоило пресечь эти вульгарные поползновения, но мне вдруг показалось интересным увидеть Дашу в такой ситуации. Мой друг начал с того, что уничтожил меня как писателя. Он сообщил Даше, что написал три пьесы (нереализованные, но это уже другой разговор), иначе три повести, нет, три романа, не то что жалкие рассказики. Втоптав меня в грязь вместе с жанром, которому я служил, драматург перешел к прямой и энергичной осаде крепости. Поначалу только словесной. Удивляла безответность Даши, не сказавшей и слова в мою защиту, а как-то согласно, инфантильно внимавшей напористым речам.

Я действительно не знал такой Даши: доверчивой, расслабленной, лопоушной и не по годам наивной. Она даже в коктебельские далекие дни была взрослей, строже, достойней, неизменно держа расстояние между собой и

окружающими. Она не терялась и в присутствии великих, являя собой равнозначную ценность. Я незаметно, из-под руки, закинутой на лицо, выглянул и увидел ее лицо. Оно не было ни наивным, ни доверчивым, ни расслабленным, оно было отсутствующим. Возникновение страстного Бровина оказалось для нее неожиданностью, она не знала, что ей делать с новой гримасой жизни, и скрылась в себе самой, оставив снаружи личину дурочки-с переулочка. Ей ничего не стоило подняться до Пастернака, но было не по силам опуститься до Бровина. Надо было выручать ее. Я шумно вздохнул, проснулся и отправил Бровина на его место в Вероникиной комнате, возле батареи.

Я погасил свет, на улице занималось утро.

— Не надо стелить, — сказала Даша, — все равно, скоро вставать.

Я все-таки достал из короба под тахтой подушку и одеяло, постелив тонкий верблюжьей шерсти плед. В комнате было жарко, центральное отопление словно хотело возместить жильцам все, что недодало за войну.

Даша до боли знакомыми неторопливыми движениями сняла через голову шерстяное платье, завела руку за спину, расстегнула лифчик и вытащила его через вырез рубашки. Чулки и пояс она снимать не стала. Я увидел сквозь шелк чулка толсто перебинтованное колено и помог ей лечь.

Лифчик, брошенный на ручку кресла, упал на пол, я поднял его, ощутив живое тепло тела и на несколько мгновений стал фетишистом, мне почудилось, что лифчик может заменить все.

— Что с тобой? — спросила Даша.

— Ничего.

Я вместился между ее телом и холодной стеной, с которой когда-то сшиб двух клопов — вестников любви. Вот ее голова, ее шея, плечи, грудь. Всеми напрягшимися, готовыми лопнуть нервами я жду одергивающего окрика, но его нет, а рука гладит мои волосы. И тут я понимаю — защита в больной ноге, не могу же я причи-

нить ей боль. С моей стороны она была здоровой, и я осторожно, но сильно прижался к ее бедру.

— Ляжь на меня, — сказала она, — не бойся.

У нее была прекрасная речь, но самым прекрасным было слово "ляжь", вместо "ляг", оно напрягало меня, как звук охотничьего рога узкое тело борзой.

— Больше на эту сторону, — корректировала она мое восхождение. — Не волнуйся. У нас все выйдет. Вот так. Тебе удобно?

Мне было удобно. У нас все вышло. Я никогда не захожусь до самозабвения, вернее, и в забвенье сохраняю самоконтроль. Лишь раз на ее лице мелькнула гримаска боли, а потом оно окончательно разгладилось в полном доверии ко мне, и тут единственный раз связалось прошлое с настоящим, я забыл о разрыве последних лет. У нас все вышло во второй, в третий, в четвертый раз и продолжало выходить до обвала воды в уборной — кто-то начал утро.

Вскоре раздался скрежещущий звук: четырехлетний сын дворника Кольки-цыгана занялся ежеутренним наскальным творчеством. Вот уже второй год он пытается нацарапать на крыле моего "Москвича", стоящего под окнами, то сакраментальное слово, которое заменяет русскому народу половину языка.

— Мне пора, — сказала Даша.

— Я отвезу тебя.

— Нет, я пойду сама. Не провожай меня.

— Но мне надо спасать машину от этого гаденыша, — я кивнул на окно.

— Нет, — сказала она твердо. — Мне хочется пойти одной.

— Ты боишься, что нас увидят вместе?

Она удивленно вскинула глаза.

— Господь с тобой! Мне хочется медленно, тихо пойти домой. Я даже на трамвай не сяду.

— А нога?

— Она почти не болит. Ну, не упрямься. Дай мне

сделать по-своему. Все будет в порядке. Я позвоню тебе. Мама приглашает вас к нам.

— Я уже знаю. Какая мама стала красивая!

— Да, мама очень красивая.

Когда я вышел из дома, чтобы перегнать машину, в конце переулка еще виднелась Дашина фигура. Она шла медленно, осторожно, соизмеряя шаг с упором на палочку.

Я видел ее будто в тумане. Я ничего не простил, не забыл и не забуду. Во мне осталось только желание — дань привычке. Я не люблю ее, а она не любит меня. Но я знал, что за эту нелюбовь я отдам все прошлые, настоящие и будущие любови...

16

Ответный визит нашей семьи к Гербетам не состоялся — Анна Михайловна быстро, решительно, словно торопясь, устремилась в смерть.

У нее был рак лимфатической системы. И был уже давно, она знала об этом, но скрывала от домашних. Потом они догадались, но играли в молчанку, скрывая друг от друга свое знание. Когда же болезнь была названа, Анна Михайловна слегла.

Я узнал обо всем этом, вернувшись из командировки. Позвонил. Даша взяла трубку, но разрыдалась и не могла говорить. Больше она не выронила ни слезинки. Она не поддерживала тона расслабляющей жалости и позволяла говорить о матери лишь как о человеке, продолжающем трудное дело жизни, без жидких слез сочувствия. Мне хотелось быть полезным, но Даша после двух-трех суховатых отказов, сказала твердо: "Мы делаем для мамы все. Она ни в чем не нуждается. Приходи, когда можешь, больше ничего не нужно."

А вызвала она меня сама: "Мама хочет тебя видеть".

Я пришел. Даша куталась в шерстяной платок, на ногах вязаные чувяки, хотя на улице — лето, а в доме — теплынь. Видать, озноб шел изнутри. Анна Михайловна

лежала в большой комнате, где происходили наши праздничные обеды. В комнате полумрак, окно занавешено, на маленьком столике, возле больной, горел ночник, лежала раскрытая книга. Лицо Анны Михайловны оставалось в тени, под знакомым шотландским пледом не ощущалось тела. Впечатление было такое, что от нее остались лишь голова и руки, чью худобу скрывали рукава байковой кофты. Есть такая игрушка — кукла: бибабо — голова, руки и рубашка, которую должна заполнить твоя кисть, чтобы наделить игрушку движением. Я стоял молча, не в силах отвести взгляд от плоского натяга одеяла.

— Юрочка? — послышался знакомый, еле слышный, но отчетливый голос. — Видите, как быстро все переменилось... Не надо меня целовать (я и не собирался, боясь заразиться раком). Сядьте вон там, в ноги, чтобы я вас видела. На меня не надо смотреть.

Лицо ее было страшным и красивым — какой-то ужасной, изможденной, нечеловеческой красотой. Плоть отпадала целыми сегментами, побуревшая кожа обтягивала костяк, который был совершенен, из темных ям смотрели светло-ореховые, с прозеленью глаза. Оказывается, я не знал цвета ее глаз.

— О чем вы, Анна Михайловна?... — пробормотал я. — Вы красивая...

Я впервые находился у постели умирающего человека и не знал, как себя вести, все казалось ничтожным, ненужным, даже оскорбительным рядом с последней серьезностью смерти. Это ложное чувство: умирающий человек еще живет, живет всем объемом жизни, ему интересно все, кроме смерти.

Анна Михайловна заговорила о том, что людям не хватает щенячести. Той беспредметной, беспричинной радости жизни, которой предаются щенки, открывшие, что мир состоит не только из теплого, питающего материнского живота. Нам не хватает веселой возни, готовности к игре, ласке, беззлобности и беззаботности. Мы всегда насторожены, изначально угрюмы, боимся верить другому человеку, заторможены на жест добра. Нехорошо

это, грех перед собой, грех перед жизнью... Она еще что-то говорила, а я думал о том, почему так мало щенячести было проявлено ко мне, виноватому лишь в любви к Даше? Да за одно теплое слово я повалился бы на спину, стуча лапами и открыв розовое, беззащитное блохастое брюшко.

— Ладно. Ступайте. — Отпустила меня Анна Михайловна. — Я устала. — И не глядя, чувствуя в дверях Дашину фигуру, сказала ей: "Дай мне лекарство".

Она держалась на болеутоляющих средствах. Нет, это неправда: она держалась силой духа, а физические страдания умиряла лекарствами.

Уходя, я снова увидел ее глаза, они сменили цвет, вернее, стали почти бесцветны, но с оттенком, как вода в стакане, куда насыпались свежие еловые иглы.

Я прошел в кабинет Гербета, Даша рокировалась с ним: он перебрался в ее комнату, а она в кабинет, чтобы слышать через тонкую стену тяжелое дыхание матери. Август Теодорович теперь целыми днями отсутствовал, перегруженный работой. Конечно, он был перегружен не только работой, но и вниманием той молодой женщины, его ученицы, существование которой давно уже высчитала Анна Михайловна. Ее влюбленность в профессора стремительно нарастала с угасанием Анны Михайловны, чтобы достигнуть пика к моменту его освобождения и не дать ему одуматься.

В кабинете, заваленном книгами, папками с рукописями, всевозможным бумажным мусором, вроде гранок "Логики" и "Эстетики", целый угол занимал мой старый знакомец — телескоп. С грустью и умилением глядел я на зачехленную трубу, в которую Гербет наблюдал мироздание под испуганно-восхищенными взглядами отдыхающих. "Скажите, товарищ профессор, а есть жизнь на Луне?" — услышал я шаткий от почтительности голос. И вежливо-извиняющийся (за планету) ответ: "Нет, товарищи, на Луне нет жизни." Бедная луна!.. А на земле и жизнь, и смерть, от которой в испуге попятился профессор.

Вернулась Даша в своих неслышных чувяках. Она пришла, будто не из комнаты умирающей матери, а из старых дней...

Писать о себе и писать правду порой невыносимо. Как бы мне хотелось остаться в тех горестных днях добрым, чутким другом, этаким Санта Клаусом без мешка с подарками, но, помните, пушкинское:

И с отвращением читая жизнь мою.
Я трепещу и проклинаю.
И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

И я не стану смывать. Шерстяной платок и чувяки начали, а дурацкая труба, втянувшая в захламленный кабинет весь Коктебель, довершила перепад доброго самаритянина в кобеля. Почему она не возмутилась, не выгнала меня, ну, хотя бы не пристыдила? С отсутствующим лицом — прислушивалась к тому, что за стеной — она пропускала мимо ушей мое тягостное бормотанье, сразу, конечно, поняв его цель, а потом спросила рассеянно, но по-товарищески:

— Это очень нужно?

Ответный захлеб она тоже не слушала, блуждая взглядом по кабинету. Никаких моральных проблем, она решала чисто техническую задачу, где бы устроиться. Потому что устроиться туг было негде. Очевидно, Даша спала в комнате матери на раскладушке. Кабинет Гербета был начисто не приспособлен для любви. Я начал впадать в панику.

— Придется на полу, — как бы для себя сказала Даша.

Она легла на грязноватый, вытертый коврик и задрала юбку. То, что пронизывало меня дрожью вожделения и теневым сознанием собственной низости, было для нее всего лишь внеочередной заботой этих трудных дней, продолжением службы матери, ибо та хотела видеть меня, продолжая связывать со мной бедные надежды на Дашино устройство в мире, где ее не будет. Для Даши это было тем же, что вынести горшок, смазать пролежни, сменить белье под больной.

Я продолжал наведываться к Гербетам. Как бы тихо я ни входил, Анна Михайловна улавливала шум в прихожей.

— Кто там? — спрашивала она.

Даша заглядывала к ней в комнату.

— Это Юра.

— А, Юрочка!...

Но желания видеть меня не изъявляла.

— Мама еще больше исхудала, — говорила Даша. — Она ужасно слаба. Почти не ест. Только пьет холодный чай с лимоном. Но, знаешь, она каждый день хоть немножко читает. Своих любимых греков.

— Какой мужественный человек!

— Да, — вздыхала Даша и покорно ложилась на грязный коврик.

Тут вообще собрались мужественные люди: каждый неуклонно, воистину, всем смертям назло, служил своему богу или бесу. Анна Михайловна, превращая смерть в акт высокой жизни, заряжала свою дочь для будущего. Даша фанатично ей служила. А два подонка: Гербет и я "справляли", как говорят ивановские ткачихи, "свое удовольствие" у гробового входа. Великое оружие эгоцентризм! Я не моралист, куда там! — Но все-таки скажу моим молодым читателям: не трахайтесь на голове умирающих. Воздержитесь. Это окупится добрым светом в последующей жизни.

Однажды мы чуть не завалились. Дело было к вечеру, и Гербет неожиданно явился много раньше обычного. Мы едва успели вскочить. Даша толком не сумела натянуть штаны, они зацепились за резинки чулок, незаметные, разумеется, под юбкой, но навязывающие ей семенящую поступь. А меня как-то скрючило от невоплотившегося желания.

Даша высеменила в коридор, не закрыв за собой дверь, и столкнулась с Гербетом.

— Как мама? — тихо спросил он.

И тут в квартиру постучали. Даша и Гербет уставились на входную дверь, не зная, пускать или не пускать не-

жданного посетителя. А тот проявил настойчивость, он тряс дверь так, что звякала цепочка.

И мы услышали не наполненный плотью звука голос:

— Там Боря... Откройте...

Пастернак влетел, распространяя запах шипра и пудры. Выбритый до кости, с седым начесом вкось лба, в белых брюках и белых начищенных зубным порошком парусиновых туфлях, черном пиджаке и рубашке апаш, открывающей в распахнутом вороте крепкую загорелую грудь, он исходил силой жизни, глаза сверкали, а рот плотоядно улыбался, открывая конскую челюсть. Вскоре он вставит зубы, давшие красоту и без того замечательному лицу.

Пастернак когда-то сказал, что самое важное для поэта не стихи, которые он пишет, и уж никак не слава и признание, а творческое состояние. Считается, что он был страстно влюблен в первую жену, в Зинаиду Николаевну и Ольгу Ивинскую, да он и сам так считал. Но главным для него была не любимая женщина, а состояние любви. Он был влюблен в себя влюбленного. Иначе и не могло быть у такого эгоцентрика, как Борис Леонидович, умудрившегося, в чем он сам позднее признавался, пройти мимо всей современной ему поэзии (кроме Маяковского, в котором с облегчением разочаровался), в упор не видевшего даже близких — и очень больших — людей — страшновато читать его "слепую" переписку с двоюродной сестрой, умной, высокоталантливой Фрейденберг — с полубезумной рассеянностью и упорством он приглашает умирающую от голода в Ленинграде блокадницу погостить у него в Переделкине. Ему все прощалось за талант и какое-то звериное изящество натуры, лишь Зинаида Николаевна, подобно другой великой жене Софье Андреевне, мерила мужа житейской мерой и глубоко презирала.

Пастернак ворвался в квартиру, пахнущую смертью, как самум, как торнадо.

— Здравствуйте!... Все!... Все!... Все!... Как Анечка?... Лучше! — он пропустил мимо ушей шепот Гербета, что

хуже. — Должно быть лучше, когда такая весна!... Что за дни стоят!... Господь Бог послал такую погоду!...

— Боренька, что вы там шумите в коридоре? — как странно было услышать почти прежний голос Анны Михайловны. — Идите сюда.

Пастернак сделал какое-то летучее движение и оказался в комнате больной, мы вкатились за ним следом, хотя нас не звали.

Хорошенькая компания собралась у смертного ложа: один был от бабы, другой шел к бабе, у третьего раскаленный прут углом выпячивал ширинку, четвертая так и не сумела натянуть штаны. Чистой духовностью веяло лишь от умирающей. Мы же были вульгарно шумны и физиологичны. Но кто знает, быть может, больной был полезен этот грубый ток жизни, тогда мы не заслуживаем казни?

Борис Леонидович лучился энергией успеха: театры дерутся за его шекспировские переводы, стихи из романа печатаются в журналах, они у всех на устах, сам роман ждет блистательная будущность (так оно в конечном счете и оказалось), а ко всему еще — и важнее всего — это великолепная пьянящая погода! "Милый человек,— говорила Ахматова, прочтя революционные поэмы Бориса Леонидовича, — он думает, что пишет о революции, а пишет о погоде." А сейчас мне показалось, что, говоря о погоде, "милый человек" имел в виду свою любовь, во всяком случае, она включалась в опьянение погодой. Я думаю, что Анна Михайловна понимала это; не знаю, как относилась она к последней любви Бориса Леонидовича — в доме при мне об этом никогда не говорили, — но сейчас улыбчиво отзывалась на оленью трубу страсти. Она даже попросила Дашу поднять ей повыше подушки.

Я ушел вслед за Пастернаком, оставив семью в каком-то праздничном изнеможении.

Под утро Анна Михайловна умерла...

Ночью Даша услышала какой-то шум — вот она, машинальность письма — мыший шорох и вскочила со своей раскладушки. Горел ночник, мать с закрытыми глазами

шарила пальцами по одеялу, простыне, дотягивалась порой до ночного столика, как будто что-то искала. "Прибирается, — говорят в народе, — значит, сейчас помрет". Даша не знала этой приметы. "Ты хочешь пить?" — спросила она. "Нет, — низким чужим голосом ответила мать. — Где Марцелл?" "Вот он", — Даша положила руку матери на книгу. "Где Платон?" — тем же отчужденным голосом спросила Анна Михайловна. "Вот он". "Положи мне на грудь. Где Аристотель?" "Здесь". "Положи справа." Даша повиновалась. "Слушай внимательно. Платье тафтяное серое, мое любимое, туфли серые замшевые... И только обручальное кольцо... Ты поняла?... Ничего больше. Прощение всем... И прошу... меня тоже... Поцелуй... Ну, вот и все. Теперь ступай... Хочу одна..." — и это было так сказано, что Даша тут же вышла. Она думала разбудить Гербета, но вспомнила, что мать ей этого не наказывала. Ему не нашлось места в последних распоряжениях матери.

Даша долго плакала, затыкая рот шерстяным платком, чтобы мать не услышала, а затем вдруг уснула — каким-то мгновенным провалом. Она проснулась около восьми утра, прислушалась и поняла, что мамы уже нет...

17

Вот и не стало Анны Михайловны. Боже, как я ее ненавидел вплоть до того дня, когда под моими губами оказалась ее гибнущая плоть. А ведь вся ее вина, скорее беда, была в избытке любви. Безмерность никогда не доводит до добра. Ее судьба в чем-то схожа с судьбой моей матери, а моя — с Дашиной. Нам обоим с появлением на свет было отказано в отцовской защите, и вся ответственность за нашу хрупкую жизнь легла на матерей. Анне Михайловне повезло больше, робкий, трусливый, дрожащий Гербет оказался прочен, как утес, в советском море. Вечным узником стал мой приемный отец и умер в ссылке, сел в тридцать седьмом отчим. Мать смертельно боялась за меня, но ее страх был ориентирован в

сторону Лубянки — площади Дзержинского, в остальном умела обуздывать свой страх, она не вмешивалась в мою жизнь. Анна Михайловна как испугалась за крошечный беспомощный комочек плоти, что поднесли к ее груди, так и не избавилась от этого страха. Она словно не видела, что бедный чавкающий комочек стал изобильной плотью, и все хотела держать дочь у своей груди. Страх — плохой советчик. Все выстрелы Анны Михайловны были мимо цели, вплоть до последнего. Она опоздала вернуть мне Дашу.

Я тяжело переживал смерть Анны Михайловны и, как всегда в подобных случаях, оказался не на высоте. Я запил в день ее кончины и пил беспробудно три дня, втянув в тризну жену, тещу и всех посетителей дома. Анну Михайловну никто из них не знал и боль потери испытывать не мог. Жена и теща по русской традиции ненавидели ее почти так же пламенно, как Дашу. У меня дома на письменном столе стояла дивная фотография семнадцатилетней Даши, жена уничтожила ее, за что понесла суровое наказание. Оклемавшись, она ликвидировала, непонятно как доискавшись, то произведение, посвященное Даше, которое я читал у Киры. Но обладая в молодости отличной памятью, я его почти дословно восстановил. В ту пору у меня была не только хорошая память, но и выдающееся красноречие — под высоким градусом, слабые следы которого сохранились по сию пору. Замечательный, хотя и не постоянный ораторский дар слабел во мне по мере снижения того градуса, который я способен выдержать. Тогда я не уступал Демосфену и управлял пьяной оравой, как Цицерон сенатом. Я так распинался об Анне Михайловне, что и жена, и теща, и все собутыльники плакали навзрыд. Я говорил о великих греках, которых она унесла с собой в могилу, и требовательно спрашивал свою цветущую тещу, какую литературу захватит она в последний путь. С заплаканными глазами теща, отнюдь не книголюб, обещала взять с собой томик Марселя Прево и загадочную "Трагедию Сиканэ". Последнее произведение никому не было извес-

тно, и я долго и ярко стыдил тещу за некультурность. "Анна Михайловна ушла с Платоном и Аристотелем, — витийствовал я, — а вы намерены оскорбить небо французским пошляком и какой-то чушью собачьей!" Теща, рыдая, отстаивала достоинства Марселя Прево, а "Трагедию Сиканэ" обещала заменить рекомендованной мною литературой. На третий день пьянства ни водка, ни коньяк, ни вино не лезли в опаленное горло, и мы затеяли варить глинтвейн из красного напареули с сахаром, апельсином, мандаринами, яблоками, с корицей и гвоздикой. Всю ночь мы поминали Анну Михайловну горячим пряным напитком, а утром блевали над унитазами, умывальниками, раковинами двух квартир. Я не мог подняться, и жена, шатаясь и падая, принесла большой таз к постели. С темно-красной жидкостью выходили целые дольки мандаринов, апельсинов и куски яблок. Осмрадненный дух корицы и гвоздики пропитал воздух. Надышавшись сладко-пряной вони, начала блевать моя маленькая падчерица — вот уж, воистину, в чужом пиру похмелье.

Конечно, ни на какие похороны я не пошел. Я и на ноги подняться не мог. Нашу семью на Новодевичьем кладбище представлял отчим. Он принес цветы и якобы отпечатанную мной записку с соболезнованиями и объяснением причины отсутствия, конечно, по болезни. Даша все поняла и впервые по-настоящему обиделась. Я и сам не находил себе извинений. Через несколько дней, восстановившись, я позвонил Даше и, услышав ледяной голос, понял: говорить не о чем.

Смерть Анны Михайловны завершила очередной этап наших с Дашей отношений. Она выпала из моей жизни. Почему-то я был уверен, что вернется "дорогая пропажа" — Резунов, и не ошибся, хотя возвращение изгнанника произошло далеко не сразу.

Гербет неожиданно, хотя и не надолго, оказался на высоте. Он хотел выкупить свое освобождение от прошлого. Прежде всего, он поставил превосходный памятник Анне Михайловне работы Гинзбурга — единственное высокохудожественное творение на престижном и безвкусном кладбище, затем взял Дашу с собой в Коктебель. А по возвращении с той же энергией, но теперь уже не своей, а заимствованной, разменял квартиру, оставив Даше одну комнату, где умерла Анна Михайловна, и сразу съехал, забрав трубу и благородно поделив мебель, постельное белье и кухонную утварь. После чего полностью исключил Дашу из своего обихода, не предложив ей хоть малой материальной поддержки. Тут уже им управляла чужая воля, которой он беспрекословно подчинился. Вскоре молодая жена подарила ему дочь-урода: правая сторона у нее была больше левой, как у жены Гуго Карловича Пекторалиса, обладателя железной воли. И вот тут произошло возвращение Резунова.

Я воспринял эту новость равнодушно. У меня хватало собственных забот. Мой брак медленно и неопрятно разваливался. По причинам, не имеющим отношения к той истории, которую я рассказываю.

В эти темные времена, крепко упившись, я решил нанести Даше ночной визит. Меня ничуть не смущало, что я могу наткнуться на Резунова, и визит в два часа ночи едва ли покажется ему уместным. Резунов был в тяжелом весе, я же тогдашний едва ли тянул даже на первый средний, но чего-чего, а драк я не боялся, как-то не думал об этом. В пьяной башке намертво укрепилось одно соображение, объяснявшее мое право на такой визит: в канун рокового дня неожиданный приход Гербета вспугнул нас, и я не кончил. Я не претендовал на Дашины чувства, ни на сколь-нибудь длительное внимание, я просто хотел получить по старому счету, это естественно и справедливо. И кто такой Резунов? Просто сожитель. Он увел у меня жену, сволочь такая, пусть потерпит, пока я получу должок. Вот так простодушно и отнюдь не агрессивно рассуждал я, отправившись на Зубовскую.

Вскоре я постучал в темное окно.

Стучал я долго. В конце концов, с той стороны окна замаячила долговязая мужская фигура. Значит, Резунов все-таки ночует здесь. Снаружи было очень плохо видно, наверное, из комнаты я просматривался лучше в свете

уличных фонарей. Я углядел, что человек двинулся вглубь комнаты, вышел в коридор, но свернул не в сторону входной двери, а к столовой. Через минуту-другую там загорелась настольная лампа. Я переместился к окну столовой и вскоре разглядел Дашу в спальной рубашке. Она сделала мне знак, чтобы я заходил.

Входную дверь мне открыла Даша. Оказывается, я разбудил ее племянника, сильно подросшего Сережу. Новые жильцы все еще не переехали, только в бывшем кабинете Гербета начался вялый ремонт. Я различил едкий запах гниловатой шпаклевицы. Сереже разрешили временно занять пустую комнату.

В самую пору опять вспомнить пушкинские строки: "И с отвращением читая жизнь мою..." В смысле постыдности поведения даже в моей грешной жизни нет аналогов.

Я нес несусветный бред, в котором ложь была так перепутана с правдой, что я сам запутался и, как мне казалось — с торжеством, запутал бедную непроспавшуюся Дашу. Не запутал. При всей ее ошеломленности моим, никак не ожидавшимся ночным приходом, цель которого я не скрывал, она чувствовала что-то более серьезное в несвойственном мне поступке, а вовсе не пьяную выходку, не запоздалый и нелепый взрыв ревности и провокацию скандала и даже не маниакальную физическую тягу к ней. Но это я понял куда позднее. В моей затуманенной башке крутилось совсем другое: я казался себе дьявольски хитрым и коварным, я добивался своей цели с циничной изворотливостью Казановы и полуфальшивым пылом дона Жуана. Я незаметно смазал слюнями глаза и приложил к ним Дашину руку, чтобы она почувствовала мои слезы, а Даша знала, насколько я не плаксив. Наслаждаясь своим лицедейством, я не понимал, до чего был искренен, несчастлив и жалок. Даша угадала эту искренность за всеми напластованиями дряни и с усталым вздохом приняла меня.

Я обманывал не ее, а самого себя. Пришло бы мне в голову разыграть подобную комедию ради другой женщины? Да ни в жизнь! Фальшивы были слезы, но не

посыл имитировать. И разве фальшива была сила, заставившая меня, пьяного, полубезумного, тащиться через ночь, спотыкаясь, падая, расшибаясь об углы, под окно, откуда мог выпрыгнуть здоровенный амбал и размазать меня по асфальту? В пьяном поступке сказалась правда души. Я не знал, как мне вернуться к Даше, я не умею выяснять отношений, не умею каяться и просить прощения. Бессознательно я выбрал единственно возможный для себя способ: глупый, отчаянный, шутовской. И умное Дашино сердце все это поняло.

Утром, когда Сережа ушел в школу, а мы пили чай на кухне, я узнал кое-что о Дашиной жизни. С Резуновым было покончено, хотя дружеские отношения не были порваны, Даша вообще не любила окончательно терять людей. Я спросил о причине разрыва.

— Щи, — был короткий ответ.

— Что это значит?

— Надоело варить щи. Не могу больше слышать запах кислой капусты. Он, хотя в армии не служил, ест щи по-солдатски, два раза в день.

Я понял, что "щи" надо понимать не только буквально, но и символически. Резунов изжил себя полностью, голос Даши звучал мертвым равнодушием.

— Вы больше не видетесь?

— Он звонит иногда. Как-то раз Стась позвал его на водку.

Ага, значит, пришла очередь Стася! Терпеливо же дожидался он своего часа. Совсем по Омару Хайяму: "Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь моя."

— Зачем он Стасю нужен?

— Не знаю. Стась считает его хорошим человеком. Для Стася очень важно, чтобы человек был хорошим.

— Стась и сам хороший человек. Резунов тоже был задуман как хороший человек, но литература и не таких корежит.

— Он не искореженный. Скучный. Бог с ним. Как ты живешь?

Я рассказал, что по существу расстался с Галей, что у меня наметилась постоянная подруга, "есть и кроме", но живу паршиво: пишу много, печатаю мало, зарабатываю на жизнь, чем придется: газетной работой, на радио, в Информбюро — пишу о свежих огурцах в Сыктывкаре, не брезгую негритянской работой — навалял книгу о севастопольской обороне за бывшего секретаря горкома партии. Гордиться нечем.

Я уже понял, что Даша никак не связывает со мной своего будущего, признав недействительным негласный договор, составленный Анной Михайловной, и мог бы стать с нею прост и откровенен. А я зачем-то ломаюсь. Моя жизнь даже в литературном плане не была столь уж кромешной: я опубликовал несколько рассказов, хорошо замеченных, и это было чудом, поскольку новеллистика находилась в полном загоне. Величие Сталина требовало больших романов и эпопей. В "Советском писателе" у меня выходила очередная книга. Да и зарабатывал я своей халтурой более чем прилично, собирался сменить "Москвич" на "Победу". Откуда возник этот некрасовский тон черной печали, образ труженика, надрывающего непосильной работой чахоточную грудь? То был вызов буржуазному спокойствию Даши, легко сменившей безумца Резунова на крепкого, спокойного, уравновешенного Стася.

Желая меня подбодрить (мол, есть еще более несчастные люди), Даша рассказала о бредовом явлении Бориса Резникова, пронесшего сквозь пятнадцатилетнее отсутствие матримониальные намерения. Дальнейший разговор был прерван появлением маляров, трех уже с утра подвыпивших, изможденных оборванцев, принесших смрадный дух гнилой шпаклевки, перегара, селедки и табака.

Выйдя на улицу и глотнув свежего воздуха с Москвы-реки, я подумал, что не скоро вернусь на это пепелище, исподволь становящееся стройплощадкой новой жизни. Плоть моя угомонилась, хмель вышел, дух освободился, впору было разобраться в собственных проблемах, чем лезть в чужую жизнь.

Благими намерениями ад вымощен. Не прошло и двух недель, как я опять нагрянул к Даше и опять глубокой ночью, и опять пьяный. А ведь у меня и впрямь завелась чудесная подруга, с которой у меня все получалось лучше, чем с нынешней Дашей, и веселее, и легче. И общение наше было богаче, она была умнее и острее Даши, и шире развернута к миру.

И все же я притащился сюда. Сережи не было, мать легла в больницу, и он вернулся домой. В квартире все оставалось по-прежнему, но приняли меня куда суше. Без слез и отчаяния моя притягательность как-то не срабатывала. Но главное, конечно, было не в этом: Даша решила всерьез и по всем правилам связать свою жизнь со Стасем, и ночные визитеры становились нежелательны.

И все-таки у нее не хватило духа выгнать меня. Она даже согласилась пустить меня в постель, но предупредила, что утех не будет. Я добровольно обрек себя на мучения. Даже кошмарная новогодняя ночь в Подколокольном далась легче, ибо не исключала паллиативный вариант. А здесь — наглухо. Она позволила себя обнять, но строго держала дистанцию. Проведя в изнурительной борьбе всю ночь, мы едва нашли силы подняться к приходу маляров. За чаем я грустно и смиренно сообщил, что оплатил ее бессмысленное упрямство потерей мужской силы. Как я понимаю, навсегда. Что ж, этим должно было кончиться, струна лопнула. На миг она поверила, в глазах мелькнули сострадание и страх, затем протянула руку, и мне пришлось изобразить изумленный восторг от волшебного исцеления.

Дальше я помню себя уже гостем Даши и Стася. Но при этом я, вопреки очевидности, про себя считаю, будто мы оба в гостях. Они еще не расписаны, но между ними все решено. Мы всегда пьем при встречах. Стась пьет много, но крепок к выпивке, как все прибалты. Даша научилась пить. Она добреет, веселеет, становится откры-

тее, проще, ищет душевной близости с окружающими, но образ, по-своему очаровательный, новой Даши меня ранит, ведь не я изваял эту Галатею. Нынешняя Даша создавалась в студенческой среде Литвуза, в общении с Резуновым, их общими друзьями, в близости со Стасем и вовсе неведомым мне кругом молодых экономистов. Печаль и раздражение оседают на дне души, здесь ко мне так добры, что я не позволяю дурным чувствам вылиться наружу.

Но однажды они все-таки вылились.

У Стася было намариновано несколько банок молодых замечательно вкусных опят. Он был в восторге, он гордился своими грибами, а они не имели успеха у его знакомых. Советские люди не выносят ничего острого: ни пряных соусов, ни наперченных борщей, никаких забористых приправ. Наверное, от плохого питания в детстве у всех слабые желудки, невыносливая слизистая оболочка, вялый кишечник, а любителей острого раздражают пресноеды. Я все накладывал себе грибков к вящему восторгу Стася, что было мило и трогательно в сдержанном, неулыбчивом человеке с некрасивым, мрачным и чем-то привлекательным лицом. Потом я разобрался, чем привлекала угрюмая физиономия Стася — доброкачественностью и достоинством, которыми обладают лишь рожденные и выросшие на воле. До самого освобождения Латвии советскими войсками Стась жил в свободной стране. Я никогда не замечал у Стася ни крупицы польского национального гонора, но свою маленькую Латвию и родную Ригу он любил до слезы даже в трезвом виде.

Когда была выпита последняя капля водки и съеден последний скользкий грибок, долго не дававшийся вилке, а разговор стал рваным и невразумительным, Даша заплетающимся языком напомнила, что пора по домам. Я не возражал, но тут выяснилось, что по домам пора мне одному, а Стась вроде бы уже находится дома. Алкоголь во мне смертельно обиделся.

Не помню, как мы дотащились до угла Зубовской и Кропоткинской, видимо, Стась волок меня на себе. Но у

заветной будки чистильщика сапог, которая так много значила в моем паломничестве к Дашиному дому, я полуочнулся, вспомнил все свои глиняные обиды и заявил, что никуда не пойду.

— Надо идти, — мягко сказал Стась. — Мы поймаем такси.

— Вот ты и катись! — я сделал попытку повернуть назад.

Он преградил мне дорогу. И все было разом забыто: маринованные грибки, ледяная водка, добрый разговор, завязавшийся из общей ненависти к советской власти, понимание, готовое перейти в дружбу — я развернулся и врезал ему в ухо. Голова его мотнулась назад, он попятился, я ударил снова. Он успел уклониться, и мой кулак угодил в продолговатое зеркало на боковой стенке айсорского агрегата. Зеркало треснуло по всей длине, а у меня вылетел из гнезда большой палец. Я не потерял сознание лишь потому, что нечего было терять. Тупо уставившись на свою изуродованную руку, я вдруг почувствовал себя человеком без будущего.

Палец мне вправили в поликлинике, руку загипсовали, и я уехал в командировку под Харьков. Гипс сняли по возвращении, а тут еще нежданно быстро вышла моя новая книга в "Советском писателе". Я стал раздумывать, нельзя ли под эту книгу вернуться в дом на Зубовской — гостем, ни на что больше я не претендовал. Не знаю, сколько бы времени разъедала бы меня русско-советская рефлексия, но тут позвонил Стась.

Он был в восторге от моей книги, которую приобрел в книжной лавке на Кузнецком.

— Приходи, подпишешь мне книгу.

Будь на месте Стася кто другой, я поостерегся бы или захватил с собой заточку, но я знал, что имею дело с безукоризненным человеком.

— Я с удовольствием. Когда?

— А чего тянуть? Приходи сегодня, к семи. Поужинаем. Итак, ждем. Бегу за горючим. Даша рвет трубку.

Некоторое время мы с Дашей обменивались ничего не

значащими фразами, затем я услышал, как хлопнула входная дверь.

— Что у вас произошло? — сразу спросила Даша.

— О чем ты? — Мне не была известна версия Стася и не хотелось подводить его.

— Стась почти оглох на одно ухо. Он лечился в поликлинике.

Я промолчал.

— Мы расписались, — сказала Даша. — Стась переехал ко мне. Может, ты придешь с Лелей?

Бедная Даша хотела максимально обезопасить предстоящую встречу, но боги смеются над жалкими ухищрениями смертных.

Я пришел один, Леля оказалась вне пределов досягаемости. Мы провели время на редкость дружественно, хотя и не слишком оригинально: опять много водки, опять маринованные грибы, на этот раз покупные, и тот беспорядочный, вперебив, разговор, который случается между людьми, когда им хорошо друг с другом. Я пил за Дашу, за Стася, за них обоих, они — за меня. Потом раздался телефонный звонок. Стась снял трубку и ликующе завопил:

— Вольдемар?!... Ах ты, пропащая душа!... Давай, ноги в руки — и к нам. У нас Юра, мы гуляем, как опричники. Ничего не надо, все есть. Боеприпасы — моя забота.

Он повернул к нам сияющее лицо.

— Надо же, Вольдемар! Как по заказу. Наконец-то объявился.

Я спросил, кто такой Вольдемар.

— Стась так называет Резунова, — пояснила Даша.

— Ему это идет, как корове седло, — поддавшись мгновенному чувству недоброжелательности, сказал я и добавил: "Я позвоню Леле".

— Зачем? — спросила она сухо.

— Позову ее. Ты же сама предлагала.

— Сейчас я не хочу. Поздно.

— А Резунову в самый раз?

— Сравнил! — и знакомо закатила глаза.

Понять ее отказ было проще простого: ей не хотелось знакомиться с Лелей в подпитии, когда стол разорен, в комнате беспорядок, воздух тяжел от алкоголя и табака. Другое дело, если б Леля распадалась вместе с нами. Резунов был свой человек, а с Лелей надо быть в форме. Но в моем воспаленном мозгу вспыхнуло совсем другое: ей не хочется делиться, она одна будет купаться в обожании трех мужчин. Собачья свадьба: три кобеля дрожат, скулят, огрызаются, то и дело задирая ногу, а сучка вертит задом.

Ни слова не говоря, я поднялся и вышел.

Моя машина стояла под окнами, в ту пору я редко садился за руль трезвый. Переполнявший меня гнев отыгрался неловкостью: разворачиваясь, я задел бампером низенькую деревянную огородку детской площадки.

Сворачивая на Кропоткинскую, я заметил Резунова в коротком плаще и кокетливой кепочке — "семь листов, одна заклепка" называют в народе этот фасон. До чего быстро он появился. Похоже, звонил откуда-то неподалеку, может, уже направляясь сюда.

Вернулся я домой поздно утром и узнал, что накануне вечером меня разыскивал Стась. Я решил, что его огорчил мой внезапный уход, расстроивший тайную вечерю дружбы и любви, и не стал отзванивать, наш ужин принадлежал прошлому.

Вскоре выяснилось, что самое интересное на Зубовской произошло после моего ухода. А не уйди я, тоже произошло бы что-то интересное, но в другом роде. Застав Дашу одну, Резунов хватил стакан водки "под рукав" и стал к ней приставать. Не найдя понимания, он вспомнил о своей богатырской сути, схватил стул и ударом об пол превратил в щепу. После чего принялся выкручивать Даше руки и валить на диван.

Стась вошел, звеня бутылками, сияя доброжелательностью, и увидел останки стула, заплаканную жену, растирающую синяки на руках, смущенно и застенчиво улыбающегося Резунова. "Юра?" — вскричал Стась и кинулся к телефону. Меня дома не оказалось, а Даша во избе-

жание побоища не стала рассеивать заблуждения мужа. Резунов сразу собрался уходить. Стась, гостеприимный даже в скруте ярости, заставил чокнуться. "Ты уж прости, Вольдемар, что так нелепо получилось." "Бывает," — вздыхал Вольдемар, натягивая плащ. Он отбыл, а Стась опять кинулся к телефону.

— Брось, — остановила его Даша. — Юра ушел к своей Леле следом за тобой. Это Резунов.

— Не верю.

— Юра не ломает стульев и не насилует женщин.

— Он тебя изнасиловал?

— Конечно, нет. Но пытался.

— Я его убью!

И тут раздался стук в дверь. Резунов вернулся за кепочкой, которую в вихре событий и переживаний оставил на вешалке. Было произнесено одно слово: "Подлец!", за ним последовало несколько коротких сухих ударов, и Резунов оказался на полу. Он пополз, потом вскочил и с древним русским боевым кличем: "Еб твою мать!" — кинулся на Стася, размахивая руками, как мельница крыльями. "Кирие елейсон!" — ответил Стась старинным кличем польского рыцарства и разрушил ему нос. Резунов дубасил и месил воздух, Стась легко уклонялся от его размашистых ударов. Следующий его выпад лишил Резунова резца. Кровь потекла ему на шею, за ворот. Даше стало его жалко: "Хватит, Стась, пусть уходит!" Стась вырвал из ее рук кепочку "семь листов, одна заклепка" и влепил в окровавленное лицо. Резунов повалился навзничь. Да, это было не ворота таскать! Тренированная сухая западная сила столкнулась с сырым российским рукосуйством и раздавила его. Стась поднял Резунова за шиворот и вышвырнул за дверь. Вдогон послал кепочку. Прошло не меньше пяти минут, пока они услышали, как хлопнула парадная дверь. Вот, что ожидало меня на углу Зубовской и Кропоткинской, если б Стась дал себе волю...

А потом началось противоестественное содружество четырех: Даши, Стася — Лели и меня. Ничто не мешало

этому альянсу быть нормальным и милым, если б между мной и Дашей все окончательно оборвалось, но этого не было. Впрочем, знали об этом только мы с Дашей да и то подпольным знанием...

18

...Время шло, у Даши родился ребенок, увесистый малый, она вся была в пеленках, кормлении, детских болезнях — советские дети получают в роддомах солидную порцию микробов. Мы носили новорожденному "на зубок", поздравляли счастливых родителей, приходили взглянуть на его первые самостоятельные шаги.

Страна меж тем жила своей темной, исключенной из мирового обмена, фантасмагорической жизнью — с безродными космополитами, врачами-отравителями, разгромами лучших писателей и музыкантов, с нудными декадами национальных искусств в Большом театре, со сталинским учением о языке, с переполненными тюрьмами и лагерями, со всем маразмом состарившегося диктатора-кровопийцы, в параличном ожидании апокалипсиса. И вдруг лопнул какой-то крошечный сосудик, перестало биться злое сердце, и все разом пояснело: оказывается, мы жили совсем не так, как надо. А как надо, показал мужицкий царь Никита. Оставшаяся позади, великая, как нам втемяшивали, эпоха обернулась культом личности, а новое время поначалу называли оттепелью. Пройдет не так много времени, и оттепель окажется волюнтаризмом буйного Никиты. Но мы этого знать не могли и упивались скупо отпускаемым воздухом свободы. Затем этого воздуха стало куда больше, мы дышали всей грудью, но тут краны опять подкрутили. Впрочем, это уже не имеет отношения к нашему повествованию. С приходом эпохи застоя расстались Дафнис и Хлоя.

В гниловатую, сопливую, простудную и все равно благословенную эпоху оттепели сохранились времена года. Стоял жаркий июль, когда я почему-то оказался у Даши и Стася.

Комнату пронизывали пыльные солнечные лучи, в форточку тянуло выхлопными газами, всей вонькой духотой московского жаркого июля. Даша сетовала на то, что опять осталась в городе, она уже забыла, как пахнут лес, трава, река, забыла названия полевых цветов и чувство земли под ногой.

— Хотите я вывезу вас на природу, — предложил я.

— Мне нравится летняя Москва, — сказал Стась.

— Он любит этот ужасный "Эрмитаж", — сказала Даша. — И какое-то еще кромешное место — сад Баумана, что ли?

— Я даже не знаю, где он находится, — пожал плечами Стась. — А "Эрмитаж" мне пришелся. Напоминает Ригу. Неплохой оркестр, ресторан на открытом воздухе, вкусное мороженое, веселая толпа.

— Толпа не бывает веселой, — сказал я, — она всегда нацелена на убийство. Нет ничего страшнее московских летних садов.

Даша вышла на кухню за чайником.

— "Эрмитаж", конечно, гнусное местечко, — со смешком сказал Стась. — Но ведь надо где-то чемодан разгружать.

Я понял, что он имеет в виду, лишь когда он называл имя своего вожа, открывшего ему соблазны "Эрмитажа", моего старого приятеля Ваверлея. От молодого социолога Ваверлея, тогда докторанта, ждали многого в научных кругах, и он не обманул ожиданий, став неоспоримым авторитетом в своей области, профессором, академиком. Но до того, как он осуществился в науке, Ваверлей осуществился в образе самого выдающегося бабника Москвы. У Ваверлея всегда был один главный роман (в дни, о которых идет речь, его избранницей оказалась наша голенастая домработница Нюська, поэтому у нас в доме не переводились свежие розы и лилии), но Ваверлею необходимы были летучие связи для полного освобождения плоти и духа, влекомого к демографическим проблемам. Осенью и зимой он посещал московские плешки возле "Метрополя" и "Грандотеля", весной и

летом сад "Эрмитаж". Так вот что значит "разгрузить чемодан"!

И как легко это было сказано! Впервые от Стася пахнуло пошлостью маленькой провинциальной страны. Ваверлей разгружался чуть не ежедневно, но всегда спьяну, по наитию, в надежде на романтический поворот вульгарного приключения. Он каждому падшему созданию хотел купить швейную машину "Зингер" и не делал этого лишь потому, что наших курв не прельщает участь швеи. А тут прозвучала бюргерски спокойная расчетливость. Так ходят в парикмахерскую, в баню, в бассейн. Ночи с женой уже приелись, не удовлетворяют, а среди пыльных кущ "Эрмитажа" ждет оперативное наслаждение за пятерку.

Почему меня так болезненно задела откровенность Стася? Я оскорбился за Дашу? Но ведь этот чисто физиологический акт даже изменой нельзя назвать. Эдакое хладнокровное отправление естественной надобности. Тем-то оно и было противно. То, что для меня и через пятнадцать лет оставалось чудом, для него потеряло цену, едва став привычным. Мне был жалко Дашу и почему-то жалко себя, спокойный цинизм Стася обесценивал трудную непростоту наших отношений. Болезненное волнение охватывает меня всякий раз, когда я вижу Дашин профиль: крутизну лба, чуть вздернутый нос, изящную линию от верхней губы к шее и притемненный в коричневу густыми ресницами глаз цвета лесного ореха. И от всего этого пресытившийся охламон спешит в "Эрмитаж" разгружать чемодан!

Я предложил Стасю подбросить его вместе со всем багажом в "Эрмитаж", а уходя спросил Дашу:

— Хочешь съездить на Истру или в Химки? Я истосковался по тебе. Так дальше нельзя...

Она вздохнула.

— Ты мне веришь?

— Приходится верить. Стал бы ты меня возить...

Несвойственная ей простота, покорный вздох и теплота тона подсказали мне, что Даша догадывается об истинной цели буколических прогулок Стася. Открытие, конечно, не

доставило радости, но драматизировать его она не стала. Был ребенок, были дом, налаженная жизнь и был, наконец, я, заигравшийся в дружбу, вместо того чтобы вести положенную службу любви. Сейчас все возвращается на круги своя.

Я выбрал знакомый мне по грибной охоте опрятный смешанный лесок по Калужской дороге. Тогда это было узенькое, лишь недавно сменившее булыжник на асфальт шоссе, никуда не ведущее, просто упиравшееся в старую Варшавскую дорогу, с малым движением и безлюдными просторами. В пути мы почти не разговаривали. Даша наслаждалась чистым, хорошо настоявшимся на хвое и листве воздухом, мелькающими мимо рощами, перелесками, лугами, громоздом кучевых облаков, придававших небу сочной синевы, отсутствием Стася и тяжелым помешательством на ней ведущего машину человека.

Лес, который я наметил, неожиданно оказался куда дальше от Москвы, чем казалось. Даша неважно переносит машину, вдруг она скажет: "Давай выйдем здесь, что-то меня мутит." Я уже слышал положенные в таких случаях слова: "Ну, милый, не будь таким упрямым, мы же не в последний раз видимся. Зачем так спешить? Неужели тебе ничего от меня не надо? Посмотри, какой лес, какая трава, как хорошо нам сейчас." Всеблагий Боже, сделай, чтоб ее не замутило!..

Я прибавил скорость. "Родная, потерпи, — молил я Дашу беззвучно, — мы скоро приедем. И не думай... Ты же знаешь, как я люблю природу. Я буду Фабром, Левитаном и Пришвиным в одном лице."

Мелькание черных и белых пятен впереди на дороге обернулось стадом коров ост-фризской породы, пересекавшим шоссе. С какой омерзительной медлительностью и бестолковостью совершают коровы этот нехитрый переход!

Наконец-то добрались мы до места назначения. Я поставил машину в тень, мы вышли. До опушки леса было шагов десять, но добраться до него оказалось делом не простым. Мне вспомнилась шутка толстяка Апухтина:

жизнь прожить проще, чем перейти поле. Дашу зачаровало цветочное изобилие маленькой лужайки.

— Боже, я забыла их имена. Это колокольчик, это львиный зев, а это кто?... Такая липучая. Гвоздика?

— Нет, смолка лесная.

Она с сомнением поглядела на меня.

— А это?

— Герань полевая. А это фригийский василек.

Мы вошли в лес. Я забыл, что уже начался грибной сезон. Всюду звучало "ау" и шныряли шустрые старухи с кошелками. Только мы опустились на мягкий мох у подножия трех сросшихся корнями плакучих берез, как прямо на нас выскочила старая карга с палкой-щупом, охнула, перекрестилась и враз исчезла.

Мы с достоинством поднялись и проследовали вглубь леса, пока валежник не преградил нам путь. Здесь росли высокие папоротники, а за ними сухой игольчатый настил уходил под лапчатый свод старых елей. Я расстелил широким пастернаковским жестом свой пиджак в ширину, Даша опустилась на него. Я окинул взглядом зеленую вверху и внизу, дымчато-фиолетовую в прозорах между стволами обитель счастья и стал на колени рядом с ней. Я не успел обнять Дашу. Лес наполнился грохотом, будто лосиное стадо ломило сквозь чащу, — в папоротники ворвалась, на ходу задирая юбку, цыганистого обличья грибница и, не заметив нас, повернулась задом, отвратительно раскорячилась и по-коровьему мощно, шумно стала поливать тугие растения. Мне казалось, я вижу жерло сивиллы, явленное Пантагрюэлю и его спутникам, искавшим по миру последнюю мудрость.

— Не лес, а общественная уборная, — сказал я. — Ну его к бесу, поедем дальше...

Новое место я нашел по наитию, ибо никогда не бывал тут раньше. Меня привлек широкий, совсем не наезженный большак, отходивший от шоссе километрах в трех от нашей первой стоянки. Дорога пересекла поле, пошла перелеском, становящимся все гуще и гуще, и вот уже вокруг нас шумит и трепещет лиственный лес: березы,

осины, а дорогу словно отжало за ольховую опушку. Я припарковал машину в орешнике. Мы вышли.

Лес, словно концентрационный лагерь, окружала колючая проволока, местами оборванная, спущенная со столбов, втоптанная в траву и землю. То был странный лес — сквозной, без подлеска и валежника. Вдруг перед нами возникло нечто похожее на тюремную стену: высокая бетонная огорожа, по-над которой тянулась колючая проволока. Но задумываться над этим я не стал, не до того было. Даша ни о чем не спрашивала, целиком доверившись мне. Лихой пастернаковский жест — лесная постель готова.

Я как раз успел снять штаны, когда раздался спокойный, четкий мужской голос:

— Мы открываем огонь без предупреждения.

Перед нами стоял капитан, в ремнях, со шпалером в кобуре и повязкой дежурного по части на рукаве. Он не дал себе труда ни для насмешки, ни для иронии, добавив бесстрастным голосом:

— У вас есть три минуты.

— В три минуты мы не уложимся... — начал я остроумничать и вдруг понял, что слова капитана не пустая угроза.

— Похоже на гитлеровский бункер в Мазурских болотах, — сообщил я ему, кивнув на бетонную стену.

Он не отозвался. Мы пошли из леса, чувствуя спиной его неотступный взгляд. Я украдкой глянул на часы, у нас оставались в запасе полминуты.

Мы уложились.

— "Весь мир враждебен нашей страсти нежной!" — пропела Даша впервые на моей памяти, когда мы оказались в безопасности.

Это из какой-то старой оперы, "Тисбе", что ли?... Даша пела, Даша была в прекрасном настроении, фатальные неудачи только веселили ее.

Не мудрствуя лукаво, ибо уже убедился, что боги смеются над бедными человеческими расчетами, я тихо повел машину вдоль опушки, пока, не углядев разрыв в

огороже, подъехал почти впритык и остановил машину. Даша беспечно последовала за мной, похоже, ее мало озаботила угроза капитана.

Я увидел неподалеку от лаза, у подножия голенастой елки какую-то кочку и решил на ней построить здание своего счастья. Стелиться в ширину было все-таки опасно, и я изобрел способ, позволяющий в случае необходимости совершить быструю ретираду. Поэт не оставил метафорического намека на эту позу, а мне хотелось бы избежать физиологизма Генри Миллера. Короче, я опять спустил штаны, уселся на эту кочку, но не успел притянуть к себе Дашу, взвившись с воплем над песчаным бугорком. Это был скрытый муравейник, и несколько огромных рыжих, с черным рылом муравьев впилось мне в задницу.

Вырвав из тела рыжих палачей, я с бешенством отчаяния повалил хохочущую Дашу на землю и упал на нее. Плевать я на все хотел: "Приходите капитаны, полковники и генералы, открывайте огонь из всех видов оружия с ваших вышек, из амбразур и бойниц. Бейте по любви всеми калибрами, расстреливайте мою голую задницу, лупите в беззащитную спину под лопатку, и пусть мою любимую прошьет той же пулей. Меня тошнит от вас и от тех. кто вложил оружие в ваши детски-беспомощные руки. Эти гады лишили неприкосновенности наши жилища, влезли с грязными ногами в наши души, теперь отняли последнее — природу, тишину и чистоту зеленой жизни". Погибая от любви и захлебываясь от ненависти, я завершил акт воссоединения с Дашей.

Когда мы подъезжали к Дашиному дому, она сказала: "На природе чудесно, но, кажется, я тоже становлюсь урбанисткой..."

19

Даша все-таки сумела осуществить свой давно лелеемый план о воссоздании старой французской ситуации, только при другом распределении ролей. Она, естественно, осталась Мабиш, но я вместо предлагаемого мне

прежде Бри-Бри, стал Гюставом, исполненным редкого благородства. А Бри-Бри пришлось взять на себя Стасю, хотя не думаю, чтобы он догадывался о своем участии в спектакле. Иногда мне кажется, что он не знал об истинной сути моих отношений с Дашей, а иногда, — что у него мелькала смутная догадка, которую он гнал прочь, оберегая свой эрмитажный рай.

Следующая встреча с Дашей прошла совсем в ином ключе. Нечистый подтолкнул нас пойти в ресторан "Москва", так много значивший в нашей юности. Уже у входа мимо нас промелькнул Павлик в военной форме, точно такой, каким я видел его в последний раз. Тогда он хотел чокнуться с Оськой, посланным вперед, чтобы занять столик, но обнаружил, что опаздывает в часть. "Привет, Осляти!" — сказал Павлик и побежал за троллейбусом. У меня и в мыслях не было, что мы больше не свидимся. Сейчас я долго следил за его призраком, то исчезающим, то возникающим вновь, провожая его за пределы реального зрения, ибо колено улицы не позволяло видеть площадь Пушкина, а я расстался с ним у памятника.

— Что с тобой? — спросила Даша.

— Я видел Павлика.

Она странно посмотрела на меня.

— И я его видела.

Вот чего у меня не может быть ни с какой другой женщиной: увидеть вдвоем (вопреки утверждению Гете) призрак из дней юности.

И дальше все шло на срывающей душу ноте. Мы оказались за тем самым (или соседним) столиком, где мы сидели с Оськой, когда моя жизнь пошла на слова погодинского романса. И Оська пришел и занял свое место. Он помалкивал, только улыбался смущенно-лукаво: вон, мол, какую штуку я отчудил. Что он имел в виду: свою гибель или свое появление? Я сделал заказ, и когда официант принес графинчик с водкой, разлил на троих. Даша не удивилась, она взяла свою рюмку и сказала: "Не чокаясь!"

Я закрыл салфеткой мокрое лицо. Пришлось пойти в

туалет и умыться холодной водой. Когда я вернулся, Даша спросила:

— Мы можем пойти в Подколокольный?

— Ключ со мной, хотя я не думал, что мы туда пойдем... Я не ожидал встретить здесь Павлика и Оську. Подколокольный населен призраками, как старый шотландский замок.

— Там мы всегда были одни, — с женским здравомыслием возразила Даша.

— Самое страшное — встретиться с призраком самого себя.

— А я бы не прочь увидеть свое молоденькое привидение.

В Подколокольном меня — не знаю Дашиного ощущения — окружили призраки не людей, а вещей. С тех пор, как эта квартиренка перестала быть нашим с Дашей приютом, я был тут лишь однажды, во время войны, по сугубо житейскому делу. Никакой магии: убогое холостяцкое жилье — лежак, обшарпанный письменный стол, бедная книжная полка, пыльное окно, глядящее в скучный деловой двор.

Но когда мы с Дашей вошли, я сразу уловил, как приосанились вещи, словно вспомнив о своей тайне. Окно населилось вязом и небом, письменный стол помнил, как Даша ударилась о него лбом, когда услышала, что меня не убьют на финской войне, тощая тахта напустила на себя томность, а пружины, когда мы опустились на нее, взвыли первыми тактами бетховенской оды "К радости".

Замкнулся круг: мы опять были там, где началась наша близость. Между первым и сегодняшним приходом сюда легло столько нелегкой жизни: война, потеря друзей, смерть Дашиной матери, разрушение ее дома, создание нового, рождение ребенка. Я уже дважды начинал все сначала, на очереди третья перемена, которая ничего не изменит в главном. У меня было особенно много ненужностей: рук, губ, объятий, несостоявшихся дружб, после Павлика и Оськи я получал от людей куда меньше, чем давал.

Люди не меняются, жизнь никого ничему не учит — это справедливо, но, как всякое крайнее утверждение, неверно. Кого-то чему-то учит. Кто-то в чем-то меняется. Учатся чаще всего смирению и меняются, поступаясь крайностями своего темперамента. Даша научилась уважать ту силу желания, которая влекла меня к ней. Теперь она видела в этом нечто большее, чем неопрятную и вульгарную физиологию, унижающую ее. Само время было гарантом качества чувства, помогающего ее самоутверждению.

Даша всегда была для меня закрытой книгой. Лишь в редких вспышках открывалось мне, что она чувствует ко мне. Так было, когда она больно приложилась лбом к столешнице, выдав тщательно таимый страх за меня и боязнь разлуки. Так было, когда неуверенная, тихая, подавленная, она пришла в эту комнату после разрыва. Так было едва уловимо еще раз-другой за долгую нашу историю. Она сбросила доспехи и разоружилась, когда мы совершали нашу чудесную загородную прогулку, и нам в лицо смотрело жерло сивиллы и жерла лесных фортификаций. Ее искренне, без всяких внутренних запретов радовало, что вся эта водевильная и опасноватая колбасня творилась в ее честь. Но я не верил в прочность перемены, счел реакцией на какие-то свои незадачи. Нет, то был серьезный поворот ко мне. Она угадала и разделила мою печаль от неосторожного прикосновения к прошлому и сама предложила поехать в Подколокольный. И не было тех внутренних торможений, остановок, которыми изобиловала даже лучшая пора нашей любви. Каждое движение во утоление моего безобразного желания: сбросить ли туфлю, снять ли кофту, расстегнуть ли бюстгальтер — почти всегда сопровождалось вздохом, порой чуть слышным, порой подчеркнуто громким. Я должен был все время помнить, что ей это не нужно, что она снисходит к моей обезьяньей чувственности. Конечно, и здесь категоричность ложна, легко припомнить случаи, когда обходилось без вздохов, когда был ответный порыв. Но

то были случаи, а томительный ход дачного поезда со всеми остановками — нормой.

И все же я не решался объяснить нынешнюю податливость Даши хотя бы привязанностью ко мне, не говоря уже о более сильном чувстве. В ее семье ценились традиции, постоянство, фактор времени считался лучшей проверкой отношений. Я выдержал испытание на прочность и стал достоин награды...

Наши встречи обрели, если не регулярность, то периодичность. Обычно звонила первой она, если же это делал изредка я, то всегда не вовремя: болел сын, Стась вывихнул ногу, какое-то домашнее торжество — причина всегда находилась и вовсе не выдуманная. Даша была вписана в определенную систему отношений, домашних обязанностей, дел, материнских забот. Когда же звонила она и предлагала встретиться, это означало, что она сумела распутать сеть занятости и выкроить для нас долгий, спокойный вечер. И всегда ее звонок оказывался в самый раз, я тут же начинал чувствовать, что струна опасно натянулась.

Случалось, заезжая за Дашей, я натыкался на Стася, но никаких осложнений не возникало — он встречал меня тепло, даже радостно, особенно, если ему предстояла прогулка в кущах "Эрмитажа". Иногда он уходил вместе с нами, но в другую сторону, и тогда ребенка поручали соседям, иногда оставался дома, сетуя на роль мужа-подкаблучника. Отлаженность поведения в нашей троице была почище французской: исполненный благородства Гюстав уводит Мабиш, а добряк Бри-Бри остается прикрывать тылы.

Мы перестроили порядок наших встреч: они начинались с Подколокольного, затем следовал ресторан. Конечно, мы за версту обходили "Москву" и после нескольких прикидок остановили выбор на "Савое": интеллигентные люди в этот ресторан не ходили. Однажды я предложил Даше позвать Стася на наш далеко не прощальный ужин.

— Это, значит, после Подколокольного? — Даша завела глаз.

— А что тут такого? — беспечно спросил я.

— Ну, зачем же из него дурака делать?

Я понял, что уронил роль Гюстава, исполненного несказанного благородства...

Кто-то из французов, кажется, Поль Бурже сказал: "Животное после спаривания грустнеет". Я люблю банальные мысли, только в них и бывает истина. Сама банальность тому доказательство, значит, мысль соответствует общечеловеческому опыту. В юные годы освобождение — временное — от груза желания вызывало у меня подъем энергии, прилив жизненных сил, я становился оживлен, говорлив, весел, реактивен, что невероятно раздражало Дашу. "Тебе очень весело?" — спрашивала она, закатывая глаз. Она считала, что такое поведение роняет величие ее дара-жертвы, хотя на самом деле все наоборот — нет ничего дороже радости, столь редкой гостьи на земле. Но с приближением к середине жизненного пути я стал более соответствовать Дашиному представлению о мере вещей, равно и трюизму Бурже. С другими женщинами я чувствовал чаще всего отвращение и желание оказаться на другом конце света, с Лелей — глубокий, блаженный покой, а с Дашей — печаль. Во мне пробуждалось чувство вины перед прошлым. В наших нынешних объятиях не было фальши, ни натуги, ни искусственности, ни принуждения души и плоти к чему-то утратившему душевный смысл. Но, когда я вспоминал былое, мне начинало казаться, что мы празднуем черствые именины: холодный пирог царапает горло, а вино — скорее лечебное средство, нежели волшебный нектар.

Меня ничуть не волновало прошлое моих других жен и тех женщин, с которыми меня сводила или влюбленность, или увлечение, или просто желание, но не так было с Дашей. И чем нежнее, доверчивей, откровенней тянулась она ко мне, тем едучей память о ее предательстве.

И было еще одно: она обесценивала моих жен, заставляя меня менять их, вовсе даже того не желая, ибо ни одна не могла стать тем, чем была раньше Даша — единственной. Но и она сама, оставшись самой важной, не может уже быть единственной, я сплю с Лелей, сплю с другой женщиной, на которой женюсь в свой час, чтобы снова уйти к другой, а сколько случайных, вовсе ненужных связей! Я сбит со своего пути. Ведь мог же я посреди фронтового бардака оставаться верен далекой жене, уже чувствуя, что теряю ее. Тогда я был настоящим, а тот, кем я стал, мне чужд, порой до омерзения. И я ревную, как ни хотелось мне избежать этого слова, ревную не к Резунову и уж подавно не к Стасю, я, тогдашний, ревную ее к себе — сегодняшнему, к подонку и блядуну, к Гюставу, исполненному несказанного благородства.

И было еще, что мне мешало. Даша стала проявлять в постели энергию, которую я поначалу принял за старательность, желание доставить максимальное удовольствие, но которое больше смахивало на проснувшуюся чувственность. Я, как Пушкин — до чего же мы похожи! — никогда не дорожил мятежным наслаждением. А если слышал стоны и крики вакханки молодой, то с трудом удерживался от желания дать ей по морде. Нет, мой идеал — это пушкинское:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда склонялся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья.
Счастливо холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемля ничему.

И мне совершенно не требовалось, чтобы моя любимая, раскочегарившись, делила "наконец мой пламень поневоле". Меньше всего мне это было нужно от Даши. Ведь, если всерьез, — ты трахаешь самого себя, а партнерша — это приспособление — удобное, милое, нежное, желанное, умело помогающее или мешающее тебе соединиться с самим собой. Даша с ее морозным холодком была мне великой помощницей, а нынешняя активность мешала, тем более, что я угадывал не мое научение.

Моя ограниченность была в том, что я хотел вторично войти в ту же реку, а это невозможно. Поверить бы Гераклиту и смиренно благодарить судьбу за ее подарок, а я рефлексировал. Это слово, как и основа его "реф-

лексия", ненавистно мне со школьной скамьи. Все непривлекательные герои русской литературы (их еще "лишними людьми" называют): Печорин, Рудин, Бельский, Райский рефлексировали.

Рефлексировать я переставал в ресторане "Савой" с первой же рюмкой. Водка — лучшее средство против рефлексии. Я смотрел на Дашу — свет громадной дворцовой люстры хорошо золотил и молодил ее милое лицо, — она улыбалась, довольная, что торжественная часть нашей встречи высокочтимая, но все же несколько утомительная и докучная, осталась позади, а впереди у нас долгий разговор, воспоминания, сладость дорогих имен на языке. В ее семье высоко ценился разговор, да и какие говоруны были: Пастернак, Нейгауз, Вильмонт. Болтовню даже изящную, презирали, как и голую информацию — те же сплетни, старались дойти "до самой сути", конечно, никогда не достигая ее, но одерживая духовные победы по пути. И Дашу хлебом не корми — дай без запальчивости, крайностей, дискуссионного напора распутать (или еще лучше запутать) какой-нибудь психологический узелок, открыть новый нюанс в отношениях людей, казавшихся давно прочитанной книгой. Я односторонне подходил к Даше, беря от нее лишь то, что лежит в сфере чувства, а ведь она была подобно своей матери "умственным" человеком. Я, конечно, упрощал Дашу себе на потребу, слишком мощная волна несла меня к ней.

Я не склонен к отвлеченному мышлению и могу отнести к себе слова Блеза Паскаля, что серьезные мысли занимали самое маленькое место в работе его головного мозга. Правда, Паскаль в этой, равно чуждой нам области преуспел больше. И я не в силах передать сути наших "савойских" бесед, поскольку в них было много метафизики и мало плоти действительной жизни. Но один разговор мне запомнился, именно в силу своего житейского характера, и поскольку он касается действующего лица этих записок, я о нем расскажу.

Однажды, когда я в очередной раз заехал за Дашей,

мне почудилось, что в парадное зашел Гербет. Я подумал, что он решил навестить заброшенную падчерицу. Незадолго перед тем Стась рассказал мне любопытное происшествие, которое Даша от меня скрыла. Стась уже заканчивал диссертацию, когда без предупреждения появился Гербет и забрал пишущую машинку. Он зарезал Стася без ножа — денег на машинистку у того не было. И тогда Даша отправилась к Гербету, в стан врагов, и, не обращая внимания на обитателей, не говоря ни слова, прошла в кабинет, взяла машинку и удалилась. Немая сцена редкой выразительности и драматизма. Неужели Гербет выбрал мой день для объяснений или примирения? Если он задержится, я его прикончу. Но войдя в квартиру, я обнаружил, что Гербета там нет.

В ресторане, когда Дашины разговоры снова втолкнули меня в мир Гербетов, я с полной отчетливостью вспомнил этих людей, их манеры, привычки, всю сопутствующую им ауру и понял, что не мог так грубо ошибиться: я видел Гербета, его старую фетровую шляпу с большими отвисшими полями, поношенное ратиновое пальто, шарф, калоши и большой истершийся до лепестковой тонины кожаный портфель, но он дематерилизовался. Я сказал Даше об этом случае. Может, то был призрак Гербета?

Даша рассмеялась.

— Ты веришь в привидения?

— Начинаю верить. Не мог же нынешний Гербет донашивать довоенный доспех. На нем не было ни одной свежей вещи: от шляпы до калош — в довоенном, а портфель — времен Института красной профессуры.

— Ты видел живого Августа Теодоровича, — сказала Даша. — Его строго держат, к тому же он не франт.

— Ну, ему и раньше не больно давали мотовагь.

— Нет, конечно. Но он и сам довольно аккуратен в тратах, его не приходилось хватать за руки, А сейчас он под жестким прессом. Надо содержать все растущую семью.

— Я слышал, что его дочка умерла.

— Его — да. К счастью для всех и для себя самой.

Несчастное существо! Но появились другие дети, много детей.

— Не ожидал от Гербета такой прыти. Он же старый человек.

— Но у него молодые студенты. Почему-то несчастную мать привлекали юноши из развивающихся стран. Я не помню ни национальности, ни последовательности этих юных отцов. Кажется, сперва родился негр. Потом вьетнамец или китаец — кто-то желтый. Потом сириец или египтянин — в ореховых тонах. Тебе это очень важно?

— Мне — нет. Но Гербету, наверное, важно. Он же не слепой.

— Конечно, нет. Поэтому, отправляясь в роддом, грешная супруга оставляет записку: "Прости меня и забудь. Я сама воспитаю несчастного малютку." Гербет тут же покупает гвоздики, мчится в роддом и передает цветы вместе с запиской: "Ни о чем не тревожься. Я воспитаю его как родного."

— Страшноватая история.

— Ты слышал, как называют этот семейный интернационал?

— Нет.

— Дети разных народов.

— Хорошо! У Дявуси не жизнь, а сплошной международный фестиваль. Но какое все это имеет отношение к призраку у тебя в подъезде?

— Самое прямое. Покорившись внешне, он тихо взбунтовался на свой мышиный лад. Ты помнишь дворничиху, которая принимала нас в котельной во время бомбежки? Ее грациозный облик глубоко запал в скрытную душу Дявуси. И недавно воскрес. Он регулярно навещает ее, приносит гвоздики, консервы, сыр. Они пьют чай и наслаждаются любовью. Я с ним уже дважды сталкивалась в подъезде, он кланяется, смущенно улыбается, но ничего не говорит. Вероятно, уверен в моей порядочности. Я и молчу.

До чего же богата — при всей бедности — и неисповедима жизнь! Мог ли Гербет вообразить, что подвал, куда его сводила при воях воздушной тревоги олимпийски спокойная жена, холодным голосом изображающая ужас, и встречала молодая дворничиха, гордая визитом таких больших, знатных людей, станет прибежищем его обманутого сердца? И могла ли думать юная служительница метлы, с мазком угольной грязи на смазливой мордахе, принимая дергающегося от страха, с закатившимся за очками взором профессора, что то грядет жених во полунощи? Мифы и были древней Греции, которой Гербет посвятил свою жизнь, должны поддерживать его в нынешнюю сумеречную пору. Он, как Орфей, спускался в ад за Эвридикой, но не для того, чтобы вывести ее на свет и потерять, а чтобы в ее подземном царстве обрести силы для новых песен.

Сократ превращался в Орфея и — пусть не с арфой и песней, а с бычками в томате и сыром — погружался в подземное царство, куда не достигали грубые шумы жизни и было всегда тепло от близости котельной и негасимой любви Эвридики. И начиналась любовь под метлами...

Интересно, посещали ли Гербета элегические мысли о том, что когда-то, строго над подвалом звучал рояль Нейгауза и его собственный рояль, Пастернак читал из "Доктора Живаго", а Сельвинский — о тигре, западающем в свое тело, и Вильмонт кидал блестящие остроты своим евнухиальным голосом? Или он с клошарьей уютностью думал, что сейчас лучше?...

20

И опять прошли годы, а может, десятилетия, а может, века. Крутилась безостановочно карусель жизни, и что-то в ней казалось важным, как кукуруза или соевые культуры, которые должны были в 1984 году привести нас к коммунизму, но привели к оруэлловской антиутопии; разгромили "Литературную Москву" — героическую и жалкую попытку создать первый независимый альманах, и я угодил в черный список.

В личной жизни перемены были, но больше внешние — новыми актерами разыгрывалась старая пьеса. Но вдруг раздавался звонок и карусельно-однообразное кружение жизни прекращалось. И в эту короткую остановку начинала двигаться не по кругу, а вперед душа, совершалась истинная жизнь — со страстью, самозабвением, захлебной речью, безграничным доверием, прожигающей рюмкой — несколько часов вмещали жизнь во всей ее полноте. Затем мы расставались, и я опять влезал на деревянного расписного конька, и карусель приходила в движение. Она начинала звенеть, бренчать, возникала музыка, воздух обтекал лицо, казалось, ты куда-то приедешь. Нет, ты двигался по кругу...

В эту пору я плохо представлял себе Дашину жизнь, ее знакомых, утехи и дни семьи, но думаю, она ощущала поступательный характер, а не кружение на месте, хотя бы из-за сына. Он рос, мужал, развивался, толкал время вперед...

...Это было зимой в жгуче морозный день. Я заехал за Дашей, и мы привычным маршрутом покатили в Подколокольный. Холод проникал во все щели машины, даже печка не помогала. Пока мы доехали, Даша совсем закоченела. Я дал ей ключ от квартиры, а сам побежал в магазин за четвертинкой коньяка.

Когда я вернулся, Даша отогревала над газовой колонкой окоченевшие руки.

— Неужели не согрелась? Здесь же тепло.

— Ты же знаешь меня...

Словечко "знаешь", ласково коснувшись сердца, вдруг укололо шипом. Да знаю ли я хоть немного эту женщину, которая безжалостно разрушила наше так долго и трудно возводимое здание, чтобы на обломках ставить карточные домики?

Вздрагивая, стуча зубами, Даша выпила рюмку, поперхнулась. Запить было нечем, мы не подумали согреть чаю, поставить кофе. И это как-то подчеркнуло краткость нашего пребывания здесь, невнедренность в это жизненное пространство. Мы пользовались квартирой, как тем

специальным номером гостиницы, который сдается не на дни, а на часы и обставлен лишь кроватью, умывальником, биде и стулом, чтобы кинуть одежду.

Чуть поскуливая и дрожа, Даша стала раздеваться. Я ждал традиционного вопроса: "Можно оставить лифчик?" После родов у нее подпортилась грудь, обвисла, погрубели соски. Это в порядке вещей, но жаль было лишиться ее грудей, которые я так любил. А вообще Даша сильно изменилась. Одежда делала эту перемену менее заметной, но теперь, когда она раздевалась, я должен был что-то преодолеть в себе, чтобы принять эту новую Дашу. Тело ее не постарело, не утратило упругости, скорее даже поюнело за счет худобы, но мне стало чего-то не хватать. Мне мало было ее теперешней плоти, мало рук, плеч, бедер, икр, она не заполняла моего объятия так плотно, как прежде. Мы с ней поменялись ролями; прежде худой, как щепка, я словно растворялся в ее телесном обилии, и нежная, дивная субстанция обволакивала меня, топила в себе, а сейчас грузный, тяжелый, заматеревший, я давил на ее хрупкие косточки, грозя их поломать.

Быстро, деловито мы принялись отрабатывать урок, и новая активность Даши, отчетливо ставшая соучастием, торопя меня к финалу, мешала достигнуть главного: воплотиться в нее, воплотить ее в себя, чтобы из двух стал один. Один я на воздушном океане наслаждения. И тут я услышал, что она скрипит зубами. Какой там морозный холодок!.. Ее тело раскалилось, а нутро дышало жаром. И спешила она по своему делу, а не на утоление моей ненасытности.

Освободив ее наконец от своей тяжести, я спросил:

— Похоже, ты поняла, что это не пустая трата времени?

— О чем ты?

Я объяснил.

— Вот ты о чем!.. Нет, тут все по-прежнему.

Ее нейтральный, неокрашенный голос поколебал меня. Когда Даша была на страже, она никогда не выдавала себя. Ее можно было поймать только врасплох, но если тема определилась, ее голой рукой не возьмешь. Как

мастерски водила она за нос свою умную и проницательную мать! А с какой легкостью и простотой делала дурака из меня! Почему-то ей не хотелось признаться в зигзаге своей физиологии, быть может, она догадывалась, что у меня это не вызывает восторга.

Наверное, я был обречен на непонимание самой близкой женщины, чье прерывистое — для меня — существование прошло сквозь мусор трех эпох, помогая мне не забыть себя в хаосе моей личной жизни. И ведь она всегда играла свою собственную игру, в которой я был подыгрывающим. В последнем есть упрощение, неизвестно, почему я всегда преуменьшал свое значение для нее, желая во что бы то ни стало быть обиженной стороной. А разве это не правда? Правда, но не для тех, кто хочет все знать.

Я перекатывал в уме эти безмускульные мыслишки, когда случилось что-то ужасное. На меня пахнуло невыносимым и жутким смрадом, жутким потому, что в нем я ощутил привычный и любимый Дашин запах. Я почти сразу догадался о его не физической природе, ибо он пришел как бы извне, спустился сверху, забрался под одеяло, окутал, проник внутрь, забил гортань, легкие, каждую клеточку организма, тошный, рвотный, невыносимый. В этом ужасном запахе сконцентрировалось все дурное, что было между нами за прожитые годы, смрадный дух измен, лжи, чужих касаний, чужой кожи, слюны, слизи, секреции. Тут было все, чем мы осквернили наше золотое, которого нам могло бы хватить на всю жизнь. Такой нечистоты не отмоешь ни в каких водах, не соскребешь никакой скребницей. Почему это гадкое явилось только сейчас, всем навалом, где таилось оно раньше? Наверное, шло какое-то накопление, сгущение, и нужен был лишь случайный толчок, чтобы злой дух вырвался из бутылки. Не стоит ломать голову, что послужило толчком, какая разница? Он явился смрадным удушьем взаимного греха.

Я вскочил и начал судорожно одеваться.

— Что случилось? — испуганно спросила Даша.

— Ничего... Я сейчас...

— Куда ты?.. Что с тобой?.. — она встревожилась не на шутку.

— Прогреть машину. Я забыл залить антифриз.

Не застегнув каких-то пуговиц, не завязав шнурков, не заправив толком рубашку в брюки, я выскочил в прихожую, натянул пальто и без шапки вывалился из квартиры.

Антифриз был залит, и машина могла простоять на морозе, который стал менее ощутим, сколько угодно времени, но я залез в машину и принялся зачем-то прогревать мотор. Этим как бы оправдывалась моя ложь. Я закурил и омылся табачным дымом, заполнившим тесное пространство машины.

Я выключил мотор, выбрался из машины, запер дверцу и неторопливо пошел назад.

Даша все так же лежала в постели, меня встретил чуть неуверенный, заблудившийся между испугом и радостью взгляд. Я разделся, лег, дивно пахло любимой женщиной, наваждение кончилось.

А потом был ресторан "Савой" со швейцаром, сохранившимся с дней русско-турецкой войны, золотой, хрустальный, малахитовый купеческий рай, запотелый графинчик с водкой, рюмка в узкой, изящной руке и сознание непоправимой ошибки.

В какое-то мгновение я поймал себя на том, что воспринимаю происходящее как бы в прошедшем времени. Мы сидели с Дашей в ресторане "Савой" друг против друга, пили водку, Даша улыбалась, у нее было доверчивое, оживленное лицо. Оказывается, встречи со мной были для нее маленькими праздниками, а я не догадывался об этом, считая их скорее данью прошлому, традиции, неким скрепом, придающим жизни цельность и прочность. Почему мы не могли тогда договориться?.. Почему люди никогда ни о чем не могут договориться?.. Что-то кончилось, что-то невозвратно кончилось, когда я, кое-как одетый, бежал от нее на улицу.

Я вернулся в настоящее время, Даша не заметила моего отсутствия, она что-то говорила тем глубоким го-

лосом, который появился у нее, когда наш путь вновь привел нас в Подколокольный...

В отличие от арзамасского ужаса Льва Толстого, пережитый мной ужас в Подколокольном переулке не явился для меня нравственным кризисом, за которым последовало обновление духовного существа. Мой ужас был предвестием грядущей перемены, предостережением, подобным огненным письменам, явленным злосчастному Бальтасару на пиру. Не помню, продолжал ли Бальтасар пировать, прочтя грозное предсказание, но в моей жизни ничего не изменилось: наши редкие встречи с Дашей продолжались. Даше хотелось все знать про меня: как я живу, с кем встречаюсь, что пишу и печатаю, что у меня ставится в кино, какие новые подлости измыслили в отношении меня Союз писателей и "Литературная газета". Даше хотелось, чтобы я отбивался. Но я не обладал бойцовым характером, и, поняв, что злопыхатели не могут сколько-нибудь серьезно повлиять на мою литературную судьбу, Даша расспрашивала о людях, которых в глаза не видела, о моих друзьях по охоте и рыбалке, о спутниках по туристским поездкам, о новых литературных знакомствах, доброжелателях и недругах, и я понял, что окружающий ее человеческий пейзаж очень скуден. А ведь ее с самых ранних лет приучали ценить превыше всего богатство человеческого общения, дар глубокой беседы.

В справедливости своей догадки я убедился на одном примере. Был день ее рождения, который мы когда-то так пышно праздновали в Коктебеле. Я плохо помню даты, но тут меня осенило, я пошел в цветочный магазин на Кропоткинскую, приобрел там до неприличия громадный букет роз и послал с поздравительной карточкой, но без подписи. Я был уверен, что Даша и Стась поймут, от кого цветы, и с щепетильностью наиблагороднейшего Гюстава нарочно придал посланию сердца чуть комический характер — для букета потребовались два посыльных. В тот же день они мне позвонили и пригласили на ужин. "Мы не празднуем, у нас никого не будет. Только свои".

"Своими" оказались Дашин племянник Сережа, вымахавший в молодого гиганта с хорошеньким, но каким-то несформировавшимся личиком, и "самый близкий друг дома", доктор наук, профессор и светило — средних лет некрасивый, с огромными залысинами, ломучий человек в очках, с противной приметой: когда он говорил или улыбался, у него выворачивался наружу розовый подбой нижней губы. Мне он не понравился не только этим. Я усмотрел в его явлении, рекомендациях хозяев, в их почтительной повадке назидание мне: мол, вот тоже не последний за столом жизни, а ведь более внимателен и чуток, чем некоторые друзья с пенсионным стажем.

Вскоре причина такого предпочтения выяснилась. Когда я, несколько задетый, меланхолически обозревал расставленные по всей комнате вазы и кувшины с розами из моего букета, я услышал медовый Дашин голос:

— Где вы, Сэм, там всегда цветы.

А Стась довольно гоготнул:

— Мы думали, это букет с Марса!

— Где только вы их нашли? — умилялась Даша.

— Советские розы не пахнут, — заметил Стась, — а тут благоухание до самой Зубовской.

В своем высказывании Стась ловко соединил комплимент с хулой на ненавистную власть.

"Мать честная, они говорят о моем букете, приписав его этому уроду! А он хоть бы что, и не думает отрицать. Посмеивается, уводит глаза, мол, так уж приучен, старая школа."

Я едва досидел до конца ужина.

А при нашей очередной встрече с Дашей спросил:

— Как поживает цветочный Сэм?

Она хмуро глянула на меня.

— Это ты прислал розы?

— Да нет же. Куда мне. Там, где Сэм, всегда цветы.

Даша вздохнула.

— Стась его вышвырнул вон. Как Резунова.

— Он что — полез к тебе?

— Если бы ко мне! К Сереже.

Передо мной распахнулось широкое поле реванша, но

я не шагнул на него из сочувствия к двойному разочарованию Даши, потерявшей и поклонника, и человека для беседы.

— Что-то не везет мне на людей. У нас и так никого нет, а к этому мы успели привязаться. Оказывается, он ходил не ради нас, а ради Сережи...

21

Сейчас я понимаю — Даша догадалась, что равновесие в наших отношениях нарушено. Ей наши встречи стали нужнее, чем мне. Я и раньше редко проявлял инициативу, зная, что все равно будет так, как она хочет. Но сейчас я и звонить перестал. Не из равнодушия, а ради того, чтобы это равнодушие обрести. Но встречи наши не утратили своей остроты, вспарывающей естественный ход жизни. Я говорю о себе. Даша не была и не стала моим "Эрмитажем", чтобы разгрузить чемодан. Если б дело обстояло так, я, может, и по сию пору встречался бы с ней. Есть невообразимая прелесть в близости с женщиной, которую любишь и знаешь столько лет. Привычка оборачивается новизной и свежестью ощущения. Особенно, если эту привычку освящают незаконность, грех. Но физическая привлекательность Даши уступала моей обреченности ей.

Даша возвращалась к сыну, семье, требовавшим ее ежечасной заботы, и, готовя борщ, не без удовольствия прокатывала через душу подробности нашей встречи, разговоры, которые мы вели, новости, услышанные от меня. Мне некуда было возвращаться. Все то жилое пространство, которое у меня образовалось в Москве и за городом, было домом моей матери, которым она распоряжалась с присущей ей властностью. Гостьей — желанной или нежеланной — оказывалась моя очередная жена. И происходило это не от слабости моего характера, не от подчиненности материнскому авторитету, а от непреходящего ощущения искусственности, картонности всех моих попыток самостоятельной жизни. Я сам в них

не верил, как не верил и в своих спутниц. Они в свою очередь не слишком верили в меня, догадываясь о какой-то моей порче. Для этой порчи в народе, идиотичном в каждое отдельное время, мудром и всезнающем в веках, есть точное слово: присуха.

Человек думает обо всем, и у меня порой мелькала мысль: а если начать сначала? В практическом бытовом плане тут не было ничего сложного, но сразу во рту возникал вкус медной проволоки. Я видел, как успокоенная Даша косит в сторону, чтоб всколыхнуть стоячие воды благополучия, да и себе я не больно верил: не вернуться мне в образ волховского паладина, беззаветно верного своей Даме.

Даша почувствовала угрозу, хотя и не понимала, откуда она идет. Она прибегла к очень простому и дешевому трюку, попасться на который мог только такой кретин, как я. В то лето она после долгого перерыва съездила на море, в Гурзуф или Симеиз, не помню, да это и не важно. Мы встретились у нее. Стась пропадал в горах, он увлекся альпинизмом, сын участвовал в каком-то походе, был август, время каникул и отпусков еще не кончилось.

Я отвык от шоколадной Даши, она сохранила свою способность к густому, ровному, обливному загару. Мне вспомнилась другая встреча у нее в доме, когда она, опередив родителей, прилетела из Коктебеля и распласталась на столешнице, темнокожая и обжигающе горячая. С возрастом меняются реакции, прежде это воспоминание вылилось бы в немедленный рывок к ней, сейчас мне стало грустно. Тогда я растворился в ее солнце, а воскреснув, унес его с собой, сейчас мне этот смуглый пейзаж принадлежит не больше, чем крымский пляж курортнику. Приняв мою пассивность за недостаток желания, Даша решила с ходу разрубить гордиев узел. Как-то ни с того, ни с сего она сказала:

— Знаешь, я тебе изменила.

Я сразу поверил и почувствовал боль. Не смертельную, не идущую в сравнение с той, что она мне когда-то

причинила, но увесистую, как удар кулаком в грудную кость: что-то внутри сжимается и дышать трудно. К этой боли добавилось чувство оскорбленности. Не за себя, убей меня Бог, — за Стася. Дашина измена — это не деловые эрмитажные разгрузки Стася, а предательство. Наверное, я никогда не был настолько Гюставом, исполненным благородства, чем в эти минуты, когда я проклинал в душе Мабиш, посягнувшую на священный треугольник, злоупотребившую доверием Бри-Бри.

Она смотрела на меня выжидательно. Я не хотел, чтобы она догадалась, что творится у меня в душе, и спросил почти небрежно:

— С кем?

— Он врач. Профессор. По-моему, влюбился в меня. Представляешь, в меня еще можно влюбиться.

— Где это произошло?

— Ты спрашиваешь, как о дорожном происшествии. В доме отдыха. Я растеряна. Что мне делать?

— Тебе — не знаю. А он обязан жениться.

Она закатила глаз.

— Это так весело?

— Чего ж веселого! Раз вырвалась на волю и разговелась на первой куче. Вы продолжаете встречаться?

— С кем? — бессмысленно спросила Даша.

— С этим врачишкой.

— Он не врачишка. Очень крупный хирург. Если бы мы встречались, тебя бы здесь не было.

— Ну, так и нечего говорить о нем. Я помогу тебе снять тяжесть с души: мы квиты.

— В каком смысле?

— У меня тоже был роман и довольно бурный.

Я не совсем врал, у меня, действительно, был роман больше года назад, а сейчас он катился по наезженному пути к очередному браку, такому же ненужному, как все предшествующие, кроме первого.

— А кто твоя избранница?

У меня было впечатление, что в пору, когда роман начинался, я рассказывал о нем Даше, принявшей эту

откровенность весьма благосклонно, ибо ее уже тревожил мой слишком затянувшийся последний брак. Она опасалась, как бы он не оказался всерьез, тем более, что в начале было настоящее и столь редкое у меня увлечение. То ли Даша забыла об этом, то ли подзапуталась в смене блюд. Она стояла на принципе справедливости, раз она замужем, я могу быть женат, только не надо относиться к этому слишком всерьез. А с другой возлюбленной она не хотела мириться, как и я с другим ее любовником.

Я не был слишком многословен, ожидая, что она спохватится и прервет меня. Но она слушала, устремив грустный взгляд в какую-то далекую пустоту и покусывая нижнюю губу. Казалось, она опять не слышит, или слышит вполуха, занятая своими мыслями. Когда же я выложился, сказала с бедным торжеством:

— Вот я тебя и поймала. Никакого романа у меня не было. Я была весь месяц со Стасем.

— Значит, у тебя был роман со Стасем, — довольно глупо (а может, и не так глупо?) сказал я.

— Со Стасем у меня нет романа. Ты это знаешь. А что же ты так оскоромился? Говорил, что любишь.

И тут я увидел, что нанес сильный удар. Зачем понадобилось ей провоцировать меня? Она хотела проверить мою верность, но выбрала дурной способ. Я попался, как последний дурак, самое же глупое в случившемся, что я ей тоже врал. Признаться в этом — не пройдет. Мой рассказ, в отличие от ее лапидарного сообщения, содержал подробности, которых не придумаешь сходу. Да в нем все и было правдой, кроме того, что несчастный случай произошел год назад, о чем Даша была своевременно оповещена. Но поскольку она ничего не помнит, всякие объяснения будут выглядеть трусливым изворачиванием, заслуживающим презрения. И все же я сказал бы ей правду, не думая о последствиях, если б не одна странная загвоздка: ее довольно банальная бабья выдумка, ловушка для дураков, осталась во мне шипом, пробудив память о том признании, которое было истинным. Более того, я не сомневался, что она соврала, но жить

я теперь буду с мыслью, что в Гурзуфе или Симеизе она нарушила молчаливый обет верности. Слишком естественно звучала ее ложь, куда естественней моей правды, в которой отчетливо слышался захлеб отместки.

— Ты наврала мне, но откуда ты знаешь, что я сказал тебе правду? Мы встали на очень дурной путь. Он заведет нас в тупик.

— Ловко я тебя поймала? — мимо моих слов сказала она.

Казалось, она сейчас заплачет. Она ревновала меня, впервые в жизни. Ведь даже на заре наших отношений, когда возникла Гера, в ее ощущении случившегося ревность занимала последнее место. Наверное, следовало гордиться, что после стольких лет близости, когда даже самый большой костер горит без гуда и треска, еще играя пламенем и даря тепло, но умиротворенно, устало, я вызывал в моей подруге такое сильное и новое чувство, но я не испытывал радости. Не надо держать меня уловками, есть в этом что-то бабье нищее, недостойное Даши.

И внезапная, без перехода, нежность, овладевшая ею, такая далекая от обычной сдержанности, скорее мешала, чем помогала моему слиянию с ней. Конечно, в какое-то мгновение я перестал слышать фальшивую ноту и под чистый звук эоловой арфы вознесся в свой не ветшающий рай. Но когда пришла физиологическая грусть Бурже, я подумал, что похож на столь любимый в детстве китайский бумажный мячик, прикрепленный к длинной, тонкой резинке.

Я насквозь литературный человек. Книжных героев я воспринимаю как живых людей, не помня о том, что они созданы писательским воображением, нахожусь с ними в постоянном обмене, диалоге, споре, случаются ссоры и примирения. Пытаясь разобраться в собственных обстоятельствах, я редко обращаюсь к жизненным примерам, предпочитая литературу. Когда-то я набросал небольшой рассказ (таинственно пропавший, как и весь мой ранний архив), в котором уподобил себя герою "Воспитания чувств" Фредерику, а Дашу — его вечной и безнадежной

любви госпоже Арну. Но между нами была существенная разница. Фредерик всю жизнь верно и бесплодно любил г-жу Арну, когда же она наконец решила увенчать его бескорыстное поклонение, он сам отказался от награды, обнаружив, что любимая сильно поиздержалась в дороге, и не желая портить впечатления. Я написал этот рассказ еще во время войны, думая, что потерял Дашу, и уверенный, что все равно буду любить ее до последнего дня. Есть куда более точный образ, связанный с литературой, но воплощенный в жизни: Тургенев, промотавший жизнь у юбок Полины Виардо. Один из самых противных для меня образов душевного бессилия мужчины.

Наверное, я не случайно выбрал литературу оружием для спасения от участи Тургенева.

Когда пишешь о себе, даже назвавшись другим именем, а я так нередко поступал и сейчас собирался повторить прием, но раздумал (чужое имя — все-таки маска, пусть прозрачная, а здесь мне хотелось до конца быть самим собою), тебя подстерегает множество опасностей, и наихудшая — стремление самооправдаться. Человеку не только поставить на себе крест мучительно трудно, почти невозможно, но даже пометить крестом стыдные, дурные поступки. Так хочется пригоже выглядеть и в чужих, и главное — в собственных глазах. "Исповедь" Руссо — единичное явление в мировой литературе, все остальные автобиографические книги весьма опрятны, чаще же всего апологетичны. Легче возвести на себя грандиозную напраслину, посмеиваясь в душе над обманом, чем признаться в мелком пороке, подленьком поступке, рядовой низости. В бытовой подлянке невозможно оправдаться. Хосе убивает Кармен и просит: "Арестуйте меня, я убийца ее!", и мы исполняемся к нему жалости, мы восхищаемся его прямотой и мужеством, попробуйте сознаться в краже серебряных ложек, ничего, кроме плевка, не заслужите.

Едва ли покажется корректным тот способ освобождения, каким я бессознательно воспользовался, наверное, в силу своей пролитературенности. "Бессознательно" сказано не для самооправдания, у меня не было плана,

я не думал о последствиях того, о чем сейчас пойдет речь. Даша долго объясняла мои эскапады зигзагами любви, впрочем, так оно и было, хотя вели они к разрыву.

Мои повести, рассказы, даже сценарии раз за разом населялись персонажами, очень похожими на Дашу и на меня, а главное, поставленные в схожую с нашей эмоциональную и психологическую ситуацию. Затем появилась под разными соусами Анна Михайловна, запахло домом Гербетов. Я не щадил Дашу, а к бедной Анне Михайловне был вовсе беспощаден. Иногда я вплотную приближался к реальности, вернее, к тому, что представлялось реальностью мне, наверное, у Даши были серьезные коррективы к набрасываемым мною картинам.

Можно удивляться Дашиному терпению. Как же хотелось ей сохранить меня, если она раз за разом наступала на собственное сердце! И она никогда не говорила со мной о моем беллетристическом нытье. Конечно, я всюду выглядел рыцарем без страха и упрека, чистым, доверчивым мальчиком, в чью беззащитную душу плевали змея-подколодная — жена и ведьма — теща. Иногда это выглядело довольно плоско, но, случалось, незабытое чувство оскорбленности находило сильные слова. Возможно, Дашу это задевало, но ей доставало стойкости, чтобы не показывать вида. Зато самого себя я растравил основательно — старые раны опять закровоточили.

Стась, с которым я изредка встречался на Кропоткинской, порой случайно, порой по его звонку — он работал поблизости и приглашал выпить пива в забегаловке на Метростроевской, тоже никогда не говорил об этих писаниях, хотя старался не пропускать ничего, мною опубликованного. Мои стенания о прошедшем дарили его душевным комфортом, он не понимал, что можно, не прощая прошлого, любить в настоящем. Гербета он ненавидел, называл не иначе, как "Теодоро", ему виделась в этом обидная едкость. Похоже, отношения с Анной Михайловной тоже не отличались прозрачностью. Она, насколько я понимаю, держала в свое время сторону Резунова. "Теодоро" он поносил при каждом удобном

случае, но не считал для себя позволительным обсуждать, а тем более осуждать мать своей жены. Когда это делали — в литературной форме — другие, он не возражал. Глядя на меня из-за края пивной кружки, Стась довольно похохатывал.

Когда я садился за эту повесть, или роман — не знаю, что у меня получилось, — я был исполнен старой непримиримости к Анне Михайловне, а сейчас, допечатывая последние страницы, я ее люблю. И когда думаю о высоком ее уходе, у меня сжимается горло.

Вскоре я переехал в другую часть города, и наши походы со Стасем в забегаловку прекратились. С Дашей я тоже встречался все реже и реже, и Подколокольный отошел в прошлое. Наши разговоры происходили за столиком в кафе "Мороженое" на улице Горького или в "Артистическом" напротив МХАТа. Даша по-прежнему жадно интересовалась моей жизнью. Самой ей рассказывать было почти нечего, она жила изо дня в день семейными и материнскими обязанностями. А я ей рассказывал: о Марокко, Касабланке, перевале через Высокий Атлас, о пальмовых рощах под Маракешем, о Париже — с ощущением какой-то лжи, хотя я ничего не придумывал.

Пломбир съеден, кофе выпит, никаких горячительных напитков, я уже трижды лишался прав за вождение в нетрезвом виде, Даша только пригубила свой бокал. Мы расплачиваемся и выходим. Я везу Дашу домой, почему-то мы оказываемся не на Зубовской, а в Новогирееве, Богородском, Черкизове. Кругом деревья, кусты, низенькие домики с подслеповатыми окошками, в темном небе — огни строительных кранов. Мы молча переходим на заднее сиденье. И вот оно Марокко, Высокий Атлас, пальмовые рощи под слепяще синим небом Маракеша, вот он Париж и Триумфальная арка. Все остальное — подделка. Затем мы так же молча едем на Зубовскую...

Вот с чем хотела покончить моя отомщевательная литература. То не было убылью любви к Даше, то была отчаянная попытка высвободиться из ловушки. Я попал в волчий капкан и тащил его, намертво захлопнувшийся на

моей ноге, впившись в плоть железными зубами, а мне как никогда нужна была свобода. Я уже упоминал о новой перемене в моей жизни. Все началось легко и необязательно, но в какой-то час представилось судьбой. Мне казалось, что я выхожу на последнюю прямую, и мне нетерпимы были посторонние отягощения. То было глубокое заблуждение: никогда еще меня так далеко не заносило в сторону от моей судьбы, моей сути и жизненной цели, но понадобились годы, чтобы это понять. Андрей Платонов говорил: "Излечиться от сердечной муки в одиночку нельзя, нужно лечиться другим человеком." Беда в том, что такого человека не всегда угадаешь. Тогда я не угадал и поплатился за свою близорукость. А он был — такой человек, только я не знал о его существовании, а он не знал о моем, но придет день, и мы встретимся, и я обрету цельность внутреннюю, вдохнув полной грудью воздух свободы...

Я потрясенно обнаружил, что прошло семь лет с нашей последней встречи.

* * *

Теперь, засыпая, я опять много и подробно думал о Даше и рисовал себе наше свидание. От поэта, с которым соседствовал, я изредка получал какие-то куцые известия о Даше: они переехали, получив новую квартиру, Дашу кто-то видел, она по-прежнему хороша собой. Потом он сказал, не ручаясь за достоверность, что Стась оставил Дашу. Это упрощало задачу покаяния. Хотя, честно говоря, я думал придти к Даше не с покаянием, а с объяснением своих кривых литературных поступков. Дело было за малым: узнать адрес. Каждый раз, отправляясь в Москву — я жил теперь постоянно за городом — я давал себе слово обратиться в справочное бюро, но всегда что-то мешало. Наверное, это "что-то" сидело во мне самом, не может быть такой власти внешних обстоятельств над человеком. Потом я решил предварить свое появление письмом, но опять же не мог добраться до

адресного стола. О телефоне у меня и мысли не было — я умею разводиться по телефону, но не соединяться. При этом образ встречи рисовался мне заманчивей, трогательней, бывало, у меня слезы наворачивались на глаза.

Что меня держало? Я мог бы сказать предчувствие, но даже тени дурного предчувствия не было. А потом из Крыма вернулась знакомая писательница и сказала: "Есть человек, который вас терпеть не может."

— Ну, таких более, чем достаточно. Для этого не нужно ездить в Крым.

— В литературной среде все друг друга ненавидят. Это единственное, что я пока знаю о писательской профессии. Но это не писатель. По-моему, экономист, очень еще молодой человек.

Я вспомнил о Стасе и Ваверлее.

— Странно! Экономисты питают ко мне слабость.

— Я сидела с вашей книжкой на лавке в парке, он подошел, поинтересовался, что я читаю. Я сказала: "Зачем вам эта гадость?" "А мне нравится!" Он весь скривился: "Терпеть не могу!" — и пошел прочь. Он тянулся ко мне, этот молодой человек, а с того разговора стал меня избегать. Я никогда в жизни не видела такой раскаленной ненависти. И, конечно, к человеку, а не к автору.

— А как он выглядел?

— Довольно высокий, худой, с некрасивым, угрюмым, но каким-то надежным лицом.

— Надежным? Тогда я догадываюсь, кто этот молодой человек. Сын моей первой жены.

— Вон что! Вы плохо поступили с его матерью?

— Да.

Ну что ж, точка поставлена. В справочное бюро обращаться не надо. Трогательной встречи двух старых любовников не будет. Я больше не увижу Дашу. Но ведь я этого хотел? Не знаю. Когда у нас с ней начиналось, я хотел одного: прожить с ней до старости, до конца. И верил в это. Кто знает, может, мы остались бы с ней, перешагни я через то, что со старомодностью девятнадцатого века называю до сих пор предательством. Вот

почему потерпела неудачу запоздалая попытка Анны Михайловны вновь соединить нас. Но не только из-за моего нежизненного максимализма, Даша этого не хотела. И вовсе не из-за пылкой любви к Резунову. Было увлечение, и в обычной супружеской жизни люди перешагивают через подобные ухабы с той или иной мерой горечи, даже страдания, но не теряют друг друга, а если и теряют, то на время, конечно, если сохраняется взаимное чувство, хоть на донышке.

Анна Михайловна тщетно стремилась руководить нами. Она одерживала практические победы, чтобы начисто проиграть войну. Строго, по-немецки. Воюя, немцы побеждают во всех сражениях, кроме последнего. Опыт двух последних мировых войн тому примером. И хотя противоборствовал Анне Михайловне я, на самом деле хозяином положения всегда была Даша, покорная, железная Даша.

Она не совершала ошибок. Да, наш брак очень быстро оборвался, но на этом этапе жизни я был меньше всего интересен ей в качестве мужа. Я был нужен и очень нужен как вечное приключение. Слишком рано начавшаяся, непосильная для юного существа душевная жизнь сбила ей дыхание. Страдальческое, взрослое переживание, каким обернулся ее роман с Резниковым, едва не погубило нежный росток комнатного цветка. Ей нужно было бы сразу вернуться в свой возраст, в глупую студенческую молодость, а она под нажимом матери продолжала путь ранней зрелости среди людей, годящихся ей в отцы и матери, искушенных, сильных умом и волей, как бы повиснув меж юностью и преждевременной взрослостью. В последнюю ее упорно втягивала мать, отсюда и Поэт, и докторант Бахрак, и другие кандидаты, мне неведомые. Боясь за себя, Анна Михайловна стремилась как можно скорее увидеть дочь женой, матерью, хозяйкой дома. А Даша не была к этому готова, ей не хотелось ни к плите, ни к колыбели, ни к умному салонному времяпрепровождению, хотя уже была заражена бациллой анализирования. По-настоящему ей хотелось приключений, секретов,

жгучих волнений, даже обмана любимой, но чересчур самовластной матери.

Ей годилось все: даже мой роман с Герой, походы в Подколокольный, временный разрыв и ослепительное примирение, потное объятие после истринского трудового дня, тайный брак, преступные объятия на полу в шаге от умирающей, загадочный форт в глубине леса, муравьи, впившиеся мне в задницу, которую я тут же подставил под выстрелы снайперов, открывающих огонь без предупреждения, новые тайные походы в Подколокольный, купеческий ресторан, бешеная гонка по Москве с нетрезвым водителем за рулем, даже мои литературные и кинематографические мельтешения и скандалы. Уход на фронт опечалил и взволновал, стало быть, работал в нужном направлении, но самый отъезд представлялся дезертирством. Приключение оборвалось. Свято место пусто не бывает: возник богатырь-вратоносец.

С Резниковым у нее могло получиться, он был безумец: партийный карьерист, яростно жадный до жизни, обреченный сломать свою шишковатую голову, ибо в сфере, где он действовал, нужны головы, гладкие и круглые, как биллиардные шары. Поэт и Бахрак не годились: за поэтическими озарениями одного и научными поисками другого угадывалась скудная мечта о семейном уюте с запахом пеленок, кухни и уборками квартиры. Оба были людьми порядка, крепкого быта. Резунов хорошо начал, но быстро угомонился над тарелкой дымящихся щей. Стась исчерпал свой романтический заряд на госпитальной койке и слишком рано принялся разгружать чемодан на стороне.

Я был кругом хорош. Покоем, стабильностью, детской присыпкой от меня не тянуло, но мой официальный статус с признанием в семье несколько снизил Дашин интерес ко мне. То, что вчера было королевским даром, прихотью, милостью Клеопатры, царицы Тамары, Екатерины Великой, стало обыденностью, тайна исчезла, приключение кончилось. Мне следовало совершить попытку самоубийства или прикончить Гербета, нахамить Анне Михайловне, поджечь дом, чтобы вновь обрести ценность в Дашиных

глазах. О каком приключении могла идти речь, если Даша, тяжело шаркая ногами, тащилась ночью в туалет ликвидировать очередного наследника, который с шумом, будящим спящую квартиру, низвергался в канализационную систему. Этот вульгарный шум предрешил мою участь. Я уехал, и Резунов легко взял воображаемую высоту, которую никто не защищал. А затем я вернулся, создав для Даши желанно сложную ситуацию, которая была для нее наиболее благоприятной средой обитания.

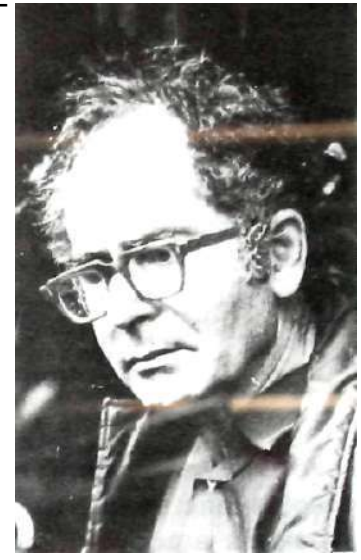
Вскоре, в новом образе, я стал для Даши тем же, чем был всегда: вечным раздражителем, угрозой покою, партнером по психологическим углублениям и — это можно было бы поставить вначале — любовником, над которым не властна привычка. Я был средством для сохранения молодости, ведь женщина стареет не с годами, а по убыванию своей способности волновать. Со мной Даше это не грозило.

А может, мне следовало повторить и даже превзойти подвиг литературного Фредерика и живого Тургенева, сохранить до конца верность своей Прекрасной Даме? Не раз бессонной ночью задавал я себе этот вопрос. Но жизнь работает из дневного материала, а не из бесплодных образов полусна.

Мне кажется, я догадался, почему объявил литературную войну Даше. Я отстаивал не тогдашнюю свою жизнь, лишенную ценности и достоинства, а то, что забрезжило впереди. В сумбуре, неопрятности, бреде моего тогдашнего существования, мелькнуло однажды лицо женщины, которая в недалеком будущем станет моей последней — нет, первой и последней — женой, "сопутницей ко спасению", как называл свою верную, горестную Марковну протопоп Аввакум.

Я перестал служить приключению другого человека, я служу собственному — тихому, медленному, с бытовым окрасом, но и со все новыми открытиями, как в самой не романтической и самой обязательной для каждого книге на свете "Приключения Робинзона Крузо".

Даша, если ты есть, прости меня.



Г. ПОМЕРАНЦ

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЛЮБОВЬЮ

Неопубликованная глава из "Записок гадкого утенка"

Первую минуту человек смотрит. Хорошо. Такая красота, что не оторвешься. Но привычки к длительному созерцанию нет. И через минуту задумывается. Или продолжает начатый разговор. Не бросать же на полуслове.

Иная линия — горы, побережья, даже дерева в окне — это икона. И надо смотреть, как молиться, — всей душой. Но как собрать душу? Это трудно. А в наше время — особенно трудно. И, наверное, чем дальше, тем труднее. Прогресс здесь — регресс.

Черт, договариваясь с Фаустом, запретил ему останавливаться. Если остановится в созерцании, если скажет: остановись, мгновенье, ты прекрасно! — конец всему, ад. Но Фауст сказал "остановись, мгновенье" — и в ад не попал. Я думаю, черт обманывал, запретил то самое, что

открывает дорогу к искуплению. Даже когда человек отдыхает, он не может остановиться или пойти медленным, медленным шагом, вбирая в себя красоту тропинки. Ему нужно мелькание кадров. Он не понимает, что остановка ума открывает место для чего-то самого главного. Что с розовой зарей н и ч е г о не надо делать (а ему все хочется делать, действовать). И если нельзя съесть, выпить, поцеловать, — он томится от непонятной тоски.

...и мы ломаем руки и опять
осуждены идти все мимо, мимо...
(Н. Гумилев)

Установка на длительность совершенно потеряна и в отношениях между людьми. Сходятся, как на ходу вскакивают в автобус. Говорят: закадрить (втянуть в кадр; а завтра другой). Один эскалатор вниз, другой вверх; лови кадры (лицо, грудь... чьи? Не разглядел). На улице тоже все торопятся. Наскоро кадришь незнакомых. Вся улица — незнакомки. Их лица ничего не успевают нам сказать. Замечаем только — хороша (или не очень) линия бедер и талии. Где тут добраться до души? Захватило хорошенькое личико. А душа? На кой мне черт душа твоя. Второпях завязываются знакомства. А потом рвутся. Техника подчинила человека своим темпам. И он думает: это современный стиль. Это я, я сам. Сегодня хочу одной, завтра другой (примерно так же убежден в свободе своей воли камень, брошенный из пращи).

А любовь — это вглядыванье, медленное вглядыванье. Даже если она поражает с первого взгляда. Все равно, после этого первого взгляда годами смотришь: что же тебя тогда поразило?

Любовь — бесконечное вглядыванье. бесконечное открытие души: идешь и идешь вглубь, и нет глубине конца. Совершенно так же, как в мистическом опыте. Мистики любили эротические метафоры...

Даже в страсти нельзя добраться до сердцевины, не почувствовав скрытую струну, одним и тем же трепетом откликающуюся на стихи, музыку, живопись — и прикосновение. Проходят месяцы, иногда даже годы, пока ее

заметишь. Дон Жуан не имел на это времени. Ему не приходило в голову, что из одной и той же скрипки — если она хорошо звучит — можно извлечь тысячи мелодий; каждый день нужен был новый инструмент. И жизнь его была полна дуэлей, похищений, погонь, — а любовь рождается в тишине...

Нарастание, обступанье тиши.
Нас с тобою только сосны слышат.
Прямо в небо, прямо в сердце вниди.
Нас с тобою только звезды видят,

Наклонившиеся к изголовью.
И остались мы втроем — с любовью.
Для того лишь и замолкли звуки,
Чтоб она могла раскинуть руки,

Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб она могла расправить тело.
Задрожали, растеклись границы,
Чтоб она сумела распрямиться,

Каждый миг опавший воскрешая,
Боже правый, до чего большая!
Боже святый, до чего огромна!
Кто сказал, что ей довольно комнат?

Кто задумал поместить под крышу
Ту, которая созвездий выше?
Кто осмелится назвать мгновенной
Ту, которая под стать вселенной?
(З. Миркина)

Любовь всегда — третья. Не ты и не я, а что-то сквозь нас. Дух, веющий, где хочет. "То, громадное", — как сказал о нем Рильке. Дух глубины, втягивающий в себя, и мы готовы утонуть, пропасть, — с каким-то блаженным ужасом. Друг через друга — в светопреставление. И на новое небо, на новую землю.

Опыт любви и опыт бесконечности — братья Не открывшись бесконечности, нельзя до конца отдаться любви. Я не о влюбленности говорю; я о на-всю-жизнь любви. Поэтому любовь пугает. Поэтому пугают людей Зинины стихи. Это было несколько раз, но больше всего запомнился один случай в Коктебеле. Попросили почитать, послушали... "Нет, — воскликнул Р. — Я еще не хочу умирать, я хочу жить!". На другой день он долго и взвол-

нованно объяснял свое потрясение, — не сказав, впрочем, ничего лучше первой, нечаянно вырвавшейся фразы.

Другие реагировали иначе, — менее остро. "У вас все в этом роде?" — спросил Б. "Все", — ответила Зина. Она не хотела ничего отбирать. Б. покачал головой. Первые пять стихотворений его захватили, потом стало трудно слушать. Он вел себя как человек, инстинктивно отодвинувшийся от края пропасти. Интеллигент привык заглядывать на глубину (он читает Достоевского, слушает Баха), привык любоваться глубиной, но не жить на глубине. К. простодушно признал это. "Каждое стихотворение прекрасно, — говорил он и вспоминал, — я есмь орган, но органист не я...", или про море:

...Какое счастье жить на берегу
Того, что сердце исчерпать не в силах...

Ему казалось, что читатель таких стихов еще вырастет. Но слушать их подряд — трудно. Не привык он к такому напряжению.

Были, впрочем, и такие слушатели, которые нашли прочитанное абстрактным, головным (т.е. не почувствовали ничего). В. попытался объяснить, что Зина живет в состоянии непрерывной молитвы и стихи — с этого уровня. Слова его упали в пустоту. Опыта молитвы или медитации ни у кого в яркой, талантливой коктебельской аудитории не было. Я вспомнил сейчас все и подумал: где в нашем мире может жить постоянное чувство?

2

Есть прекрасный старый рассказ о любви из сборника Танских новелл. Молодой разносчик полюбил звезду тогдашнего полусвета. Утром, прийдя со своим товаром, он застает ее в тяжелом похмелье. Ее вырвало прямо на постель. Разносчик рукавами своего халата (я почему-то запомнил эту деталь) собирает рвоту, бежит к ручью, приносит воду и умывает любимую. Очнувшись, она видит его глаза, полные сострадания. Рассказ кончается благополучно. Китайскую Настасью Филипповну никто не

зарезал, и она выходит замуж за китайского князя Мышкина. В жизни так и бывает; а восточный литературный вкус признает счастливый конец лучше несчастного.

Я испытал на опыте, что любимая смертна, и весь свет, сошедшийся в ее окошечке, сразу гаснет. Я знаю, что можно любить недостойную женщину, вроде Манон Леско. Или что любимый сопьется — и теряет человеческий облик (таких историй полно). Время и смерть крадутся за нами по пятам; но пока любовь есть — их нет. Пока любовь есть, нет ничего, кроме вечности. В высшие свои минуты любовь — это состояние дживанмукта, освобожденного при жизни, — по ту сторону трагизма. И вполне возможен гриновский конец: они были счастливы и умерли в один день.

Трагичным было положение Иры до нашей встречи, в тупике, куда ее привели страсти и зароки (запрещавшие разойтись с нелюбимым мужем, сидевшим в лагере, и выйти за любимого В.И.). Трагичным было ее чувство близкой смерти, ее обреченности — как раз тогда, когда пришло счастье. Она забывала это днем — и вспоминала по ночам, прижимаясь ко мне, и говорила, что чувствует смерть за плечами. Но эта тень смерти только углубляла любовь.

Трагичным было непонимание, с которым столкнулась Зина и которого вынести она не могла. Но моя любовь к ней была концом этого непонимания. Весь свет мог по-прежнему ее не понимать, но я-то понял. И из своих взлетов она теперь падала в мои глаза и в мои руки.

Что будет дальше — не знаю. Мы перешли порог старости, и через несколько лет придет смерть. Даже если люди ее не поторопят. Но пока что само ожидание конца дает своеобразное счастье, напряжение жизни под огнем, творческий расцвет. Если я полюбил и любовь эта принята, — трагедия на какой-то срок потеряла ключ от нашего дома. Она может царить во всем подлунном мире, и мы это много раз чувствовали; но сегодня — не ее праздник; сегодня — воскресение.

Трагично знать, что любимого ждет страдание, которого

он не вынесет, и ты только из посмертия, в снах, сможешь прийти к нему. Но пока любовь жива — злого будущего нет. Пока цел космос любви и чувство не восстает на чувство — нет трагических конфликтов.

В чем же трагедия вселюбия у Цветаевой? В "захвате", как выражалась Марина Ивановна? В роковой неспособности понять иерархию чувств и создать из хаоса космос?

3

Как-то я провожал до автобуса знакомую. Речь зашла об одном поступке, который неприятно поразил нас с Зиной. Собеседница не согласилась со мной и сказала: а как же то, что Вы писали об Ире Муравьевой? А как же Марина Цветаева?

На это трудно было сразу ответить. Подошел автобус, и я остался с проблемой искусства при свете совести. Про Иру написал. Написал так, чтобы виден был неразменный золотой, который она меняла на серебро и даже на медь, а золотой каким-то чудом возвращался. Хотя писал правду, т.е. не скрывал случаев, когда оставались одни медяки. Ира из этих состояний выходила, восстанавливала себя, собиралась. И мне казалось — это пример для собирания души, а не для растраты. Мне казалось, что растраты я объяснил, вывел из судьбы, из времени, загнавшего женщину в угол, из отчаяния живой души, стоящей против всесильной машины. Мне неприятно было, что Ира (и Марина Цветаева) оказались в какой-то, пусть отдаленной связи с "женского лона блажью". Та женщина, с которой начался разговор, и Марина Цветаева или Ира — все они были естественны. Но это совершенно разные естественности. Как естественность кошки и человека.

Все трое не признавали внешних препятствий в своих порывах. Т.е. приняли участие в сексуальной революции. Но очень по-разному. Сильные характеры, оказавшись безо всяких норм (смятых и смытых временем), сами себе полагали зароки. Они не все себе позволяли. И обе во

многом (очень во многом!) плыли против течения. В том числе и в интимной жизни. Это не щепки, несущиеся по воле времени и страстей. У обеих я учился тому, что в них прекрасного и великого. Вопреки ошибкам и грехам. Обе не требуют и не вызывают снисхождения. Мне не хочется смешивать нравственную силу, создающую заново неповторимую личную мораль, — с ней можно соглашаться или не соглашаться, но это мораль — и элементарную беспорядочность.

Я у Иры очень многому научился. Ее душа вошла в мою, и след от этого дает мне что-то от чувства Григория Сковороды: "Спасибо тебе, Господи, что Ты сделал все нужное нетрудным, а трудное — ненужным". Ира не надрывалась, как герои Бернаноса, в попытках стать святой, и ее лад с природой и людьми был каким-то моцартовским, естественно-легким и полным глубокого света. Мне до сих пор не удается многое, что для нее было просто, как дышать. Например, очистить сны. А ей их и очищать не надо было. Какое-то антифрейдистское подсознание. Умом снимала все запреты: "Лучшее средство избавиться от искушения — поддаться ему". А во сне — одна волшебная сказка за другой. Бескорыстный поток творчества, создающий вторую, лучшую действительность. И потом — это внутреннее чувство такта в любви. Никаких слов о близости. Только "так" (и легонько брала за запястье); или (в разговоре о прошлом): "нам было хорошо". Поэтическое чувство жизни совершенно заменяло ей религиозное благоговение (в безрелигиозном мире только поэзия сохраняет благоговение перед любовью, подвигом, жертвой).

Все непоэтическое скатывалось с Иры, как с гуся вода. Я долго не мог понять, как она ухитрилась не знать мата, и едва нашел что-то подобное в собственном опыте: пассивного знания языка без умения говорить. Думаю, что она понимала смысл грубых слов, когда они произносились. Но знала — примерно как я знаю некоторое количество французских слов и узнаю их при чтении, а говорить не умею. Так Ира пассивно знала всю грубую,

пошлую сторону жизни и могла прочесть текст, но душа ее в нем не участвовала. Она не задерживалась умом ни на чем грязном, и грязь ее не пачкала. Хватало силы сделать бывшее как бы не бывшим. И из огня выйти, как саламандра — без ожогов. Только в глазах — след преодоленной боли... И уверенность души в своем внутреннем законе, несмотря на всю очевидность ошибок. Благородно естественная, она доверяла естественным порывам своего чувства. Сколько бы раз они ее ни обманывали.

Я любил ее вместе со всеми ее правилами, но жил иначе. Когда первая радость любви была потеряна, когда мне порой казалось, что ничего не вышло, что счастье не состоялось, Ира со вздохом отвечала на мой вопрос — почему мы больше не читаем вместе стихов: "Да, так всегда". И как всегда, дело должно было кончиться разрывом: "одну и ту же спичку два раза не зажигают". Но в нашей любви был и мой характер. Так же, как в самом начале, когда я не мог согласиться ни на ложь (если мы будем тайно встречаться), ни на то, чтобы порвать с ней (во имя дружбы) и оставить — почти умирающей и загнанной в угол. Ира ожидала либо того, либо другого; я выбрал третье... И тогда в одном порыве она протянула мне письмо от подруги — чтобы я все читал первым, чтобы не было у нас никаких секретов. Чтобы сбылась сказка.

Ира много раз говорила мне: если бы я не искала, если бы я покорилась (и была бы безрадостной женой в безрадостном браке) — мы бы не встретились. Это правда. Но если бы я был такой, как она, мы бы встретились — и разошлись. Она жила в карнавале влюбленностей и разрывов. Я искал любви, как можно искать истинного вероисповедания. Я медленно сходился с женщинами и так же трудно мне было порвать. Схожусь каждый раз на всю жизнь; с Миррою не получилось, но я три года пытался сжиться, довести полулюбовь до любви. И от опыта полулюбви осталась зарубка: нельзя сразу соглашаться с неудачей, надо бороться. Когда люди хотят оставаться вместе, то все, что разделяет — только повод

лучше всмотреться друг в друга и дойти до глубины, на которой мы опять вместе. Само правило отлилось в слова недавно, но оно складывалось во мне всю жизнь, и во время ссор с Ирой я почти всегда (кроме одного случая) спохватывался и говорил; оставим это, отодвинем в сторону. Главное то, что мы любим друг друга...

И в конце концов это главное опять нашлось. Когда я уже почти не ждал, что сбудется. Что здесь было от самой Иры и что — от моей в е р ы в нее?

Кто меня научил, что в любви не надо добиваться наслаждения? Что наслаждение так же попутно, второстепенно, как вкус причастия (хорошо выпечена просфора или нет); что близость — только знак любви, язык, на котором можно рассказать свою любовь и перелить из души в душу... Я этого не знал раньше. Ира тоже — и была захвачена открытием до того, что не жалела о своей болезни (не будь болезни — я не навещал бы ее каждый день и не узнал бы; а узнав — не решился бы любить жену друга).

Кто нас обоих научил благоговейному отношению к ночи? Мы не сговаривались — но погасив свет, оба гасили все, что нас волновало вечером и снова захватит утром; и ночь становилась сказочным царством со своими сказочными законами... Научила любовь. Научил третий, склонившийся к изголовью. Мы двое стали проводниками для этого Третьего, и через нас шел его ток.

С этих пор Ира строго выговаривала мне, когда я вел себя хуже, чем сказочный принц. Наверное, в чем-то она была права. Но я боялся слишком буквальной веры в сказку и настаивал, что не надо выдумывать друг друга, иначе непременно разочаруешься. Достаточно того, что есть. И это тоже было правдой, и Ира нехотя с ней согласилась. Хотя сказка жила в ее душе, и без этой сказки (запертой на замок от большинства знакомых) ее так же невозможно понять, как без иронических сентенций из французских романов.

4

Язык чувства сбивчив и смешивает разные вещи. Прошло лет сорок, прежде чем я научился отличать удовольствие, наслаждение — от глубинной радости, и еще десяток лет, пока я понял, что наслаждение — это радость твари, оторванной от Творца; что культ наслаждения логически ведет к самоубийству (если жизнь не доставляет наслаждения, — зачем ее длить?). Что Бог требует от нас угадывать Его волю, Его задачу — и решать ее, не боясь страдания, принимая на себя муки ближнего и через страдание, через скорбь прийти к радости, веселью, ликованию духа. Что именно это — замысел мира и человека, и разгадка теодицеи — в наших руках...

Такая же путаница царит в понимании слова "любовь". Татьяна любит Онегина, Ольга любит Ленского; но они совершенно по-разному влюблены. Татьяна тоскует по узнаванию:

Вообрази, я здесь одна.
Никто меня не понимает.
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна...

По ком эта тоска? По супругу? Или по учителю, который увидит ее душу и выведет ее из царства суеты? Образ Онегина в письме — скорее небесный, чем земной жених. И это не сублимация эротики. Фрейд со своими понятиями, ставшими чем-то вроде прописных истин, не собьет меня с толку. Тоска по небу ничуть не менее реальна, чем желание близости. Больше того: небо реальнее земли. Но почувствовать небо можно по-разному. Не только по-монашески, иссушив свою плоть, но и через эту самую плоть, покорную любви. Плоть, получившая неограниченную свободу, мешает росту души. Наш внутренний мир основан на строгой иерархии. Свобода для духа немыслима без сдержанности. Когда поздняя античность утопала в наслаждениях, дух взбунтовался и повернул к аскезе. Это было своего рода революцией, захватывающей, как и всякая революция. Я понимаю пустынников. Но в моем опыте граница прошла не между чувственностью и аскезой, а между любовью и нелюбовью, какой бы язык любовь ни избрала, чувственный или нет. Я убежден, что душе Татьяны все равно, как войти в огонь, в пламя без дыма (первый образ — Цветаевой, второй — из Упанишад). Может быть — через трепет страсти. А может — через одинокое страданье.

Любовь принимает такую форму, которую подсказывает жизнь. Душа знает одно: она любит. Лишь бы шло узнаванье. Лишь бы не оскорбить любовь неблагоговейным словом или жестом. Лишь бы навсегда сохранить то, что влюбленность так быстро теряет. Мы часто смешиваем влюбленность с любовью; но это разные вещи. Влюбленность во многих случаях вовсе не узнаванье. Скорее слепота. Влюбленность почти никогда не может жить без иллюзий. Только очень редко воображение и страсть наталкиваются на правду. Боги смеются над клятвами влюбленных.

А любовь зряча. Любовь видит человека таким, каким его задумал Бог — а человек еще не сумел стать.

Влюбленный захвачен образом, живущим в его собственной груди, и в этот огонь надо и з д а л и подбрасывать дрова, тесный контакт, сплошь и рядом, сминает воздушный шар. Или — если сохранить первую метафору, — пламя гаснет под грудой сырых поленьев. А любовь от близости только растет.

Когда Цветаева говорит и пишет о любви, это, по большей части: влюбленность — и упоение поэтической темой. Здесь поэт — царь. Он живет один, и никто ему не перечит. Сны становятся стихами. Письма строят памятник любви. А живое чувство... С ним — трудно. Это ведь не так просто — сохранить любовь. Любовь мужчины и женщины знает свою богооставленность. Стиснув зубы идешь избранным путем, веря в любовь и надеясь на ее возрождение. Вера, надежда и любовь — сестры. С верой находишь любовь заново. Даже если она сгорела в страсти, потонула в болоте немыслимого быта.

Пастернак писал Цветаевой, что не мог бы всю жизнь прожить, как Адам, с одной Евой. Марина Ивановна с

возмущением ответила, что Психею разлюбить нельзя. В этом споре я на стороне Цветаевой, — но, пожалуй, больше, чем она сама.

Нельзя разлюбить — значит, нельзя исчерпать. А сама Психея? Умеет она — не исчерпывать?

Какое счастье жить на берегу
Того, что сердце исчерпать не в силах!
(З. Миркина)

Евой можно насладиться, как бутылкой хорошего вина. Так и говорят девушкам: "выпьем бокал шампанского!". Но Психеей нельзя насладиться. В Психее есть что-то от второй строфы гумилевского "Шестого чувства": источник бесконечной радости (как в розовой заре над холодеющими небесами; как в бессмертных стихах). Психея собрала всю зарю в своих глазах. Тот, кто заметил Психею, не может ей изменить, не может от нее оторваться. Измена была бы чем-то вроде религиозного ренегатства, отказом от веры во имя мирской выгоды.

Пастернак с этим не согласился бы. Лет через двадцать после обмена письмами — видимо, вспоминая их — он написал апологию Евы (и своих увлечений Евами, красоту которых, очевидную, как сосны Шишкина, нет необходимости угадывать, извлекать из полутьмы):

...Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О, женщина, твой вид и взгляд
Ничуть в тупик меня не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто бы шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятья,

Сама — смятенье и испуг,
И сердца мужеского сжатье.

Не знаю, что сказала бы в ответ Марина Ивановна; возможно — "залилась презреньем, как соловей песней". А я просто скажу: на пляже сердце у меня не сжимается. Обнаженность — призыв к радости. Волна легкого возбуждения. И все. Перехват горла, сжатие сердца, — от печати страдания:

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему...

Я думаю, что про Ев ранний Пастернак сказал лучше позднего:

И общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, паюсной...

Лирик верен минуте. То он живет на поверхности, то в глубине. Я предпочитаю стихи, родившиеся поглубже.

5

Мне хочется написать о Цветаевой как о человеке, о женщине; но эта женщина родилась поэтом. Невозможно представить себе ее без какой-то небывалой чувствительности к слову; без экстатического переживания слова, сравнительно с которым все прочее земное казалось ничтожным, слабым, пошлым. Даже море — сравнительно с пушкинским стихотворением "К морю". Даже любовь, сравнительно со стихами Данте о Беатриче. Внутреннее ожидание чуда вспыхивало от поэтического слова и вызывало такие бури, такие пожары, создавало такие никому неведомые душевные царства, что выходить из этих царств наружу не хотелось. Мир Цветаевой замкнут до солипсизма (только я существую), до убеждения, что другой (живой) в любви мешает.

Другим (существование которого — недопустимый скандал) был для Цветаевой весь XX век. Сивилла, лунатик, шаманка, готовая взять бубен и плясать вокруг костра, не находила в окружающем мире своего, "равно-

сущного — и не хотела вступать с чужим, с другим ни в какие соглашения. Не замечая, проходила мимо. Глядела своими близорукими глазами внутрь, в царство снов.

В "Земных приметах" Марина Ивановна пишет:

"Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда — припасть! Всегда пропасть! (В пропасть).

"Живой" никогда не даст себя так любить, как "мертвый". Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: "Я сам! Я сам!". И непременно — ногой в рукав, рукой — в сапог.

Так и с любовью.

"Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне". Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его — с внешней опровержимостью его. Когда уже ничего не мое — все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого...

Выдавайте своих красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся — вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания — ваш первый шаг к победе, день их погребения — ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте)."

Я долго не мог понять слов Марины Ивановны: во мне нет ничего от Евы. Только Психея. Мне казалось, это, резко противоречило ее жизни, ее страстям. Я думал, "психейность" скорее внутренняя установка, самосознание, идеал, а не реальность. И вдруг, после одного жизненного впечатления, слова Цветаевой внезапно наполнились простым и ясным смыслом.

Давным-давно (полвека тому назад) я делил впечатления от девушек на два класса: "хочется съесть ее, как булочку" и "хочется выпрыгнуть ради нее в окно". В

Марине Ивановне не было ничего от булочки. От хорошенькой. Худая, колючая, с поджатыми губами ("телам со мной скучно"). Думаю, даже в юности, — тогда она выглядела иначе, — что-то в ней прямо запрещало мужской аппетит, отталкивало его. Потом, старея, как-то пожалела (в письме Тесковой): молодые люди на улице смотрят на нее, как на пустое место. Но молодой, встречая оценивающий взгляд, наверняка не вступала в игру глазами, а отталкивала. Никакого полового призыва. Только призыв души. Никакого желания насладиться. Скорее — желание смерти. Натолкнуться на взгляд, как на нож, медленно входящий в сердце, и не опускать глаза. Не любовь Адама и Евы (в Гаврилиаде), а гимн чуме. Действительно, не Ева жаждет поцелуев, а Психея. И все-таки жаждет поцелуев. Ей не любовник нужен. Скорее — тантристский обряд, в котором адепты, соединяясь, переживают это как прорыв сквозь пространство и время (им на всякий случай дают еще выпить корешок — на случай, если иначе до экстаза не дотянет). Все это — безо всякого личного отношения друг к другу вне условной обрядовой роли (как и цветаевской любви не нужен другой вне предписанной ею роли).

Другой, в ее земном опыте, попадал "ногой в рукав, рукой в сапог". "По полной чести, — пишет Цветаева Бахраху, — самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что руки опускаются, не узнаешь: Вы ли? Вплотную-любви в пять секунд узнаешь человека, он явен и — слишком явен! Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которую я чтила, вдруг исчезла в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра. Я не хочу такого самозабвения, вместе с собой забывающего и меня. Была моложе — ранило, старше стала — ограничилась высокомерным, снисходительным (всегда страстным) любопытством.

Я стала добра, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь, наблюдала другую душу — или ее отсутствие. Я стала записывать: повадки, жесты, словечки, — когда в тетрадку (когда поглубже). Я убедилась, что именно в любви другому никогда нет до меня дела, ему дело до себя, он так упоительно забывает меня,

что, очнувшись, почти что не узнает. А моя роль? Роль отсутствующего в присутствии?..

Но в глубокие часы души... все мои опыты, все мои старые змеиные кожи — падают. Любя шум дерева, беспомощные или свободные мановения его, я не могу не любить его ствола и листвы: ибо листвой шумит, стволом растет! Все эти деления на тела и души — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие..."

В глубокие часы знаешь, что может быть музыка осязания, которая от души ничего не отымает; больше того: которая душе все дает. И если близкая любовь прячется во тьму, то не из-за того, что стыдно (как считал Толстой). Нет, просто осязание хочет слепоты всех других чувств (как и на концерте иногда закрываешь глаза), хочет пальцев слепого. Но если такая музыка сама по себе чудо, то тройное чудо — возможность артистизма без гамм, без спевки, без "притирания", как выразился Тенесси Уильямс. Ожидать от любовника всего с первого свидания — значит предполагать у него руки Кришны или Шивы.

Когда страстная натура слишком торопится к "вплотную-любви", обещание экстаза обманывает. Открытость бездне становится наслаждением полета в бездну (за которым — почти всегда — оскомина). Исчезает мысль о любимом, о е г о счастье, и нет любви-строительницы, неторопливой, как рост готического собора. Нет р а з н ы х задач любви, обращенных к разным людям. Нет иерархии задач, никакой иерархии, все порывы — на одном уровне.

Я не знаю, что это — предопределение, рок или склад личности, — но в опыте Цветаевой не было сверхчувства и сверхзадачи, естественно, без насилия, покоряющей себе все и — ничего не запрещая, все понимая — указывающей любому порыву его место в космосе любви.

Впрочем, я не совсем прав. Сверхчувство у Цветаевой было: в творчестве. За письменным столом приходило великое чувство меры (в "Крысолове" — ни одной лишней строчки). Приходила огромная строительная сила. И сама душа, с пером в руках, становилась стройной и цельной.

Жить так, как пишу, образцово и сжато,
Как Бог повелел и друзья не велят...

Но едва прекращалось "дуновение вдохновения" — что-то в Цветаевой рушилось. С людьми — один разор (были исключения, но редко). Может быть, старость, когда глуше делаются внешние чувства и обостряется целостная сила духа, позволила бы утвердиться в точке покоя. Но старости у Цветаевой не было. И любовь не стала крепостью, в которую возвращаешься после очередной попытки "бодаться к дубом", после встречи с внешним и внутренним хаосом. Многие альпинисты срываются, не добравшись до вершины. Но вершина есть, точка покоя, не найденная Цветаевой, не замеченная Пастернаком — есть. И опираясь на эту точку, можно перевернуть мир. Больше того: можно восстановить мир, разрушивший, разваливший сам себя.

Д.А. ПРИГОВ

ВЕЛИКИЕ

Столыпин выходит за ним из вагона
Коня молодого выводят
Конь страшную песню заводит
Про тайны степного загона
Про длинные дали, про темень и мед
Про ужас живого китайца
И ситец... — Столыпин за сердце хватается
И падает под ноги мертв
Самому себе

* * *

Как Ленин приходил к рабочим
До революцьи
То было тихо и светло
В квартире
И кошка странное пророча
Уже висела над столом
Прозрачная

Как бы в Москве увековечась
Ильич к ней обращался: Нечисть!
Я знаю, о чем ты

* * *

Она босая выходила
И в грудь иглу себе вонзала
И грудь саму себе лизала
И наши следом приходили
И царску власть как злую мрию
Порушили! зовут: Мария
Стюарт! —
Но нет ответа им

* * *

Берет он в руку камень склизкий
Бросает в пруд, а из пруда
Выходит страшный волк Уда
И говорит ему: Ассизский
Франциск!
Я узнал тебя! —
А как ты узнал меня? —
А как берешь камень склизкий! —
И что? —
А затем бросаешь в пруд! —
И что? —

Из пруда выхожу я страшный, не по своей, заметь, воле, но чтобы только признать тебя в лицо: Франциск Ассизский! —

Ладно, ладно! иди! ты утомил меня!

* * *

Живая шла я как лоза
Еще кровоточила срезом
Он голову взял в руки: Цезарь!

И глянул в мертвые глаза
И как-то сразу вдруг устал
И лег поспешно и не встал
Больше —
Какой Цезарь?

* * *

Церковь полная людей
Она во гробе не шутя —
Спи, мой Моцарт! спи, дитя!
Где-то здесь и твой злодей
Вот закроют крышку гроба
Разойдутся по домам
А он останется и в оба
Словно страшный адамант
В руках памяти очей своих обжигаясь все будет
держать тебя

* * *

Это было, но было ночью
Вот он скачет во весь опор
По-вдоль фронта и вдруг воочью
Видит темно-зеленый бор

И не видит вокруг ни немца
Только птица одна Олай
Вылетает из-за поленца
Говорит ему: Николай
Погибнешь! —
Знаю! —
С женой погибнешь! —
Знаю! —
С дочерьми! —
Знаю, знаю, Олай-птица! —
Вместе и с сыном! —
Знаю, знаю, немец проклятый! —
Навсегда погибнешь! —

Знаю, знаю, бор зеленый! —
И это было, но было ночью
Вот он скачет во весь опор
Покидая зеленый бор
Только темный его очи
Светятся

* * *

С утра посыпал снег немножко
Сафо легко обула ножку
И выскочила на пригорок
Был горький дым, и он был горек
Дым как бы отечества
Всегдашний

* * *

Навстречу движутся когорты
А Гитлер — что тебе комдив
Стой! — вот к нему слетает див
Садится подоле аорты
И мнет ее и рвет проклятый
Но это только в сорок пятом
Что ему удалось

* * *

Тухачевский гуляет в саду
А и что-то чужое слетает
Как безумная какаду
Тухачевский ей в сердце стреляет
А и думает: Не попаду!
А и точно — а и не попал
Притворился и мертвым упал
Сам
А и не притворился

Поезд мчится пролетая
Неким третьим полотном
Вот крестьянка молодая
Промелькнула за окном

Промелькнула с нежным криком
Вот крестьянка и опять
А может это кто великий —
Да отсюда не понять
Не понять, не понять, не понять
Не понять
Ой, не понять

* * *

Зима пододвинулась, что и сама
Уж моет посуду на кухне
Родимые! как не сойти тут с ума
Приняв ее скажем за Кюхлю
Или Пущина
Дом опального поэта вот таким вот образом
Посещающих

* * *

Вот они — из чудес совершающихся
Совершившиеся наконец
Вижу Сталин куницею кающейся
И куницею же на коне
В жилу сонную ему впивается
Вижу Ленин и несется-просыпается
Тоже кающийся
Правда, одним глазом

Михаил АЙЗЕНБЕРГ

ВСЕ НАШЕ ДЕЛО, ВРЕМЯ, —ХРУПКО

Что-то слабеет зрение. Виден забор с крапивой.
Явное примирение с формулой незлобивой.
Тайное поражение или укол телесный.
Слабое утешение с выдохом укоризны.
Доводы интересны.
Выводы ненавистны.

Или всего опасней маяться и мириться?
Праздник на то и праздник, что не умеет длиться.
Всё под заклад таланта,
весело и халатно.
Время прошло, и ладно.

Вы уважали силу. Сила ушла в песок.
Вырос за эту зиму город — тайги кусок.
Город, живому враг, вырос и не уходит.
Видно, нельзя никак, ни при какой погоде

спрятаться за стеной, холодом переслоенной.
Думал, дом ледяной.
Нет, — он соломенный.

1990

* * *

В глубоком солнечном застое
природе сказано: постой!
На небе облако простое
остановилось на постой.
Остановилось, ну и ладно.
Пустое небо теплохладно.
Стоит природа, не дыша,
и поменяла незаметно
изменчивую позу ветра
как бы на позу камыша.

* * *

Поле, и в поле ветер
вольный эфир — свидетель
Поле дрожит басами
Небо кишит скворцами
Ветер прямой, короткий
Вот и на сердце сухо
В поле гремят трещотки
Зелень нежнее пуха
В небе скрипит калитка
В поле стоит палатка
Небо меня голубит
Солнце меня не любит
Холодно мне и сладко

* * *

Даже сбросил ненужное одеяло.
Усыпал, такая жара стояла,
а проснулся: небо заволокло,
тополя гудят, как восставшая пасека,
занавеска бросается из окна,

спала жара,
окончилась перестройка.
Сколько же я проспал?
Может быть, пять минут.
Может быть, десять лет.
Может, со мной природа, вся жизнь уснула?
Может бьпь, это вечность меня лизнула?

* * *

Он идет не с той ноги,
мальчик-головастик.
Истоптались каблуки.
Оторвался хлястик.
Он уже совсем ку-ку,
он себя не помнит.
Помогите дураку
на волне качаться.
Оглянитесь только раз,
родственники-люди.
Что, от каждого из вас
много ли убудет? —
Прогуляемся вдвоем,
Таня-пионерка!
Только в городе моем
вечная примерка.
Из-за каждого угла
глянет Балашиха:
ну-ка, делай, что дала!
ну-ка, рассмеши-ка!
Оступается нога,
как в каменоломне.
Ох, дорога далека.
Ох и тяжело мне!
Что увижу, подниму.
Что пройду, неважно.
Неужели никому
за меня не страшно?

1987

* * *

День незаметно вошел в закат.
Уже сливается крупный шрифт.
Поток людей не плотней афиш.
Одно движенье, не видно лиц,
и слов не слышно, одни шаги.
И здесь, в сиянии золотом,
еще виднее, что город пуст,
Москва безлюдна и велика,
почти беззвучна. Смотри, кругом
свои огромные Лужники.
На небе розовом облака.
И все теряется в облаках:
с большим коричневым рюкзаком
дурак на роликовых коньках
и я, оставшийся в дураках.

1988

* * *

Гости съехались на праздник.
Что случилось? чем помочь?
Кто сегодняшний лабазник?
На кого находит ночь?

Для кого сегодня случай
подбирает псевдоним,
пьяной бешеной падучей
пробирается за ним?

Вот сейчас перед тобою,
подгадав удачный день,
изготовленная к бою
встанет собственная тень.

Лает зверь на человека.
Человека рает зверь.
Эхо каменного века
отзовется ли теперь?

День проходит. Но трезвея,
ты пугаешься не зря,
видя гибнущего зверя —
твоего поводыря.

1980

* * *

День даже путаней, чем сон,
чужим присутствием наслежен,
и можно, не тягаясь с лешим,
пустить дорогу колесом.

Так муха бродит по стеклу,
наш неразборчивый посредник, —
всегда к накрытому столу,
где нет ни первых, ни последних.

И стол хорош, и сам неплох,
но до сих пор глазам не верит
и ждет, что правда не кривеет,
что есть простор, а не подвох.

* * *

Все наше дело — время — хрупко
и осыпается в речах.
Его, как мел, сухая губка
стирает память, одичав,

И скашивает черепа,
опасно искажает лица.
Пять человек — уже толпа,
уже не смеют разделиться

Давай коситься на свое
и перекраивать соседей,
принявшись по второй, по третьей,
за отворотное питье.

Валерий ВЫСОТСКИЙ

СУДЬБА РОССИИ

(Николаю Бердяеву: "Судьба России", 1918)

"Вопрос в том, чтобы Россия окончательно отказалась от своей пугающей и отталкивающей идеи, что "славянские ручьи сольются в Русском море... У нас оказалось много нравственных дефектов, которые уж слишком бросаются в глаза и болезненно поражают... Много русской неправды с горечью видим мы..."

Н. Бердяев

Судьба Россия — страшная судьба:
Кровавый омут неизбывной свары:
Война Священная — и подлая война,
И Славы стон полей бессчетных славы;

Судьба России — дыба и топор.
И — убегающий от Всадника Евгений.
В исканье Правды — правде приговор,
В победе каждой — привкус пораженья!

Судьба России — мистика святынь:
Сказание — реальнее, чем дело;
И вожделенна выдуманная жизнь,
И смерть красна, и жертвенность — суть смелость!

Судьба России — странная судьба:
Этап безмерный взлетов и падений.
Холопства, бунтов, "права кулака"...
В навозе рабства — вдруг блистает Гений!

Судьба России — осознание себя
Среди бескрайности, зовущейся Россией.
И — вера в Бога, как в п о в о д ы р я ,
И — в избранность славянского мессии...

Судьба России — новый Вавилон
С Москвою — Третьим (нерушимым!) Римом...
Но храмов прах, попрание икон
Воссоздают разор Эршелаима...

Судьба России — миру ли пример?
Монбланы черепов не мнил и Верещагин.
Народ-гребец невольничьих галер —
Всесилен Вождь — мудрец всегда бесправен!

Судьба России — страшная судьба:
Живуча знамени октябрьского алость,
Весь шар земной — претензия герба,
И жизнь — борьба, безжалостность и — ярость!

Страны история — и слава, и позор,
Менталитет народа, поколений;
И свет из прошлого — он как в ночи костер
Вокруг причудливо сплетает свет и тени...

Пусть Бог пошлет суму, тюрьму, войну,
Любовь, дорогу, силу и бессилье:

Блаженны погруженные во тьму,
Вдвойне блаженны погруженные в Россию...

02-12.07.93

ИСТИНА

У Истины — ни маски, ни лица...
Непознаваемое. Нечто. Недоступность.
Как беспредельность шара и кольца,
Как беспредельны мудрость или глупость...

У Истины — суровое лицо,
И поиск — испытание на прочность.
Владенье Истиной — есть кривда подлецов,
Сомнение — есть мысли беспорочность.

У Истины — ужасное лицо
Завоевателя, насильника, убийцы...
И старит Истина пророков-мудрецов,
И лишь легенда — мудрость олимпийцев.

У Истины "адамово" лицо:
На одре Смерти все равны: пред Нею
Нет привилегий святости, злодею —
Удар Её нещаден и свинцов.

У Истины — прекрасное лицо
Жены, подруги, матери, младенца.
Рожденье-смерть — сведение концов
Цепи единой общего бессмертья.

У Истины — ни маски, ни лица...
Так "ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?" — пилаты вопрошают.
Ответ — молчанье обреченного Христа,
Сократовское "знаю, что не знаю"...

22.02.88

ДВЕРЬ

Не вспоминай о прошлом, не тужи
О недостигнутом, несбывшихся мечтаньях.
Не перейди межи незримой лжи,
Делящей свет и тень воспоминаний:

Не там ли неизбежности утрат
Обманут миражом очарований?
И крошево из полустертых дат
Засорит неразборчивую память? —

Чтоб вечно строить "Спасы-на-крови"
И возрождать порушенные храмы!
Насиловать бессилие Любви,
Плодя бездарных циников и хамов! —

Кто понуждает алчущих страдать
И погружаться медленно в трясину.
Кто — в роли судии и палача —
Опустит острый фатум гильотины!

Трагедия — не жизнь, не трудности пути,
Но забреди тенетов лабиринта,
В которых — одиночество "ПРОСТИ..."
И — пепла алебастровая пинта,

В которых кисти тонкие невест
Лишь уласкают пошлыми цветами
И новый холм, и камень или крест
Под столь же пошлыми, слепыми небесам

Есть мифология начала и конца,
Где праведность восстанет над пороком.
Но прежде — кровь тернового венца,
Заиливанье чистого истока...

Освободись: реально лишь ТЕПЕРЬ —
На стапелях спасаемого Ноя:

Ведь перед каждым — выбранная дверь,
А не обманы зонтика Лукойе...

17-24.05.94

ШЕХЕРЕЗАДА

Исходит день. И вновь под балдахином
Садится Солнце в красной простыне,
И ночь склонилась пред восточным господином
И шепчет сказки в теплой тишине.

Она, в неслышных отражая водах
Всю роскошь звезд и месяца кипень,
В сиянье бледном ложа небосвода
К утру рожает следующий День...

28.09.88

* * *

Не задавайте нерешаемых вопросов.
Не унывайте: не впадайте в грех.
Судьба и жизнь дымятся папиросой
В руках одних — или в руках у всех...

Песчинки мы. И дюны столь подвижны...
Их остановит разве саксаул.
И гонит нас по воле ветра-жизни.
Хотим ли мы, чтоб он бездарно дул?

Движение — то вверх, а то — с откоса,
И тем упорнее, чем более помех.
Вдали — мираж извечного вопроса...
Не унывайте — это смертный грех!

11.04.94

К вашим услугам любая информация о России.

Информационный центр при Научной библиотеке Московского университета имени М.В. Ломоносова предлагает самый широкий спектр информационно-библиографических, справочных услуг по E:mail.

Мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с Россией. От простейших — адреса, телефоны, имена руководителей организаций, фирм, ученых, политических деятелей. До сложных — исторические, экономические справки, библиографические списки книг, статей по любой теме. На каждый вопрос вы получите содержательный ответ.

Если необходимо, мы также готовы направить Вам копии практически любых материалов когда-либо издававшихся на русском языке. Scanned image in the TIFF or PCX format по E:mail или бумажную копию по почте.

Запросы принимаются по адресу: **inf@lib.msu.su**. Язык английский или русский по Вашему желанию. Ответ будет послан на том же языке. Через 24—48 часов (в зависимости от сложности запроса) мы по E:mail подтверждаем принятие заказа, сообщаем примерные сроки исполнения и высылаем счет на оплату в банке США. Стоимость зависит от объема работы, количества запрашиваемой библиографической информации, минимальная цена справки 25 USD.

Лев АННИНСКИЙ

МЫСЛИ МАРГИНАЛА

Или куда духу деться?

Что такое маргинал, никто толком объяснить не может. В четырехтомном русском словаре, вышедшем десяток лет назад, этого слова вообще нет. Есть — "маргиналии": что-то вроде заметок на полях или оглавления сбоку страницы. Нынешнему маргиналу книжные поля и не снятся. В книжный мир нынешний маргинал проникает через словари самоновейших терминов, нуждающихся в срочном объяснении, и обозначается этим словом что-то между люмпеном и апатридом. По-русски же говоря (по-русски — это значит с агрессивным возбуждением, близким к неуправляемости) — то ли охломон, то ли оглоед, а скорее всего — вор, причем не в нынешнем смысле (кто из начальства сколько украл), а в смысле старинном: человек без роду-племени, без чести-совести, прямо сказать, преступник.

Но при неустойчивости слова — что-то ведь стоит за ним сегодня в реальности. Что-то набежало, накопилось

за эти пограничные, неустойчивые, перестроечные годы. Что-то копится. Что-то будет?

В общем, маргинал сегодня — это человек, сидящий на двенадцати стульях под крик двенадцати глоток вокруг.

Все кричат о границах, о нации, доме, почве, органике. За этим криком скрыта паника: границы ничего не держат, нации перетекают и смешиваются, грядет новое великое переселение народов, грозит новое перераспределение сфер обитания. Оно сдвинет дома, перепашет почву, создаст какую-то новую органику, уничтожит старую. В конец света я, пожалуй, не верю (не хочу верить), а вот о том, куда нас всех несет в этом переселении-перестроении, думать приходится. И о том, что все мы теперь — люди, находящиеся "между". Между нациями, между цивилизациями, между "пунктами приписки". Приписан каждый вроде бы к определенному пункту да еще — к дюжине "неопределенных".

Это черта реальности на всех ее уровнях по вертикали. То есть это не только бытие бомжа, ночующего по очереди на двенадцати вокзалах, но и бытие интеллектуала, молящегося двенадцати богам. Или псевдобогам.

Попробуем наощупь.

Историк и публицист Дмитрий Фурман провел при поддержке социологов опрос граждан в восьми городах России. Цель опроса: уяснение "мировоззренческих ориентации". Среди двух тысяч опрошенных оказалось сорок евреев. По ходу дела им, как и всем, было предложено высказаться об отношении к русской культуре. Ответы Фурманова поразили.

Свои впечатления Дмитрий Ефимович изложил в статье "Массовое сознание российских евреев и антисемитизм"; статья напечатана в 9 номере журнала "Свободная мысль" и тотчас стала предметом обсуждения в элитарном московском клубе "Свободное слово". Там действительно есть что обсудить: от той фантастической ситуации, когда государственный антисемитизм у нас исчез (и о евреях говорить "стало можно"), однако интеллигентский страх прослыть антисемитом никуда не делся (и о евреях го-

ворить все-таки "нельзя"), до той фантастической же ситуации, когда по СОДЕРЖАНИЮ культуры у русских евреев нет ничегошеньки еврейского, а по "имени", по знаковой привязке эта культура все-таки — еврейская. Что в ней еврейского, не определил бы и сам Саваоф: ни языка, ни религии, ни традиций — один звук, дуновение слова, тень тени давно исчезнувшей реальности. И однако заставляет же что-то этих людей называть себя евреями! В России их полмиллиона: еврейский язык признает в качестве родного — каждый десятый: в действительности же владеет языком (ивритом либо идишем) — лишь каждый двадцать седьмой! Что же они имеют в виду? Что обозначается как еврейство? Что означает это упорное стояние на "отмененном" месте? В ситуации антисемитизма — понятно, что. А без оного? Все равно стоят! Почему?

И это — еще не самое удивительное в подмеченных Фурманом тенденциях. А вот что еще: на вопрос о том, какая история и культура представляет для них наибольший интерес, евреи, назвавшие русскую, обогнали по этому показателю русских! Точнее, так: в части интереса к дореволюционной русской культуре они оказались с русскими почти вровень (42,5 против 47,8 процентов), а в части культуры советского периода — опередили (17,5 и 10,7). Когда же пошли вопросы о конкретных рейтингах (отношение к Толстому, Лермонтову, Чехову, Бунину, Достоевскому), то перевес этих авторитетов у евреев сравнительно с русскими оказался настолько явствен, что Фурман сделал ошеломляющий вывод: "реальный интерес к русской культуре у евреев — даже больше, чем у русских".

Я представляю себе, что скажут по этому поводу записные патриоты. Они скажут: "и здесь пролезли". Более трезвые аналитики вспомнят об относительно высоком образовательном уровне еврейского населения, о нетерпеливом желании этих вечных маргиналов "ассимилироваться", о динамизме национального характера и т.д. Самые трезвые примут в расчет то, что русские вообще

архаичны и не очень-то считаются с авторитетами, даже если это светочи культуры, евреи же, напротив, весьма считаются...

Все так: я согласился бы со многим в этих объяснениях, но вот свидетельство с совершенно другого края, где никаким еврейством не пахнет: казахская публицистка Шуга Нурпеисова свидетельствует, что казахам (городским казахам, потерявшим привычную национальную точку опоры, что тоже существенно, и мы к этому сейчас вернемся) — казахам идеи и пафос русской культуры ближе, чем русским.

Есть, над чем задуматься, не правда ли?

Русских — оставим на минуточку в покое: они в данном случае как бы фон для статистики. Культурное состояние русских — тема гигантски важная, но это другая тема. Речь идет о записных маргиналах. Так вот, отчего престиж русской культуры акцентирован с такой ясностью?

Первое и простейшее объяснение — так это ж та соломинка, за которую хватается утопающий... или, скажем так, дрейфующий.

А куда денется дух человека, попавшего в поле духовного воздействия огромного, стомиллионного народа, если этот человек не схватится за Пушкина и Толстого? Дух "осядет" в огромное среднестатистическое поле привычного культурного "быта", где этнография срастается с рутиной, и самоидентификация не стоит никаких индивидуальных усилий, а значит, не имеет личностной цены. В этом гигантском "русском поле" человек, обладающий энергией, начинает искать знаки особости, своеобычия, непохожести. Ищут все. Сибиряк, уралец, воронежец тоже вынашивают что-то, что будет выделять их из общего поля, из общего ряда. Казак скажет, что он не просто русский, а именно — казак: он предпочтет Шолохова Пастернаку, а у Толстого поставит "Казаков" впереди "Воскресения". То есть, он в этом огромном поле очертит себе "малую границу" и ощутит себя человеком "на границе" и "на грани".

Теперь возьмите любой "инонациональный" цветок в

этом многоцветье. Ну, скажем, еврею — куда "оседать"? Кто впал в иудаизм, в действительное еврейство, — уехал в Израиль. А кто остался, — куда он тут "врастет"? В общее поле? (так и хочется сказать: в общее застойное болото...). Нет, он будет осушать себе кусочек, огораживать свой участок. Мне приходилось писать о принципиальной неразрешимости русско-еврейского самоопределения в России, о зажатости души между идеями ассимиляции, исчезновения и идеями обособления: и то, и другое опасно. Реакция евреев на эти рассуждения меня поразила: а мы и не хотим ни того, ни другого. Ни обрусения, ни оевреивания! Мы не хоти быть ни "просто русскими", ни "евреями вообще" — мы хотим быть РУССКИМИ ЕВРЕЯМИ. Мы — совершенно особый анклав, не часть какого-то другого народа, а — НАРОД со своей судьбой и своими ценностями.

Что же это за ценности вынашивает маргинальная группа, не выносящая своей маргинальности, жаждущая пусть малой, но органики, желающая стать пусть хитророжденным, но народом?

"Сарафаны" и "армяки", и вообще старославянские ценности тут заказаны. Тора, Талмуд, Стена Плача, Плач на реках Вавилонских — тоже нереальны. Что остается?

Пушкин. Лермонтов. Чехов. Толстой. Достоевский. Солженицын. Распутин. Последние три имени Д. Фурман комментирует особо: это ж фигуры, за которыми тянется репутация "антисемитов", и все-таки они становятся в русский еврейский синодик, потому что люди отлично знают цену и таким "репутациям", и связанным с ними провокациям, — великие же чувства никогда не рождаются на ровном месте, а только из великих преодолений.

Казах, переселившийся из юрты в город и ставший интеллигентом, конечно же, сразу приобщается к русской классике. Чему она противостоит в его сознании? Ничему не "противостоит", а просто наполняет душу. Это ж надо попасть в ситуацию острейшего параноического национализма, такой комплекс неполноценности подцепить, — чтобы Пушкин "помешал" Абаю или чтобы Чокан оказался

казахом в противовес русскому Достоевскому. В нормальном состоянии тут нет и не может быть антитезы.

Но и русский (здравомыслящий русский) берет Пушкина в том же качестве и контексте. И русскому неохота "оседать" в общее "бескрайнее поле" или в общее "болото", на бережку которого будет кружиться этнографический хоровод в сарафанах и гулять "обчество" в армяках. Потому что общее поле делается у нас реальностью только как поле боя, если, не дай Бог, явится очередной фюрер наводить порядок. А нормально — когда из тысячелетнего фонда культуры берут — кому что ближе. Всем хватает. В том числе и русским евреям, которые не хотят "растворяться". В том числе и горожанам-казахам, которые не хотят быть русскими. Но и без Пушкина не хотят.

Узел тут завязан вовсе не с того боку, с которого его обычно хотят развязать. Сам феномен русской культуры — вовсе не национальный, не племенной, не этнический. И совершенно естественно, что, приобщаясь к русской культуре, разноплеменные россияне и нероссияне не собираются узурпировать чужое национальное достояние или в него "пролезать". Русский культурный мир по определению всемирный, вселенский, всечеловеческий, "кафолический". Если хотите, он по происхождению "маргинальный". В этом он сродни византийству, американизму, старому Риму, наконец, — великим народам, которым дорого стоило их величие.

В нынешних условиях, когда племенная устойчивость из биологической краски превращается чуть ли не в обоснование фундаментального права на жизнь, — встает для "вселенской" русской культуры острейшая проблема ее перемаркировки в национальную. Как этого достичь? Или надо искать в русской культуре некий этнический горизонт и считать его опорным, то есть надевать "зипуны и армяки" (что для великой культуры узко и жалко), либо сохранять "всемирную отзывчивость", но уже в качестве сугубо национальной черты (что для культуры рискованно именно как для великой). К маргиналам, берущим русскую культуру "на вооружение", эта проблема обернута другой

стороной: они ее берут не как национальную, а как мировую, сверхнациональную. Русские же должны удерживать ее — как национальную.

Кажется, понять Пушкина как всечеловека — это же так естественно. Удержать его как этнического гения куда труднее. Я не про то, что по крови он эфиоп и немец, а по стилю — "француз", я про то, что попытки перевести его "русскость" на другой язык невероятно трудны: все утекает, исчезает.

Вот так и "русское" — вроде бы утекает и исчезает при переводе на язык всемирности. И надо выгораживать внутри русского что-то специальное: великорусское, а потом и тамбовское, висимское, лебедянское, да и почему не бердичевское?

Не презирайте маргинала. Он не такой дурак, как кажется. В известном смысле его противник — тоже дурак. Вот слова, "занесенные в протокол": "Дурак, кто сказал, что родина у человека должна быть одна".

Об этом огромным шрифтом оповещает читателей рижская газета. Уточню: русскоязычная, что для нынешней ситуации оказывается чуть ли не самым важным. Автор этой сентенции (то есть автор опубликованного ниже же под этим заглавием обширного интервью) — Вл. Дозорцев.

Прочтя такое, я, конечно же, сразу чувствую себя дураком. Тем самым, у которого родина — одна. Потому одна, что — родина, и потому родина, что — одна. Дискуссии такого рода мне не раз приходилось вести с умницами, отбывающими за рубеж "без срока и надежды". Обмениваясь с ними прощальными поцелуями, я не мог себе представить ни родины сдублированной, ни родины подмененной, сдвоенной, принятой временно и т.д. Но те дискуссии велись в принципиально строгой исторической ситуации. Во-первых, родина была твердо и незыблемо зафиксирована в границах тогдашнего Советского Союза, причем границы были не только географическими, но, так сказать, и духовно-практическими. Во-вторых, по тем временам переход через границу был

возможен только в одну сторону... в свете этого обстоятельства то, что было в-третьих, четвертых и сотых, уже не казалось существенным.

Дискуссии тогда я вел преимущественно с литераторами, и потому все было так обострено: языковая почва и читательская среда для литератора — вещи жизненно важные: их потеря грозит профессиональной и духовной катастрофой. Я понимал, что, теоретически рассуждая, вопрос о том, где жить писателю, — его личное дело, но тем страшнее — и для писателя, и вообще для всякого человека, видящего смысл жизни в ее духовной стороне, — ПОТЕРЯ СМЫСЛА. Узел тут завязывается прочный: чем свободнее "телу" жить где угодно, тем больнее "духу" отрываться от почвы, ломать уже начавшуюся судьбу, терять ощущение жизни как единого целостного пути. Мест жительства для "тела" может быть сколько угодно, но родина (для "духа") — одна.

Человек, назвавший это убеждение дурацким, побуждает меня заново вдуматься в проблему и прежде всего — внимательно вчитаться в его аргументацию.

Вот рассуждения Вл. Дозорцева:

"Как жить русской диаспоре здесь?.."

Сразу же объясню: "здесь" — это в Латвии. В Латвии, где "русскоязычные" могут остаться без гражданства, без прав, без пенсий... и далее — без языка, без имени, без памяти и.т.д. Диалог происходит во времена, когда всякий русский может услышать, что он — "маргинал" и даже "оккупант", и не только русский — всякий нелатыш может обнаружить на себе то или иное клеймо. В газете, где Дозорцев рассуждает о русской диаспоре, параллельно идет дискуссия о том, не пора ли вернуть рижским евреям старое наименование: "жиды", в котором, "филологически" говоря, нет ничегошеньки обидного, а если иные жиды найдут это слово обидным, то это уже их проблемы: обидой жидов можно и пренебречь, потому что они — не граждане.

Да, это совсем не та ситуация, когда вопрос о родине решается однозначно (вернее, двузначно: да или нет?) — со времен овировских и покоренья Шереметьева столь много керосина утекло, что все вопросы встали на голову. Раньше: как бы уехать? Теперь: как бы удержаться? Рань-

ше: "Тело" здесь, а "душа" там. Теперь, как бы душу сохранить, когда "тело" за рубеж выдавливают? Раньше: либо ты советский, либо... антисоветский, третьего не дано. Теперь дано и третье, и сорок третье: ты, конечно, не советский... но какой? По точке проживания — латвийский. А по точке душевной привязанности?

Вот теперь и вчитаемся в исповедь Вл. Дозорцева:

"Как жить русской диаспоре здесь? Так же, как она живет во Франции или, скажем, в Канаде. Как эмигранты. Для меня был достаточно серьезным вопрос, как соотнести свою этническую родину... и ту реальную родину, где мы родились (то есть Латвию — Л.А.). И я для себя нашел выход, определив это как патриадуализм. Я считаю: тот, кто сказал, что родина у человека должна быть одна, — дурак. Почему не две и обе любимые? Почему не три? Как, например, у евреев, здесь родившихся, выросших на русской культуре и тяготеющих к Израилю? Все это нормально. Если мы оказались за пределами России, в Латвии и считаем ее своей родиной, а воспитаны на русской культуре, то соответственно в нас может жить некий патриадуализм, сочетающий интересы (или высокие чувства) к этнической родине — России и к той реальной, на которой (на земле которой? — Л.А.) мы живем..."

Конечно, если придираться к частностям, то русские во Франции и русские в Канаде — "дьявольская разница". Одно дело, бывшие аристократы, разбежавшиеся по парижским таксопаркам, или тонкий слой литераторов-беженцев, создавших воздушный замок издательства YMKA, и другое дело — молокане, компактно переехавшие в Канаду (на толстовский гонорар за "Воскресение" и другими путями), — тут и концентрация иная, и уровень — поближе к земле, по каковой причине русские (или украинцы) в Канаде вряд ли подходят безоговорочно под понятие "эмигрантов", — скорее уж это анклав, и маргинальностью у них не пахнет. Но у тех, что во Франции — пахнет. И потому придираться к рассуждениям Вл. Дозорцева не хочется: он правильно видит во всех этих частных случаях нечто общее, и это общее очень важно в теперешних пересекающихся культурных и государственных системах — жизненно важно!

Термин "патриадуализм", помимо русской неблагозвучности, еще и по сути нехорош: "почему — две, а не три родины?" — сам же спрашивает Дозорцев. Пример евреев в этом смысле весьма показателен: если люди проходят не через одну, а через две диаспоры, то, помимо тяги к "этнической родине", не может не сохраниться в их душах привязанность еще к двум (а если и к трем?) культурам, давшим им нишу. Допустим, к русской, немецкой и украинской: вариант Агнона, совместившего библейские начала со стилистикой Гоголя и мотивы германского галута с мелодиями галицийского Бучача. Или — вариант Башевиса-Зингера, который вернулся на "этническую родину", неся в душе польский опыт, а попутно усвоив в США "формы общей мировой культуры" (некоторые его тексты существуют только по-английски).

Речь идет о принципиально новой культурно-этнической ситуации, в которой современный человек не просто может соединить в душе разные культурные начала (по русско-японскому принципу матрешки), но, пожалуй, не может не соединять их. Все мы немножко маргиналы. Во всяком случае, чем культурнее личность, чем более открыта она мировым поветриям, тем больше разных несходящихся начал в ней пересекаются.

Канада, о которой вспомнил Вл. Дозорцев, — красноречивый пример такой поликультурности: государство — одно, но франкофоны и англофоны упорно отстаивают свою этническую несхожесть, и так же сохраняют несколько слоев в духовном фундаменте русские, украинцы, индейцы и любые другие попавшие в этот общий двуязычный обруч национальные группы.

Целое обречено дробиться. По этничэскому признаку — так по этническому, по религиозному — так по религиозному, но дробиться будет — непременно. Взять Соединенные Штаты: вроде бы успешно функционирующий "общий котел" (то, что у нас от перегрева разорвалось); два века отбор ведется именно по признаку отказа от "прежних корней" и принятия новой, американской идентификации.

И что же? Дробится и там единое. Уже выделена каста "чистых": WASP, где отобрано все — и этническая белизна кожи, и англо-саксонская "прапамять", и даже протестантская конфессиональность (white-anglo-sax-pro-

testant). Соответственно, американские ирландцы не могут забыть, что они ирландцы, американские итальянцы — что они итальянцы... не говоря уже о неграх, японцах, корейцах и китайцах, у которых все "на лице написано". Да еще накладываются сюда психологические расколы: Север-Юг, Восток-Запад (Новая Англия — Средний Запад, Дальний Запад...). В общем, не будет и у них "общего котла", а будет — пока не повернется Колесо Истории — бесконечное перетекание форм, сплетение "прапамятей", удвоение, утроение, учетверение идентификаций.

Удивляются: как же так, Советский Союз распадается, Россию сотрясают конвульсии дезинтеграции, в то время как Запад консолидируется, и Европа объединяется в единое целое.

А процесс — общий, хотя и происходит на разных уровнях.

Евреи, оставшиеся в дробящемся русском космосе, не хотят быть ни русскими, ни евреями, а именно, "русскими евреями". Евреи, вернувшиеся на свою "этническую родину", начинают острейшим образом ощущать не только ту землю, которую обрели, но и ту, которую принесли на подошвах: в Израиле они — русские, американцы, немцы, испанцы, эфиопы... Я подчеркиваю: речь идет не о "национальном" или "этническом" дроблении, а о накоплении своеобычности как всеобщем законе современного бытия. "Национальное", как и "государственное" — частный случай. "Лодка, чтобы не утонуть". Да, на нынешнем этапе совпадение этноса и государства — как бы счастливый случай, но вглядитесь в эти счастливые случаи, в эти эталонные национально-однородные государства — и вы увидите в них неутихающее дробление оттенков.

Никогда не забуду реплику немки в разговоре со мной на эти темы:

— Никакие мы не немцы! Это Бисмарк придумал, что мы немцы, а мы — другое: пруссаки, саксонцы, баварцы, гессенцы, эльзасцы...

Бисмарк, конечно, ничего не придумал: он осуществил то, что "дремало" в истории: пруссаки, баварцы должны были объединиться ради выживания в "Европе отечеств". И Гарибальди ничего не придумал, сплачивая итальянцев. И Муссолини, который с тою же целью опирался на "римские руины". Однако эта опора коварная. Когда я, оказавшись недавно в Милане и обсуждая с тамошними философами проблемы современного национального сознания, решил польстить моим собеседникам и сказал, что в их исторической памяти "дремлет Рим", — они из вежливости промолчали, но потом один наш умный итальянист (Геннадий Киселев) объяснил мне (на ушко), что похвалить ломбардийцев за то, что они хорошие римляне, — все равно, что похвалить киевлян за то, что они настоящие москали. Я, конечно, зарекся впредь говорить такие глупости. Впрочем, всякая глупость — та же реальность, но в утраченном ряду. Надо чувствовать ряды.

История государства — это смена форм целесообразности. Это один ряд. История культуры — кипение нецелесообразных составляющих внутри этих форм. Это другой ряд. Англичане едины в контексте Великобритании как государства, но копни их души — и обнаружишь кельтов, саксов, норманнов... Копни испанцев — и обнаружишь кастильцев, басков, каталонцев... Копни русских...

Как, а язык?! Разве язык не является мощнейшим средством, сплачивающим людей в государства?

Является. Вернее, МОЖЕТ являться, если совпадает с государственной целесообразностью. Может и не являться, если целесообразность диктует другое. Сколько государств у народов, говорящих по-немецки? (что не мешает германской конституции считать потенциальными гражданами всех "этнических немцев").

Латинская Америка — пример того, как языковая общность "разъезжается" с государственной целесообразностью. Меж двумя языками: испанским и португальским — поделили континент, можно сказать, "по линейке"; на будущее культуры это оказало, конечно, свое воздействие (уже хотя бы потому, что мощнейшая страна

этой части света, Бразилия, говорит по-португальски, а остальные крупные страны — по-испански), но КАКИЕ это оказались страны, — зависело скорее от силовых хитросплетений истории, чем от "первоэлемента" культуры.

И никуда эта полифония духа и культуры не денется — какие бы империи ни сплачивались и ни разваливались на том или ином "геополитическом пространстве". Они и дальше будут сплачиваться и распадаться по неисповедимым ритмам "силовой" истории. Но это только ОДИН уровень человеческого существования. ТОЛЬКО один — из бесконечного множества.

Да, сейчас эти силовые напряжения дробят население гигантских держав на более или менее управляемые "средние" единицы. И "национальное" — наиболее близкий (совпадающий) псевдоним для такой единицы. А уж ЧТО подпадает под этот псевдоним этнически и культурно, — тайна. Тайна памяти. Тайна личности.

Логикой тут ничего никому не докажешь. Когда украинцы отлагались от Советского Союза, они говорили о том, что спасают свою культуру от русификации. Это было реальное опасение. И логичное решение: защитить культуру силой государства. Я с этим не спорил (дискуссии шли в 1991 году), я только спрашивал: но ведь Галичина, Крым и Донбасс — области с достаточно разными культурными традициями; почему бы, логически рассуждая, каждую из этих областей не защитить своим государственным суверенитетом? Зачем подгонять их все под киевский стандарт? Тут дискуссия кончалась и начиналось кипение казачьих темпераментов:

— Развалить хочешь Украину?! — говорили мои оппоненты. — Не позволим! И обсуждать не будем твой провокационный бред!

Я, человек, выросший в этом государстве, не мыслю себя вне его. Я вне его погибну. Или вместе с ним погибну. Не как "тело" — как личность.

И все-таки: ведь это правда — русский человек в Питере и русский человек на Урале — разные русские. И донские казаки не повторяют сибирских.

Современный человек — маргинал по определению. От того, что я "советский", я не излечусь никогда. Потому что это не выдумка Ленина или Орджоникидзе, Хрусталева-Носаря или Троцкого. Это моя состоявшаяся жизнь. И это — очередной псевдоним того полиэтнического государственного целого, которое исторически реализуется на этом же земном пространстве под именем "Россия".

А если дробится? Примем как неизбежность. И подумаем: где же теперь наша родина при гуляющих туда-сюда госграницах? Границы-то гуляют, а вот точка в центре души остается неизменной. Эта точка — одна, а проекций ее на границы может быть столько, сколько — границ. В зависимости от того, как ложатся силовые линии истории.

Эти линии (границы) чаще всего тоже ведутся по псевдосфере, то есть по воображаемому историческому атласу. Чья земля? Тех, кто здесь раньше всех сел...

Господи, да того, кто раньше всех сел, давно нет в реальности. И что такое "земля"? А то, что на этой земле (и в этой земле) построено, это что, не земля? Ну, так если "земля" принадлежит той нации, которая "титульная", а обустраивало эту землю веками еще двунадесять наций, — как делить?

Делят обычно — оружием. И получают во владение то, из-за чего заводились: "землю". В чистом виде. То есть выжженную.

Как этого избежать?

Да, наверное, вот именно так: дав людям дышать на всех уровнях одновременно: на местном, на региональном, на государственном... Совпадает "национальное" с "государственным"? Замечательно! Редкостный момент: все латыши равняются по "рижскому стандарту". А потом идут с госпраздника по домам: латгалы, земгалы, лифляндцы, курляндцы... А тут еще рядом: поляки, евреи, немцы-остзейцы... А тут еще русские, оказавшиеся в немыслимом, невообразимом для себя состоянии, нацменьшинство.

"Как жить русской диаспоре?"

Так и жить, как весь мир живет. Ассимилироваться в государственную структуру в той мере, в какой это, как

минимум, прилично для человека, не желающего уезжать. И сохранять в душе культуру, которую ты считаешь своей, — в той мере сохранять, в какой это, как минимум, предотвращает распад личности. Насчет "отъезда" — тяжелый вопрос, конечно. "Теоретически говоря", человек, внутренне приверженный определенной культуре, должен стремиться соединиться с нею и физически. Еврей, который не может перестать быть евреем, едет в Израиль. Русский, который, живя в Риге, не может перестать быть русским, должен бы...

Но тут на эти логические доводы может последовать такой ответный взрыв казачьего темперамента, что лучше со стороны не давать советов.

Я и не даю. Каждый сам решает, где ему жить. Но если уж так выходит, что номинально у человека родина одна, а духовно — другая, то ничего в этом нет ни дурацкого, ни анти-дурацкого, это в нынешней чресполосной реальности не "несчастный случай", а норма: личность концентрирует множество "рядов" и "слоев"; это у всех так, не только у нас, многострадальных.

Насколько русский человек, оказавшийся в Риге, внутренне остается русским, зависит только от его воли. Захочет удержать Пушкина и Толстого — удержит. Не захочет — не удержит. Пушкин и Толстой — не залог чего-то и не награда за что-то. Они — сами по себе ценность: кто обладает, тот обладает.

Что же до дураков... Ну, если никак не обойтись без них в предложенном Дозорцевым определении, — так утешимся таким наблюдением мудрого человека: чтобы посрамить глупость, не обязательно умничать; достаточно согласиться быть дураком в другом роде.

На что я, прирожденный маргинал, с кротостию соглашаюсь.

В октябре 1994 года в газете "Московский комсомолец" погиб журналист Дмитрий Холодов, специализировавшийся на разоблачении коррупции в армии. В его руках взорвался чемодан с компрометирующим материалом, который Холодов получил в камере хранения одного из московских вокзалов. Коллеги Холодова возложили ответственность за теракт на министра обороны Павла Грачева. Похороны журналиста превратились в манифестацию, одну из крупнейших за последние годы, объединившую в антипрезидентскую коалицию патриотов и демократов. События вокруг гибели Холодова снова подтвердили глубокий внутренний кризис, поразивший общество и далеко не сводящийся К смерти журналиста.

Дмитрий БЫКОВ

МОСКОВСКОЕ ЗАТМЕНИЕ

Эта статья должна была строиться иначе, сороковины Дмитрия Холодова заставили меня взглянуть на тему с другой точки зрения. Я хочу начать с того московского затмения, которое было — слово "организовано" звучит здесь кощунственно, а слово "предложено" неуместно чисто стилистически. Речь идет о призыве московских журналистов выключить свет в 20.00 того дня, когда Москва поминала Холодова.

Я не знаю, кому принадлежит эта мысль. "Московский комсомолец" на первой полосе обещал, что фотокорреспонденты снимут затемненный город. Если бы свет призывали погасить в знак траура по убитому журналисту — ни у кого, кроме его убийц, это возражений не вызвало бы. Но затмение задумывалось как акция протеста. "Мы" должны были показать "им", что "мы" вместе. Понятие "мы", по обыкновению, не расшифровывалось. Понятие "они" получило вполне конкретное наполнение: власти. Так и сказано: мы должны показать властям.

Это высшая точка той истерии, которая развязана после гибели Холодова вокруг этого чудовищного теракта. Высшая точка того, что я — с полным сознанием своей ответственности — рискнул бы назвать вторым убийством Холодова.

С самого начала было ясно, что это убийство немедленно послужит объектом политических спекуляций. Поразительно другое: вокруг гибели Холодова объединились те, кому объединяться нельзя. Если нации нужна молодая кровь для объединения и для создания единой противоправительственной коалиции — это характеризует нацию как утратившую последние моральные ориентиры. Некролог Холодову дала газета "Завтра". Я понимаю, что за это издание "Московский комсомолец" ответственности не несет. Чудовищно другое: общая направленность публикаций, посвященных Холодову фашиствующей и демократической прессой. Направленность эта — антиграчевская в частности и антипрезидентская в целом. Гибель журналиста превратилась в повод для выплеска общественного недовольства, для выступления против властей единым фронтом. Возникло тщательно создаваемое впечатление, что гибель Холодова "переполнила чашу народного терпения". Ответственность за него — задолго до результатов расследования — возложена на Грачева, Бурлакова, западную группу войск и президента, который все это терпит. Убрать Грачева — таково было общее требование "патриотов" и демократов. Бурлакова убрали, а Грачева хотят убрать — не за их преступления, которые до этого могли быть терпимы, но за то, что взорвался чемодан, переданный Дмитрию Холодову. Для меня совершенно очевидно, что Грачев к этому убийству непричастен — он не мог не видеть, что взрыв в редакции "МК" приведет прежде всего к взрыву антиграчевских настроений, что министр обороны неизбежно окажется в этой цепочке крайним, что ответственность ляжет именно на него — даром что называя Холодова своим врагом номер один, министр явно "шутил". Опасность холодовских разоблачений для Грачева явно преувеличена — во всяком случае, Грачев не стал бы отдавать личных распоряжений о теракте и тем более готовить его. Причастность Бурлакова к взрыву тем более не доказана. Кампания, развернутая против них в "МК" и одновременно в патриотической прессе (самая синхронность этих двух кампаний доказывает их априорную противозаконность) должна бы заставить редактора "Комсомольца" Павла Гусева и его подчиненных задуматься: С КЕМ они играют на одном поле? Бывают ситуации, относительно которых верна старая пословица: "Скажи мне, кто твой друг".

А ситуация эта в общих чертах такова. Холодов выступал с резкой критикой в адрес Грачева и Бурлакова. Он готовился выступить в Думе с докладом о коррупции в западной группе войск. Ответственность за его гибель была немедленно возложена на Грачева и Бурлакова — о законе, доказательствах и т.д. никто не вспомнил. В итоге гибель журналиста спровоцировала создание мощной антипрезидентской коалиции — это наводит на мысль, что именно такой эффект задумывался теми, кто это убийство на самом деле готовил.

Нация жаждет консолидации, но консолидироваться ей не на чем. В России отсутствует новая патриотическая концепция, которая могла бы примирить западников и славянофилов на почве общей любви к Отечеству. Понятие патриотизма узурпировано подонками, у которых за душой тоже нет никакой новой патриотической идеи — весь их политический капитал, кажется, состоит из ошибок демократов и общего недовольства ходом реформ. Объединиться на базе новой государственной идеи сегодня невозможно, поскольку этой идеи нет. В России гораздо лучше умеют объединяться на базе общего врага, нежели на почве общего созидания. Для такой консолидации нужна молодая кровь. У нас научились объединяться только вокруг смерти. Такая же истерика возникла три года назад вокруг Комаря, Усова и Кричевского — при этом совершенно забыли, кто такие эти люди. Их живая жизнь, их биография, их убеждения и страдания совершенно потерялись — из них творили новых святых. А

святой — значит безликий. Именно такого святого пытались сделать из Холодова — как ни ужасно это звучит. Он выглядел идеальной кандидатурой на эту страшную роль. "Он не пил, не курил, у него не было времени на любовь"... Примерно так характеризуется Холодов в многочисленных публикациях "МК". Нужен святой. Живой, как всегда, не нужен. Живой может жить в Подмосковье и зарабатывать невеликие журналистские деньги, он может рисковать собой в непрерывных командировках — все это входит в профессиональный журналистский набор, состоящий из неудобств и риска. О живых можно не слишком заботиться. В России "любить умеют только мертвых". Личная трагедия Холодова, его семьи опять исчезла, растворилась в волне политических спекуляций. Холодов — НЕВАЖЕН. Важен святой, подчеркнуто безликий. Не пил, не курил, улыбался доброй улыбкой. Этот сусальный образ (красок не пожалели все авторы статей о Холодове, везде был надрыв и истерика) оказался жизненно необходим для того, чтобы похороны Холодова превратились в демонстрацию. Демонстрацию ЧЕГО?! Общего народного недовольства. При этом как бы не учитывалось, что убежденный демократ Холодов был врагом номер один как раз для газеты "Завтра" и ее присных. На этих похоронах, как всегда, собрались не только те, кто Холодова знал и пришел почтить его память. Собрались и те, кто желал "засветиться" в связи с трагедией. Для того, чтобы выступить на траурном митинге, съехались люди, впервые узнавшие о Холодове лишь после его гибели. Не мог не отметиться и Андрей Вознесенский со стихотворением под паталогически бестактным названием "Новейший русский". В стихотворении этом, сляпанном кое-как, поражает строфа:

Переименуйте Лен. проспект
В Шереметьево,
Чтобы убийца не посмел
Имя проехать его!

Это, пожалуй, будет покруче "Уберите Ленина с денег". Имя Ленина, выходит, до сих пор настолько свято, что

предполагаемый убийца не смеет проезжать по Ленинскому проспекту. Возникает естественный вопрос, чем провинились Шереметьевы?

Тот же "МК" с истерическим умилением сообщил, что некий юноша долго бился о гроб. "Ему было столько же лет, сколько мне!" — восклицал бьющийся. Этот типичный городской сумасшедший — подозреваю, что не вполне трезвый, — был поднят на знамя как типичный представитель скорбящего народа. Хорош народ!

Как же вышло, что в убийстве Холодова оказался виноват президент? А очень просто: власть у нас традиционно виновата во всех безобразиях. Не умея ничего сделать сами, мы возлагаем на нее ВСЮ ответственность, не оставляя себе ни капли. Я допускаю, что Ельцин не приехал на траурный митинг именно потому, что не желал лично солидаризироваться с теми, кто составлял значительную часть митингующих, — а именно с патриотами и обманутым ими, вечно недовольным плебсом. Впрочем, в свое время Ельцин на этот плебс уже опирался — он и привел его к власти, купившись на самые деструктивные тенденции президентской предвыборной программы. Как бы то ни было, вместо себя президент прислал своего пресс-секретаря Костикова. Костикова на похоронах освистали. Когда на похоронах освистывают, — это не память, не траур и не скорбь. Это поганенькое политическое шоу, когда уже неважно, кого хоронят и за что этот человек погиб. Это повод высказать свое недовольство властям, которые, я убежден, за гибель Холодова ответственны лишь в той мере, в какой они вообще не контролируют ситуацию в стране. Не контролируют же они ее в силу той простой причины, что не определились и по-прежнему стремятся усидеть на двух стульях, сочетая патриотические идеи старого образца с демократической идеей западного типа. Поправение Ельцина, использование Лужковым и прочими новыми чиновниками "патриотической" терминологии и идеологии ни для кого не секрет. И Ельцин, и Руцкой весьма часто используют один и тот же лексикон для прокламирования своих полити-

ческих целей. Это лучший показатель того отката, который тоже давно перестал быть секретом даже для плебса: власть боится реформ, ее пугают их последствия, она сознает, что наверху воруют, а внизу нищают (как будто это вещи взаимопредполагающие! Наверху не могут не воровать, и этого наш народ до сих пор не желает признать очевидностью). Иными словами, гибель Холодова оказалась в одном ряду с обнищанием народа и дорожанием доллара. Как будто не "МК" был глашатаем тех самых рыночных реформ, которые привели к экономическому кризису! Тут уж надо либо честно стоять на своем, невзирая на ухудшение экономической ситуации в стране, либо открыто солидаризироваться с патриотами. Сидеть на двух стульях до бесконечности — самая плохая тактика в этих условиях.

Беда одна: в отсутствии у власти и народа той самоидентификации, того желания и умения разобраться в себе, без которого страна никогда не сдвинется с места. И американский опыт "Великой депрессии", и опыт стран Восточной Европы со всей очевидностью доказал, что без всеобщего патриотического подъема, без нового самосознания народа страну поднять не удастся. В России патриотизм до сих пор тождественен национализму — в свое время никто об этом не подумал, теперь расхлебываем. В результате любое неблагополучие в стране приводит к взрыву антидемократических настроений — даже когда гибнет демократ. Чудовищный парадокс: своей смертью Холодов дал лишний козырь тем, кто требует красно-коричневой диктатуры! И ответственны за это не в последнюю очередь и коллеги Холодова — прежде всего Александр Минкин с его открытым письмом президенту. Нужно все-таки думать, с кем поневоле оказываешься в одном ряду. Бывают ситуации, когда вопрос "с кем" важнее вопроса "зачем" — сама публикация в "Завтра" о Холодове должна бы заставить насторожиться тех, кто прокламировал сходные идеи на страницах демократической прессы.

Наконец, сама акция с московским затмением, задуманная как свидетельство общенародного единства в борьбе против властей, напоминает уже прямое манипулирование массовым сознанием. Для большинства обывателей пресса до сих пор является наркотиком. Они готовы хоть свет гасить, хоть дома поджигать — лишь бы почувствовать себя вместе и против кого-то. Такую возможность им дали. Кто такие "мы" — по-прежнему неясно. Об этом я и хотел говорить с самого начала, пока акция московской прессы не подтвердила моих худших опасений.

Россия сегодня — страна без лица. Истерики вокруг России много — конкретики мало. И левые, и правые усердно молятся Богу, заигрывают с православием (которое чрезвычайно консервативно и всегда готово солидаризироваться скорее со славянофилами самого архаического толка). В Москве восстанавливают храм Христа Спасителя, который тоже нужен для консолидации, хотя за восстановление его громче всех ратовали именно представители патриотической оппозиции, в том числе коммунисты. Это вполне понятно: они более всего склонны к торжественной показухе. Никто не задумывался, какому Христу воздвигается этот храм: Христу, провозгласившему идею личной свободы, или Христу, чьим именем орудовала святая инквизиция. Отсутствие у сегодняшней России национальной самоидентификации, полная путаница в вопросе, что считать критерием демократизма и патриотизма, — вот главная беда страны, которая заставляет ее, по старому стихотворению Некрасова, "все кружиться да не плыть". Эта же неразбериха повела к тому, что коммунисты побратались с монархистами, а демократы вынуждены поддерживать разбойников, откровенных грабителей, выдающих себя за рыцарей рынка. Пора с этим разобраться.

Мне уже неоднократно приходилось писать о том, что русский и еврейский менталитет базируются на взаимоисключающих ценностях. Русские — нация оседлая, общинная, почвенная; евреи почвы не имеют и в силу этого высоко ставят идею личной независимости, родовых, а не идеологических связей. Едва евреи обретают почву,

как они тут же становятся общиной еще более спаянной, чем русская. Израиль, где идея личной свободы отнюдь не является частью государственной патриотической доктрины, — тому свидетельство. Но в российских условиях сложилось так, что носителями демократической (и революционной тож) идеи оказывались на протяжении десятилетий именно евреи — это предопределило антисемитизм как часть "патриотической" доктрины. С евреями стали отождествлять и демократов — именно потому, что демократия не существует без идеи индивидуализма. С этой индивидуалистической концепцией архаичное русское сознание отказывается мириться поныне. Атомизация общества, расслоение социума никак не желают вписываться в славянофильскую парадигму. В свете этого любые апелляции властей к "русской славе" и "русской душе" выглядят непростительным фарисейством: нужно наконец понять, что "русская мечта" исключает "мечту американскую", что нации предстоит серьезная ревизия своих идеологических ценностей. У власти нет сейчас ни одного человека, кто понимал бы это. Ума не хватает — ни для простой констатации этого противоречия, ни для выработки новой патриотической концепции. Отсутствие у России текста нового государственного гимна (вместо гимна у нас песня без слов, фигура умолчания) — лучшее тому подтверждение.

Как все это связано с гибелью Холодова? Как мы сейчас убедимся, напрямую. Истерика вокруг имени Холодова, в которой совершенно потерялся самый факт этой гибели, самый ее трагизм, — лишь высшая точка общественного недовольства, которое зреет в России и вполне может повлечь за собой поражение демократов на выборах 1996 года. Россия — такая страна, что в ней скорей готовы прощать врагу, чем приспособленцу. "Мне жаль Полкана, Шавки мне не жаль". И это очень справедливо: трусливый, мимикрирующий, невнятный демократ хуже ярого рыночника, который по крайней мере знает, чего он хочет. А власть должна знать, какова ее цель. И если эта цель — рыночные реформы, за которые придется платить десятью годами выживания, — как бы ни была непривлекательна эта цель, ее следует держаться. Вина прессы, что она "купилась" на свободу слова и долго упрекала народ в недостаточном умении выживать. Но еще более тяжкая вина — то, что пресса совершенно отказалась воспитывать и образовывать этот народ, что ради собственного выживания (тиражи, подписка и пр.) она радостно пошла у него на поводу. Отсюда — и антипрезидентская направленность газеты "Московский комсомолец ", сочетающей в себе худшие черты бульварной, сервильной и желто-криминальной прессы.

Власть же, испугавшись дела собственных рук, начала неприкрыто мимикрировать. Слово "народ" в России по-прежнему сакрально. Здесь уверенно молятся на общину, даром что митингующие всегда были худшей частью народа. На митингах больше всего горланят те, кто всегда недоволен, кому делать больше нечего, кто решительно не умеет устроить собственную жизнь, а потому готов протестовать по любому поводу. Эти же люди драли когда-то глотки у "Московских новостей". Сегодня они пришли на митинг по поводу гибели Холодова, сегодня они кричат, что президент их обманул. Между тем обманул он их не тогда, когда встал на сторону демократии и рынка, а тогда, когда не сумел определиться и стал вовсю использовать православно-патриотическую фразеологию.

Эти кухонные и подворотные борцы никак не желали понять, что Ельцин с самого начала был фигурой энигматической, безликой, вынужденным компромиссом между народом и интеллигенцией. Он воплощает отнюдь не лучшие черты народа — умение ярко действовать только в авральной ситуации, волюнтаризм, любовь к борьбе, превалирование воли над интеллектом, — и потому годился для леворадикальной интеллигенции только в качестве стенобитного тарана. Таран так и не сумели вовремя сменить на тонкий инструмент, более пригодный для созидания. За это платят сегодня, когда компромисс себя исчерпал. Ельцин не устраивает уже ни тех, ни других.

А нас, интеллигентов-демократов, сегодня уже не спрашивают, кто нас устраивает. Оппозиция, оказавшись во всенародно-любимой роли "обиженных", стремительно набирает очки, не имея за душой теперь уже никакой созидательной программы — только более или менее радикальные карательные меры в отношении нынешней власти. К тому же в самой оппозиции зреет раскол (между фашистами и коммунистами, коммунистами и монархистами): идея общины уже не цементирует вместе самые разные слои оппозиционеров. В результате к 1996 году народ рискует посадить себе на шею власть, за душой у которой уж точно не будет ничего, кроме архаичной славянофильской фразеологии и ненависти к демократической идее. А народное недовольство, как мы заметили, очень легко меняет адресата. Противостоять и свет гасить мы все мастера. Настали настоящие "дни затмения", когда никто не пытается толком разобраться, какие силы примазываются к оппозиции и каким силам на самом деле выгодна антипрезидентская истерика.

То, что Ельцину нет альтернативы, — вина демократов. Они не успели, не сумели утвердить в сознании народа новые ценности. Они проповедовали их на редкость бездарно, поддерживая наглых новых русских, обвиняя народ в его собственной нищете, обжираясь на телепрезентациях. Все это море наглости, хамства и тупости года два-три назад захлестнуло экран и с неизбежностью спровоцировало волну народного недовольства. Вместе с тем демократы не сделали главного: не сделали понятие "народ" амбивалентным. Они по-прежнему готовы этот народ обожествлять (по крайней мере внешне). Между тем глас народа — далеко не всегда глас Божий, и народное недовольство, особенно в России, — далеко не показатель кризиса власти. Достаточно внимательно перечесть "Бориса Годунова", чтобы в этом убедиться. Народу постоянно внушали необходимость самоуважения, за народом оставляли последнее слово — тогда как нашему народу в его нынешнем положении, народу нецивилизованному и капризному, решительно не за что

себя уважать. Цивилизоваться он не желает. Он хочет быть монолитом, по-прежнему противостоит всякой цельной индивидуальности и ничего не делает без оглядки на соседей. Этот народ не желает менять парадигму своих ценностей — даже коммунистические ценности он усвоил в их общинном варианте и переучиваться не хочет. Именно это отсутствие самоидентификации, беспринципные компромиссы демократов и погубили — теперь слово "погубили" можно использовать без всякой натяжки. Демократическая идея в России проиграла потому, что недостаточно четко размежевалась с идеей общинной и казарменной. Компромиссы вроде "общественного согласия", когда заклятые враги, исповедующие взаимоисключающие ценности, фальшиво договорились о ненападении, — не прощаются. Думская амнистия преступникам октября 1993 и августа 1991 годов, только доказала слабость и трусость власти — несмотря на явную противозаконность этой амнистии, она была принята и признана. Я не хочу, чтобы кого-то держали в тюрьме: карательными мерами общенациональные проблемы не решаются. Но тогда надо честно признавать свое поражение, исключая из своего словаря такие слова, как "закон", "демократия" и "реформа". Наша демократия не умела защищаться. Интеллигенция струсила, чуть в октябре 1993 года пошли танки, защищающие ее же. Худшего предательства, чем тогдашние крики об "обоюдной вине", я представить себе не могу.

С чем же мы остались в результате? Со скомпрометированными реформами. С недопроявленной, погубленной компромиссами идеей демократии. С народом, тупо ненавидящим власть и безмерно уважающим себя, — с народом, который по-прежнему использует всякую возможность побыть толпой. С интеллигенцией, для которой реноме важнее убеждений. С демократами, которые трусливо перекрасились и не отважились честно защищаться с готовностью так же честно проиграть. И с побеждающей оппозицией, которая сама к своей победе не готова, не имеет программы, переживает раскол и

сходится только в своей оппозиционности — позитива за душой никакого, как у всех славянофилов XX века.

Не так давно Владимир Шумейко в очередной раз попытался примирить общину и демократию. Он прокламировал "новую патриотическую концепцию": 1) преобладание идеи духовности над материальными ценностями; 2) превалирование среднего достатка над богатством и 3) приоритет добра над злом. Этот бессмысленный и фальшивый набор слов с легкостью мог быть заменен на следующую патриотическую концепцию: 1) преобладание духовных ценностей над материальными; 2) преобладание материальных ценностей над духовными и 3) равенство этих понятий. Ей-Богу, выйдет не более путано.

Похороны Холодова и истерика вокруг них подтвердила: народ остается темной и консервативной силой, национальной идеи у России нет, и объединяться эта страна по-прежнему может только вокруг своих мертвых. Потому что мертвые ничего не скажут и не прогонят подонков от своего гроба. Здесь нет ничего живого, за чем могли бы, объединившись, пойти люди, населяющие Отечество.

Это московское затмение. И определяться в этой темноте, боюсь, уже поздно.

Единственное, что остается, — честно платить. И запоминать последний урок истории — больше она учить не будет. Будет снова шагать по трупам — только им в России и хорошо. О живых тут думают в последнюю очередь.

СНОВА ШАГАЮТ ПО ТРУПАМ

Редакционный посткриптум о войне в Чечне

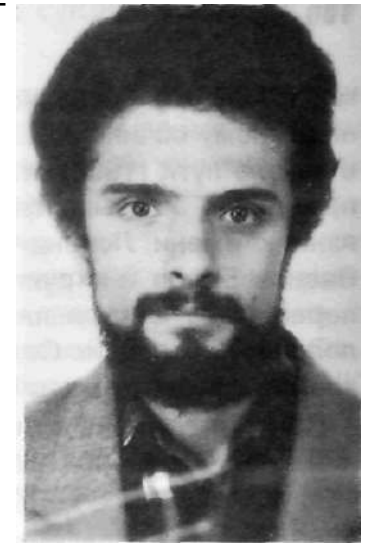
Воистину, невозможно угнаться за событиями, происходящими в России. В эссе Дмитрия Быкова, кажется, сказано главное о российской ситуации. "Нация жаждет консолидации, — пишет автор, — но консолидироваться ей не на чем... Беда одна: в отсутствии у власти и народа той самоидентификации, того желания разобраться в себе, без которого страна никогда не сдвинется с места". Констатируя наличие глубочайшего кризиса, автор не видит из него выхода, он лишь рекомендует запомнить "последний урок истории — больше она учить не будет. Будет снова шагать по трупам — только им в России и хорошо".

Заключая эссе подобным предостережением, автор вряд ли предполагал, что слова эти окажутся провидческими — едва этот номер был сдан в производство, как снова зашагали по трупам, и мир снова услышал вырвавшуюся из глуби веков кровавую поступь империи. Таковы реминисценции, которые — хотим мы этого или не хотим — возбуждает война в Чечне в сознании каждого объективного наблюдателя. Все в ней кажется диким, алогичным, достойным презрения. Бесконечные бомбардировки, бесчисленные жертвы среди мирного населения, бессмысленная гибель российских солдат. За что воюют? Кому нужны эти жертвы? Когда это кончится? Тиражируемые в миллионах экземпляров газеты, радио и телевидение не устают задавать эти вопросы, и сами же дают ответы. Очень разные ответы, целый спектр, определяемый разного рода партийными интересами и идеологиями, в которые здесь не место углубляться. Но посмотрите, какое редкое единодушие верхов: "Кто виноват? — Преступные чеченские банды! Дудаевщина!" "Конституцию попирать не дано никому!" "России следует постоять за свою честь!" "На карту поставлены интересы государства!" "Исконные российские территории!" "Нефть! И еще раз нефть!"

Известно, что эмоции, пышным цветом расцветающие во время войны, — дурной помощник при оценке политической ситуации, тем более сложившейся в сегодняшней раздираемой бесконечными кризисами России. Но, с другой стороны, давайте согласимся, что и в приведенных выше высказываниях есть своя доля истины — идет ли речь о дудаевском режиме, или о Конституции, или об интересах государства — да, да, и о них тоже! — черно-белые цвета вряд ли приведут нас к пониманию сути проблемы.

Факт, однако, остается фактом: какие-то силы инспирируют, разжигают чеченскую войну, кому-то это кровопролитие нужно. Но кому? Кто попытается использовать ее в своих интересах? Невольно приходит на ум исконный ленинский вопрос: кому это выгодно? И снова готов ответ. Выгодно правящей бюрократии, российскому генералитету, пытающемуся поднять свой пошатнувшийся авторитет, новому классу собственников, или, как теперь говорят, правящей монополии... Добавим: и русским шовинистам, и Жириновскому, и президенту Ельцину, который, наверняка, попытается заработать на этой войне дивиденды. И отсрочить выборы. И укрепить свою власть. Все эти

соображения, которые подкупают своей логичностью и прямизной, и которыми, кстати, скорее всего и руководствуются российские руководители (опираясь на привычный им марксистский социологический анализ) чреваты далеко не однозначными последствиями: все ведь в коммунизме было верно и "научно предугадано", но оказался он выброшенным на свалку истории. А афганская война? А горбачевская гласность? Кто думал тогда о последствиях? Кто их представлял? Не случится ли так и с расчетами некоторых российских политиков, которые, говоря о чеченских бандах, о патриотизме, об интересах государства, снова тщатся объединить нацию на базе общего врага — пытаясь своей железной, большевистской рукой укрепить собственную власть. Да вот только пришла другая эпоха — тот старый, имперский, большевистский мир парадоксальным образом ими же и был похоронен, а в новом мире придется жить по другим, непредсказуемым законам. Возможно, чеченская война приведет к укреплению авторитарной власти и положит конец реформам, а, возможно, в результате нее как раз и произойдет самоидентификация нации, которая поможет обществу разобраться в самом себе и взять, наконец, в свои руки собственную судьбу.



Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Или попытка сказать, кто есть кто в нашей литературе

Московская публика, собравшаяся 27 апреля 1993 года в Овальном зале Библиотеки иностранной Литературы на оглашение предварительного списка соискателей Букеровской премии, поглядывала на часы. Нужно было успеть в зал сада Эрмитаж на происходившее в тот же вечер вручение немецкой премии имени А.С.Пушкина Фазилю Искандеру и Олегу Волкову. Хорошо, что премия "Триумф", финансируемая волжскими автомобилестроителями и адресованная людям искусства, присуждается осенью... Премия как некий социальный жанр обретает для российской словесности новый, непривычный смысл.

В 60-70-е годы присуждение официальной премии сулило не только материальные выгоды (обязательное многократное переиздание "удостоенного" сочинения), но и

могло служить "охранной грамотой" недостаточно благонадежному сочинителю. Оттого и Александр Солженицын в начале пути (1963) от возможности получить Ленинскую премию не отказывался. И отнюдь не испытывавшие приязни к имени Ленина белорусский писатель-фронтовик Василь Быков и структуралист Вяч. Вс. Иванов на заре перестройки ее приняли. И религиозно настроенный филолог и переводчик Сергей Аверинцев носил жертвенное клеймо лауреата премии Ленинского комсомола (1973).

При этом в ценностной иерархии общественного мнения звание лауреата Государственной или Ленинской премии уже к середине 1970-х годов было полностью девальвировано. Главным литературным развлечением интеллигенции на 7 ноября и 22 апреля было изучение лауреатского списка на тот предмет, кто из претендентов обойден на сей раз. Да и официоз, кажется, цену своим наградам знал: недаром с такой настойчивостью советские дипломаты выторговывали у Нобелевского комитета звание лауреата для Михаила Шолохова — наделенного всеми мыслимыми и немыслимыми внутрисоветскими почестями и заживо внесенного в "реестр" классиков, вслед за Шекспиром...

Одновременно в недрах советской идеологии вызревала (к сожалению, полностью воспринятая интеллигенцией) система неформальных культурных ролей, противопоставленная официальной табели о рангах. Власть — не в последнюю очередь с помощью премиальной системы — назначала на роли "гениев": Михаила Шолохова в литературе, Сергея Бондарчука в кино, Михаила Храпченко в литературоведении; полуоппозиционная среда негласно выдвигала на эти же роли своих представителей. На роль Главного гуманитария — академика Д.С. Лихачева. На роль Носителя традиции — С.С. Аверинцева. На роль Русского философа — А.Ф. Лосева. На роль Европейского композитора — Альфреда Шнитке. На роль Культурного Писателя — Андрея Битова. На роль Народного поэта — Николая Тряпкина... Как правило, актеры полностью соответствовали "ролям": но порочен был самый принцип.

Как ни странно, принцип этот продолжал действовать и в перестроечные, и в постперестроечные времена, когда один за другим разрушались гораздо более жесткие социальные механизмы, обеспечивавшие функционирование советского идеологического мифа.

Кажется, в 1992-м году он дал первый — очень важный — сбой. Этот слом ситуации оказался связан не с присуждением Государственных премий Российской Федерации, едва ли не впервые свободным от давления ЦК КПСС, не с премией "Триумф", не с Пушкинской премией. Хотя во всех этих случаях лауреатами оказались люди более чем достойные. Но, во-первых, практически ни у кого из них в 1992-м (и в 1991-м, и в 1990-м...) не было новых работ; и, значит, принцип представительства продолжал действовать. Во-вторых, в их список не затесалось ни одной неожиданной фигуры. Золушке не нашлось места на празднике избранных.

Но в конце 1991-го года было объявлено, что английской компанией Букер учреждается негосударственная премия лучшему роману, написанному по-русски ныне живущим автором (гражданство и национальность значения не имеют) и опубликованному в промежутке между 1 января 1991-го и 1 марта 1992-го года. Размер премии 10000 английских фунтов стерлингов.

То есть, здесь предстояло отметить работу, текст, а не имя, не совокупность заслуг, не репутацию. Выдвижение романов, претендующих на получение премии, осуществлялось путем опроса 40 номинаторов из числа ведущих литературных критиков, писателей, издателей; затем в работу вступает международное жюри, выбираемое сроком на 1 год лондонским административным комитетом. Члены жюри после взаимных консультаций публикуют "шортлист" — список финалистов, состоящий из не более 6 и не менее 3-х романов; наконец, во время торжественного ужина председатель жюри оглашает имя победителя.

В состав первого Букеровского жюри 1992-го года в России вошли: критик Алла Латынина (Председатель),

прозаик Андрей Битов, эссеист Андрей Синявский, владелица издательства "Ардис" Эллендеа Проффер, профессор Оксфорда Джон Бейли. Определяя "шортлист", жюри как бы объявляло читающей публике, критикам, журналистам: вот, с нашей точки зрения, самое интересное из напечатанного и написанного; судите, рядите, кто будет назван лучшим — все равно не угадаете. Потому что закономерность уступала место случаю, мрачноватая советская серьезность — веселой литературной игре.

В тогдашней финальной "шестерке" оказалось по крайней мере три основных претендента на премию, — роман Фридриха Горенштейна ("Место") и повести двух ведущих "материковых" писателей — Владимира Маканина ("Лаз") и Людмилы Петрушевской ("Время ночь"). В то же время в шестерке имелись и, по крайней мере, два кандидата на роль "незваного гостя", — романы не столь именитых — уральского прозаика среднего поколения Александра Иванченко "Монограмма" и профессионального переводчика немецкой прозы XX века, гораздо менее известного в качестве оригинального писателя, Марка Харитонова "Линии судьбы или Сундучок Милашевича". Впрочем, включение в список финалистов представителя соцарта Владимира Сорокина "Сердца четырех", многократно изданного на Западе, но малознакомого российской публике, тоже казалось миной замедленного действия. Нельзя было до конца исключить, что жюри решится на скандал в благородном семействе, и премию получит не литературная барышня, а литературный хулиган.

Гадание о победителе[1] шло по двум направлениям. Прежде всего — с оглядкой на социальный контекст.

В этом контексте предпочтение огромному роману-эпопее западноберлинца Фридриха Горенштейна поддержало бы идею единства русской посттоталитарной культуры, вне зависимости от места обитания ее создателей, в

[1]Именно так называлась статья А. Немзера о букеровском "шорт-листе", опубликованная в "Независимой газете" (1992, 31 октября).

России или за ее пределами. Достанься Букер Владимиру Маканину, и в его лице премированной оказалась бы вся "великая русская литература", одним из самых крупных авторитетов которой он по праву считается.

Остановись премиальная рулетка на Людмиле Петрушевской, и отмечена была бы неповторимая женская интонация, голос, пытающийся изнутри женского космоса докричаться до "мужского" мира о надвигающемся на личность демонизме современного бытия.

Стань первым лауреатом русского Букера Владимир Сорокин, и был бы брошен вызов устоявшейся системе литературных репутаций — и "легальной", и "андерграундной". (Ибо присуждение престижной премии подчеркнуто неофициальному, "левому" писателю равнозначно его социализации, включению в отвергаемый им литературно-общественный ряд).

Укажи букеровское жюри на уральского прозаика Александра Иванченко — и тем была бы поддержана тенденция к децентрализации постимперской русской литературы, к смещению издательского и читательского интереса от московско-петербургского круга к провинциальной литературе.

Наконец, в случае успеха Марка Харитонова разрушался внутрипоколенческий стереотип: ровесник Андрея Битова, Фазиля Искандера, Владимира Маканина, Харитонов занимает в своей генерации место аутсайдера; если о его прозе и писали сочувственно, то, как ни странно, критики существенно более молодые (Евг. Шкловский, А. Ранчин, А. Немзер, автор данной статьи).

Для прогноза, вычисленного по такой, социальной, схеме, самыми предпочтительными кандидатурами оказывались Петрушевская и Маканин. Потому что они, во-первых, больше других известны в России и на Западе и, во-вторых, популярны в среде читающей интеллигенции и давно уже заняли в той негласной оппозиционной иерархии, о которой шла речь, самые верхние позиции.

Но возможен был и другой — куда более интересный — ход мысли. Мысли, ориентирующиеся не столько на борь-

бу репутаций, сколько на конкуренцию стилистик и художественных идей. С этой точки зрения картина открывалась совершенно иная.

Премия Ф. Горенштейну означала бы поддержку классическому роману, экзистенциальному неореализму, учитывающему опыт стилевых, философских, психоаналитических исканий XX века. Напротив, премия Александру Иванченко стала бы поощрением разрыва с традиционной романной структурой. "Премиальная поддержка" Маканина или Петрушевской оказалась бы связанной с предпочтением сюрреалистической стилистики. Что до Владимира Сорокина, тут присуждение премии могло бы обнаружить интересные — и до сих пор недостаточно отрефлексированные — противоречия в поэтике соц-арта. Возможно, спровоцированное таким решением жюри обсуждение прозы Сорокина подтолкнуло бы критику к неожиданным выводам. О том, например, что возникший и утвердившийся в качестве пародии на тоталитарное искусство, литературный соц-арт незаметно для самого себя переродился в поэтику, реанимирующую художественные приемы соцреализма[2]...

Но премию получил — Марк Харитонов. И это было самое неожиданное. И со "стилистической", и с "социальной" точки зрения.

В центре литературного внимания оказался писатель, на долгие годы изолированный от общего процесса (до 1994 года у него вышла в России только одна книга — "День в феврале", 1988). Естественно, к его прозе можно относиться по-разному (покойный Н.Я. Эидельман считал ее одним из самых сильных явлений в русской словесности; напротив, умный и тонкий критик Владимир Новиков отнесся к ней весьма и весьма насмешливо). Дело не в этом. Дело в том, что впервые не сработал принцип

[2] Подробнее об этом я писал в статье "Тумбочка не виновата: Скромное обаяние тоталитарной культуры" // Общая газета, 1993, 18 июня.

оппозиционного представительства, а былые заслуги демонстративно не принимались в расчет.

Трудно было рассчитывать на то, что литературная публика так просто с этим смирится. Реакция на присуждение Букера Марку Харитонову не заставила себя ждать. Почти повсеместно — недоуменная. И почти повсеместно — скрыто-неприязненная. В этом недоумении и неприязни либералы полностью совпали с критиками из национал-большевистского лагеря; с обеих сторон выражалось недовольство тем, что премия досталась не Маканину или Петрушевской, чьи заслуги перед русской словесностью в целом неоспоримы (неважно, совершенны или несовершенны конкретные, выдвинутые на соискание Букера, их повести), а третьему неизвестному[3]. Даже обозреватель реваншистской газеты "День" Владимир Бондаренко, подмешивая в свои рассуждения изрядную долю антисемитизма и напирая на "еврейство" Харитонова, писал: "Я давно уже хотел высказаться по поводу новоявленной премии Букера, но смущали два претендента — Владимир Маканин и Людмила Петрушевская.

Как ни относись к различным их произведениям, <...> но оба они — в русле русской литературы, неотъемлемая часть ее. Они тоже черные, ниггеры — для нынешних литературных расистов и если решили участвовать в этом антирусском шабаше, что ж, им отводилась роль знаменитого дяди Тома из знаменитой "Хижины дяди Тома"[4]...

И неудивительно, что очень быстро обсуждение свелось к проблеме финансовой: хорошо ли получать подачки от западных миллионеров, на что новоиспеченный лауреат

[3] Ср. полупрезрительный отзыв обозревателя радиостанции Би-Би-Си Зиновия Зиника, прозвучавший в передаче "Сево-оборот" вскоре после присуждения премии Харитонову; ср. также статью Владимира Топорова: "В чужом пиру похмелье. Российское первоиздание Букеровской литературной премии" // Звезда, 1993, №4.

[4] Владимир Бондаренко. Литературные расисты //День, 1992, 10 декабря (№48).

потратит полученные фунты стерлингов и случайно или нет, но расплата последовала немедленно.[5]

Когда весной 1993-го был оглашен предварительный список из 40 претендентов на очередную премию Букера, раззадоренные и заинтригованные прошлогодним букеровским действом литераторы стали прогнозировать будущий "шорт-лист". Все (или почти все) сходились на двух бесспорных вещах — романах Виктора Астафьева "Прокляты и убиты" и Олега Ермакова "Знак зверя". Ясно было, что жюри не сможет обойти их стороной; кроме того, перед нами идеальная пара основных претендентов: оба — авторы "военный романов", о Великой Отечественной и невеликой афганской соответственно; принадлежат разным поколениям; входят в круги конкурирующих журналов — "Нового мира" и "Знамени"... Вопрос был только в том, кто окажется третьим нелишним?

И вот 16 октября 1993-го года в Петербурге Председатель очередного букеровского жюри проф. Вяч. Вс. Иванов огласил "шорт-лист", вдумываясь в который, любой человек, специально занимающийся современной русской словесностью, испытывал шок.

Астафьева и Ермакова жюри не могло обойти ни при каких обстоятельствах. Но:

— каким образом в список "заметных явлений" текущей прозы угодила повесть Людмилы Улицкой "Сонечка" — образец слащавого дачного чтения? Что заставило членов жюри упомянуть в своем вердикте книжку коротких повестей (а скорее — затяжных рассказов) Валерии Нарбиковой "Около Эколо" — давно уже полностью распечатанную по журналам и альманахам? То есть — не подлежащую рассмотрению по правилам конкурса. Каким образом члены жюри могли не знать о том, что было ведомо любому регулярному читателю российской периодики? Почему они не провели библиографическую экспертизу, прежде чем принимать решение?[6] И зачем понадобилось включать в шорт-лист переломную, отрабатывающую новые приемы повесть выдающегося писателя Владимира Маканина?..

[5] См.: Коммерсантъ, 1992, 10 декабря (№48); Независимая газета, 1993, 11 января (отзыв В. Турбина); Литературная газета, 1993, 1 сентября (возмущенно-брезгливая реплика К. Ваншенкина).

Ответы на эти вопросы вскоре были даны.

14 декабря 1993 года объявили имя победителя: Владимир Маканин. Таким образом Букер-93 окончательно превратился из премии литературному событию в премию престижа. И ничего странного в том нет.

Подавляющее большинство членов жюри 1993-го года даже не скрывали, что за текущей литературой в последние годы не следили. Вяч. Вс. Иванов — крупнейший специалист в области славянских древностей, ветхих литератур, праиндоевропейского языка, профессор Лос-Анджелесского университета современной литературой профессионально не занимался никогда. И розданная участникам торжественного обеда в честь лауреата премии брошюра Вяч. Вс. Иванова "Взгляд на русский роман в 1992 году" (М.: Рудомино, 1993) лишь подтвердила это. Самые интересные фрагменты 16-страничной брошюры были посвящены теоретическим соображениям автора о судьбе европейского романа XX века; самые общие слова произнесены о конкретных романах и повестях 1992-го года.

Джеффри Хоскинг — авторитетнейший английский историк и советолог, много лет назад написавший книжку о деревенской прозе и с тех пор расставшийся с непосредственно славистскими занятиями. М. Слоним — блистательная радиожурналистка Би-Би-Си, литературный процесс в России в сферу ее интересов не входит. Ни Вяч. Иванову, ни Дж. Хоскингу, ни М. Слоним не могло,

[6] В итоге, после ряда печатно выраженных недоумений, жюри вынуждено было — за несколько недель до подведения итогов — исключить повесть Нарбиковой из числа претендентов, чем нарушило все правила премии и поставило себя в двусмысленную ситуацию, продемонстрировав блаженное неведение о предмете своих занятий...

по определению не могло, достать времени на освоение незнакомого им материала, его осмысление и систематизацию. Так же Булат Окуджава — один из лучших сегодняшних писателей, увы, не предполагает, что он — один из лучших современных читателей — не следит (в отличие от принимавшего участие в работе первого букеровского жюри Андрея Битова) за литературным процессом, в чем сам неоднократно признавался. Единственному более или менее профессионально связанному с текущей русской беллетристикой Александру Генису было заведомо не под силу противостоять напору коллег-неофитов. (Впрочем, я не уверен, что желание противостоять у него вообще возникло). Веселая литературная игра в 1993 году не состоялась.

Видимо, почувствовав это, Административный Совет изменил тактику. Жюри 1994 года собрало профессионалов.

И председательствоваший критик Лев Аннинский, и профессор Колумбийского университета Марина Ледковская, и Наталья Перова, издающая журнал "Глас", и доктор Мартин Дьюхерст из Университета Глазго — известные в мире славистики читатели новой русской прозы. (Что же до Владимира Войновича, то, может быть, и ему было небезынтересно, что делают его коллеги; во всяком случае, он представлял в жюри взгляд на современную литературу изнутри нее самой). О существовании писателей, претендующих на премию 1994 года, они явно узнали не из списка, предложенного их благосклонному вниманию номинаторами и включавшего названия 39 произведений. И — выбрали шестерых.

Петр Алешковский. Жизнеописание Хорька ("Дружба народов"., 1993, №7).

Юрий Буйда. Дон Домино ("Октябрь", 1993, №9).

Игорь Долиняк. Мир Третий ("Звезда", 1993, №10).

Михаил Левитин. Сплошное неприличие ("Октябрь, 1993, №4).

Булат Окуджава. Упраздненный театр ("Знамя, 1993, №№9-10).

Алексей Слаповский. Первое второе пришествие ("Волга", 1993, №№8-9).

Список по-своему ошеломительный, не совпадающий ни с одним из прогнозов. К нему — даже делая поправку на сложность и заведомую компромиссность любых коллегиальных решений — легко предъявлять претензии; над ним можно проливать слезы сожаления. Не удержусь и я: ну каким образом не попал в шестерку финалистов питерский прозаик Михаил Кураев с лучшей — по общему признанию — его вещью "Зеркало Монтачки"? Почему забыт Андрей Битов с его "Ожиданием обезьян", вещью страшно неровной, но принципиально значимой и для самого писателя, и для отечественной словесности в целом? Справедливо ли, что незамеченным остался глубокий саратовский прозаик Валерий Володин с его "поэмой стихий" "Паша Залепухин — друг Ангелов"? И стоило ли так демонстративно обходить молчанием псевдоисторический роман молодого писателя Михаила Шишкина "Всех ожидает одна ночь" — не до конца удавшийся, но имевший довольно широкий отклик?..

И сам себе отвечаю: все так, все верно, но это список, в котором тем не менее была своя жесткая, а отчасти и жестокая, логика.

Когда Лев Аннинский огласил шорт-лист в московском Доме ученых, то один из самых известных (и, может быть, самый сильный) прозаик предыдущей генерации, тоже имеющий некоторое отношение к Букеровской премии, сказал мне с легкой иронией: "Экий молодец Лев Александрович! Вы обратили внимание, с каким изяществом он смахнул со стола целое поколение? Раз — и нету."

Конечно: трое из шести претендентов не перешагнули еще сорокалетний рубеж; однако мне кажется, что жюри боролось не столько с (мнимым или нет) засильем "старших", не столько подыгрывало "младшим", сколько вообще разрушало сложившийся расклад литературных сил. Оно действовало без оглядки на привычные списки при-

жизненных классиков, поколенческую мифологию. Именно поэтому в шорт-лист попали писатели, в большинстве своем широкой публике неизвестные.

Единственная знаменитость, которой нашлось место в списке, это Булат Окуджава. Сейчас, когда я дописываю статью, окончательные результаты еще неизвестны. Но все-таки рискну предположить, что членам жюри важен был не текст Окуджавы, а его имя, освященное легендой. Им нужно было как бы продемонстрировать чисто платоническую любовь к "уходящей натуре" (кстати, так называется авторская телепередача Л. Аннинского), и предложить публике пройти дальше.

А "дальше" — то есть, всего на одну поколенческую ступень ниже, стоят Михаил Левитин, которого все мы ценим как режиссера, с симпатией относясь и к его новому увлечению, писанию прозы, и — питерский прозаик Игорь Долиняк. Присутствие Левитина в финальном списке — это, конечно, отнюдь не "сплошное неприличие", но все-таки больше аванс, чем расчет, проявление приязни, а не знак признания. Чего не скажешь о "Мире Третьем" Долиняка. Тут шутками не отделаешься.

Повесть Долиняка узнаваемо воспроизводит тематические и сюжетные ходы городской прозы 70-х годов; от того она отнюдь не становится хуже. Свежо авторское отношение к материалу, сильна авторская боль — на нее невозможно не отозваться. Послевоенный Питер... мальчик, живущий у тетки... дружба со сверстником из генеральской семьи... мечта о рыцарстве... преследования со стороны малолетних уголовников... воровская шайка... выбор между унижением и совестью... убийство. За исключением нескольких вкусовых просчетов, обнадеживающе крепкая и достойная проза.

Но делаем еще одни шаг "вниз": здесь плечом к плечу нас встречают три писателя из поколения тридцати-сорокалетних. Петр Алешковский. Юрий Буйда. Алексей Слаповский.

Отличный рассказчик, Буйда, по-моему, недосократил свою двухлистовую повесть "Дон Домино" и — получился

невероятно разжиженный рассказ об одиноком старике, расстающемся с последними соседями ("Евреи уезжают!"); о старике, который наплывами припоминает эпоху, продолжающую жить, пока жив он. Сумрачная, безысходная, безыдеальная атмосфера... рваное повествование... скучно. Некоторые мои коллеги восприняли появление имени Буйды в шорт-листе как еще одну издевку жюри (точнее, его председателя) — на сей раз над системой эстетических ориентиров нового поколения. Дескать, почему для кого-то должны быть сделаны исключения? Смазывать "карту будня", так смазывать до конца. Не знаю; не думаю; надеюсь, что это не так.

Но вот Алешковский со Слаповским — это очень серьезно.

Алешковский всем — стилистикой, сюжетикой, пафосом "Жизнеописания Хорька" — подчеркивает связь с деревенской прозой; это дает ему возможность предложить новые ответы на давние вопросы. Его герой рождается в мир страданий и нищеты, чтобы попытаться вырваться за пределы этого мира, как бы пройти через иные уровни бытия, вживиться в Природный и Божественный космос (символами которых оказываются Лес и Церковь) — и вернуться туда, откуда исходит страшная сила родового притяжения. Простота повествования, сюжетная динамика, сердечная атмосфера — все это говорит в пользу Петра Алешковского (впрочем, о некоторых стилевых сбоях его "Жизнеописания..." мне уже приходилось высказываться).

Алешковского и Слаповского роднит то, что они, без сомнения, стали самыми перспективными прозаиками своей генерации. В остальном они противоположны. Алешковский москвич — Слаповский саратовец; Алешковский подчеркнуто уважителен в обращении с церковными темами — Слаповский играет с ними на грани фола, в миллиметре от богохульства; Алешковский работает как неореалист — Слаповский сюрреалистичен. Его эстетика построена на сотрудничестве с законами авантюрного романа. До самого конца "Первого Второго пришествия"

читатель недоумевает: что же случилось с героями? они посходили с ума и потому отождествили себя с участниками евангельских событий? почему же тогда им всерьез удается претворение воды в вино? автор смеется над собой? над нами? над ними? над всеми?.. Ждите ответа.

Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Последний же будет смеяться тот, кого жюри назовет победителем[7].

И вообще — самое время договориться, что мы не относимся к премиальному принципу как к истине в высшей инстанции, данной нам в денежных ощущениях; что лауреатство не пропуск в обители славы, а не более, чем игра. Но и не менее. Что любое самое авторитетное жюри может ошибаться, поддаваться давлению общественного мнения, которое иной раз бывает пожестче постановлений ЦК; год на год не приходится, и роман, отвергнутый сегодня, завтра или вчера мог бы оказаться бесспорным лидером. (Единственное, чего никакое жюри не вправе себе позволять — это барственного пренебрежения черновой работой, чтением). Что многое зависит от устава премии: в одном случае (Букер) предполагается награждение частной литературной удачи, конкретного и свеженаписанного сочинения. В другом (Триумф, Пушкин-прайс) отмечается фигура, многолетние заслуги перед великой русской литературой, а упоминаемый в приговоре жюри текст может быть написан сколь угодно давно. Что в одном случае жюри нацелено на неожиданность, разрушение обойм, в другом — на подтверждение устойчивых (в том числе отчетливо-поколенческих) репутаций. И что это разнообразие принципов и подходов — единственно возможное состояние здоровой современной культуры.

[7]Лауреатом премии Букера за 1994 год стал Булат Окуджава, представивший на конкурс, как уже говорилось, роман "Упраздненный театр".

ЖИРИНОВСКИЙ И "СИ-БИ-ЭС"

Стенограмма диалога Бэрри Фарбера и Льва Наврозова

Кто такой Бэрри Фарбер?

Ведущий "разговорных радиопрограмм" в течение более 30 лет, автор ряда бестселлеров, полиглот, говорящий на 26 языках, включая русский, газетный обозреватель и общественно-политический деятель, баллотировавшийся в мэры города Нью-Йорка, Бэрри Фарбер недавно получил премию "Лучший ведущий года в электронных средствах массовой информации".

Возможно, во всех средствах массовой информации США, электронных и печатных, Бэрри Фарбер — самый неусыпный, последовательный и страстный борец за свободу всех стран и во всех странах против любых видов тирании, "правой" и "левой".

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей стенографическую запись одной из передач Бэрри Фарбера, посвященной поездке Владимира Жириновского в Соединенные Штаты Америки и его выступлению в телевизионной программе "Си-Би-Эс этим утром".

БЭРРИ ФАРБЕР: Говорит Бэрри Фарбер, и у меня, дорогие слушатели, большая к вам просьба. Забудьте на время все новости, которые вам сообщают средства массовой информации и которые вам кажутся настолько важными, что у вас кипит кровь или волосы на голове встают дыбом. Вы сейчас услышите новости, которые массовые средства не сообщают — и это преступление против человечества! Нет, дело не в том, что они левые или правые! Они... Это слово начинается тоже на букву "л", как и слово "левые". Они — л е н и в ы е , опасно и смертельно л е н и в ы е ! В США приехал Жириновский. Им было лень собрать документальные доказательства того, кто он такой и что он говорит с 1991 года, чтобы публично предъявить их ему, устроить дебаты с ним, разоблачить его. Их целью было лишь заполучить его, чтобы развлечь читателей, зрителей и слушателей.

В то время, когда остальные радио- и телеведущие гонялись за Жириновским, лезли к нему, отпихивая друг друга, чтобы заполучить его в свои программы, как они в свое время из кожи бы лезли вон, чтобы заполучить в свои программы Гитлера для всеобщего развлечения, если бы тот приехал в США, я бросился в обратном направлении, чтобы заполучить Льва Наврозова, который боролся с Жириновским в средствах массовой информации, когда еще никто в Америке не слыхал этого имени.

ЛЕВ НАВРОЗОВ: Высшим достижением Жириновского в западных СМИ является его выступление по телевизионной программе "Си-Би-Эс этим утром" 11 ноября 1994 года. Как только мне сообщили об этой передаче, я тут же позвонил в "Си-Би-Эс" и объяснил, что Жириновский не похож ни на одного политического деятеля, с которыми они до сих пор имели дело. Например, в России Жириновский и его сподвижники заявляют: документы о том, что его отец, Вольф Исаакович Эйдельштейн, еврей, — фальшивки, сфабрикованные его врагами. То же самое Жириновский подробно изложил в своей "Утренней беседе" с журналистом Козловским в эмигрантской русскоязычной газете "Новое русское слово".

А в израильской газете "Маарив" 11 января 1994 года Жириновский сказал: "Я никогда не скрывал того факта, что мой отец — еврей. Я горжусь этим". И далее: "90%, Бэрри, не 19%, а 90%, девять ноль! — членов моей партии — евреи". Хотя в списке, насчитывающем 200 кандидатов от партии Жириновского в Думу, вы не обнаружите ни одного имени, отчества или фамилии, которые звучали бы так же "подозрительно", как "Вольфович". Выступая же на пресс-конференции в ООН 10 ноября, Жириновский сказал: "Это выдумка журналистов, что кто-то из моих родителей еврей. Ну найдите мне родителя, который не русский, а еврей. Я с удовольствием его обниму и поцелую". И так далее, в том же духе.

Видите ли, США — не Израиль. Те, кто знают США изнутри, а, скажем, не из окна корпункта или посольства, знают, что в США весьма распространен скрытый антисемитизм. Поэтому бить себя кулаком в грудь, доказывая, что он почти что еврей, а в партии у него и вовсе "евреи, евреи, кругом одни евреи", Жириновскому в США ни к чему. В то же время евреи представляют собой в США влиятельную социальную группу. Поэтому предки Жириновского все как на подбор чисто русские, зато как ему хочется, чтобы отец у него был евреем! Обнял бы он его и расцеловал. Тут американских евреев должна аж слеза прошибить. Не еврей, а до чего ж ему хочется быть евреем!

Б.Ф.: То есть в России Жириновский антисемит, в Израиле еврей, а в США — умираю, хочу быть евреем. О чем же дальше вы говорили с "Си-Би-Эс"?

Л.Н. Я сказал им, что в суде прокурор предъявляет подсудимому, который лжет, доказательства того, что тот лжет. Возможно, Жириновский окажется тягчайшим преступником в истории человечества, если судить по его собственным заявлениям с 1991 года. Предъявите же ему доказательства! Вспомните, как вы предъявляли в своих интервью с Ричардом Никсоном доказательства его вины, когда добивались его импичмента! Предъявите Жириновскому упомянутый номер газеты "Маарив". У вас его нет?

Я вам пришлю с курьером все доказательства в подлиннике. Давайте, наконец, я сам к вам приеду и буду за кулисами. Как только Жириновский заявит, что, скажем, данный номер газеты "Маарив" — фальшивка, сфабрикованная его врагами, я выйду и предъявлю показания экспертов, свидетельствующие, что номер газеты — подлинный.

Б.Ф.: И что же "Си-Би-Эс"?

Л.Н.: А ничего! Ведь Жириновский — это не республиканец Ричард Никсон, которого Либерально-демократические СМИ горели желанием свалить. И вот, Бэрри, передо мной присланная мне официальная запись этой программы "Си-Би-Эс". Программа длилась два часа, с 7 до 9 утра. А Жириновский получил в ней... шесть минут! Для развлечения достаточно, а больше — зачем же?

Ведущий Смит говорит: "В печати сообщалось — и не без некоторого правдоподобия, что вы наполовину еврей?" Читаю ответ Жириновского на его ломаном английском языке, ничего не меняя: "Еврей — это новая программа, новая пропаганда против меня. Моя мать и отец были русскими. Если можно найти мне как родителя и как национальность, я бы гордился."

Смит: Гордились?

Жириновский: Я бы гордился, если бы мой отец или мать были другой национальности, а не Россия.

Смит спрашивает: "Вы — фашист?" И Жириновский отвечает на своем английском: "Нет. Никогда. Ни фашизм, ни коммунизм, ни руссизм (он имеет в виду расизм — Л.Н.), ни национализм".

Смит спрашивает о его антисемитизме. Вот ответ:

"Мы не имеем ничего против евреев в нашей стране, но в России у нас теперь есть антисемитские юмористы, антисемитское намерение..."

Смит: Включая вас?

Жириновский: Не включая меня. Не!..

Так пролетело шесть минут. Телезрители позабавились смешным английским языком. "Настоящий клоун, этот русский, как его фамилия?"

Такими были все радио- и телепередачи или статьи на эту тему. Мне не известен ни один случай, когда какой-либо ведущий электронной программы или автор печатной статьи представил бы Жириновскому какое-либо документальное доказательство того, что тот без конца врет.

А чем больше он будет врать на своем смешном английском языке, тем будет забавнее. Ведь русский он! А русские вообще смешные, и никто не поймет, что у них там такое творится. Говорят, всем правит уголовная мафия. Или, что все равно военные скоро придут к власти. Или, что Ельцин, Жириновский, Гайдар, Козырев, Руцкой и прочие — все заодно, все они русские шовинисты, коммунисты и воры, а Западу нарочно морочат голову своими якобы разногласиями. Какое же имеет значение, что там Жириновский врет? Было бы колоритнее, экзотичнее и смешнее!

Б.Ф.: Вас удивило это отношение?

Л.Н. Отнюдь нет. Американские средства массовой информации всегда были погружены в свои чисто внутренние (американские) интересы. До 1933 года Гитлер в США считался клоуном. С очень смешными усиками, как у Чарли Чаплина. Когда же он стал рейх-канцлером после того, как его партия получила 37% голосов на выборах в Рейхстаг, "Нью-Йорк Таймс" сообщила эту новость под таким заголовком: "Гитлер отказался от своей, прежней цели стать диктатором".

Б.Ф.: Не может быть!

Л.Н.: Статья у меня в архиве. Газета имела в виду, что диктатор — это как Муссолини: мятежник, который совершает крестовый поход на столицу. А рейх-канцлер — это степенный государственный деятель, и Гитлер назначен им по всем законам и правилам. Импичмент Ричарда Никсона — вот тут были свои чисто внутренние партийные интересы, и пощады ему не было. Журналисты знали о нем все и документировали любую мелочь. А Гитлер до 1939 года или Сталин до 1947 года, или Жириновский в

1994 году — это экзотика, о которой можно ничего не знать.

Б.Ф.: Техасская газета опубликовала сообщение о гибели "Титаника" под таким заголовком: "Жительница Техаса погибла на борту океанского лайнера".

Л.Н.: Что ж, вот если бы жительница Техаса погибла по вине Жириновского, тогда бы американские СМИ заинтересовались: "Жительница Техаса погибла по вине русского". А то, что по вине Жириновского, возможно, погибнет человечество, — это дело далекое, отвлеченное и никому не интересное.

Б.Ф.: А как наше правительство? Разделяет ли оно, по-вашему, это легкомысленное равнодушие к Жириновскому?

Л.Н.: Насколько я могу судить, нет. ФБР просило меня даже представить им досье на Жириновского. Что я и сделал. В нем по крайней мере содержатся важнейшие документы. Они мне также задали множество вопросов. Относятся они к Жириновскому как к возможному сверх-Гитлеру и сверх-Сталину.

Б.Ф.: Я помню, вы получили сведения, что "соколы Жириновского" упорно пытаются разузнать ваш адрес в США.

Л.Н.: Да, ФБР предложило мне свою квартиру ради безопасности. Они-то понимают, что от Жириновского можно ждать всего, что угодно, от уничтожения человечества до уничтожения одного человека. Однако, в демократическом обществе представление, которое создают средства массовой информации у населения, тоже очень важно.

Б.Ф.: Ну, а как русские эмигранты в США? Для них-то Жириновский не пришелец из космоса, и Россия ближе, чем Марс!

Л.Н.; На русском языке даже не существует слова "дебат" в единственном числе. Есть только "дебаты". Например, "дебаты в Палате общин". Многие русские уверяют меня, что дебатировать с Жириновским — это недостойно, бесполезно, да и невозможно потому, что он

хам, хулиган, нахал, врун, бандит, фашист и так далее. Они просто не понимают, как организуются подобные дебаты в США. Каждому дается, скажем, по две минуты, и в свои две минуты Жириновский может хамить, петь, свистеть, рыдать, биться в судорогах, но это ему не поможет, когда настанут две минуты его противника.

Б.Ф.: Как же русские рассчитывают остановить Жириновского?

Л.Н.: Никак. Мне звонит московский журналист: "Мы ужасно встревожены после его успеха в США, ясно, что Жириновский идет к власти". И это — сотрудник одной из крупнейших газет! Когда Жириновский попросил визу в США, мне прислали пачку писем и статей эмигрантов для эмигрантской прессы. Я ее принес — вот она. Все письма о том, как побудить Госдепартамент не дать визы Жириновскому, а о том, как устроить дебаты с Жириновским, как его разоблачить, опровергнуть, в них нет ни намека. Демонстрации? Пожалуйста! Десять тысяч человек будут привезены в автобусах на демонстрацию, которая обойдется в 1 миллион долларов. Но что это докажет? Что одна двухсотая 1 процента населения США — против Жириновского? Сам же Жириновский весьма разумно сказал по этому поводу в той же программе "Си-Би-Эс": что, дескать, не может и не должно все население США быть за Жириновского. "Нормально! — сказал Жириновский. — Это демократия, если кто-то протестует против моего приезда, против моей речи здесь в США..." Словом, счет 1:0 в пользу Жириновского!

Зато русскоязычные газеты, радио и телевидение очень любят интервью с наци-коммунистами, ибо их интервью не требуют ни ума, ни таланта, ни знаний — ничего. Если бы Гитлер приехал в США где-то между 1923 и 1939 годом, то эти интервью выглядели бы так: вопрос о том, антисемит ли Гитлер, занял бы три строки, а уверения Гитлера, что он не антисемит, — триста строк.

Б.Ф.: Если бы "Си-Би-Эс этим утром" все же милостиво согласилась принять у вас документы для предъ-

явления их Жириновскому и показа на экране, что именно вы бы послали?

Л.Н.: В моем распоряжении семь групп документов.

Группа 1. Уже в ходе своей предвыборной кампании 1991 года Жириновский заявил избирателям, что он пригрозит Западу взаимным уничтожением, и тогда Запад выполнит его волю, подобно пилоту пассажирского самолета, выполняющего волю террориста, который пригрозил взрывом самолета, в результате чего погибнет и пилот с экипажем и всеми пассажирами, и сам террорист.

Б.Ф.: То есть глобальный террористический шантаж. Сдавайся, а не то вместе погибнем! Глобальный терроризм.

Л.Н.: И около трех лет спустя Жириновский выдвигает, в сущности, тот же глобальный терроризм в газете "Завтра" (февраль 1994, No 6 (11), с. 2.) Вот этот экземпляр газеты. На вопрос: "Будет ли XXI век "русским веком", Жириновский отвечает:

"Вот здесь и появляется новый фактор, не использованный коммунистами на последнем этапе, когда было уже ясно, что коммунистического мира не будет. И демократы его тоже не использовали. Нужно сделать так, чтобы нам, русским, заплатили за то, что мир спасен нами от всеобщей катастрофы — возможной третьей мировой войны и экологической тоже. Мы должны именно показать миру, что не будем опять просто так жертвовать русским народом. Мы должны заставить их сначала заплатить нам за понесенные жертвы, за то, что они способствовали разрушению Русского государства. Только на этом мы выйдем вперед.

И для этого мы должны использовать остатки Российской империи и коммунистического СССР — мощную военную промышленность, мощное оружие, героический дух русского народа, но не подставляя лбы русских парней под пули и не укладывая наших дочерей в постели всех борделей Европы. Именно через мощный фактор возрождения русской военной промышленности, когда мир должен находиться в таком состоянии постоянной возможности страшной войны. Мы ее не начнем, но Запад должен понять: чтобы этого не случилось, надо заплатить сегодня, вернуть долги русским."

Б.Ф.: То есть, давай деньги, а не то произойдет страшная война! Как называется оружие, которым хвастал Жириновский?

Л.Н.: Бэрри — дело не в "элиптоне". До 1992 года в России шла полным ходом разработка советского глобального сверхоружия, включая сверхчуму. Я, кажется, был на Западе единственным гласом вопиющего в пустыне, пытаясь обратить на него внимание. Под сверхоружием я имею в виду оружие, которого у противника нет и против которого у него нет защиты. США обладали ядерным сверхоружием с 1945 по 1949 год, но воспользовались им только для того, чтобы заставить Японию капитулировать. Как только Жириновский придет к власти, он снова даст полный ход вперед разработке сверхоружия, и, возможно, ему не придется грозить миру в з а и м н ы м уничтожением. Возможно, он будет в состоянии грозить Западу уничтожением без риска самоуничтожения.

Что касается угроз Жириновского уничтожить отдельные страны, то его апологеты объясняют Западу эти угрозы как шутки, эпатаж, актерскую игру. Что ж, в этом смысле и уничтожение человечества — это тоже только шутка. Нажал кнопку ради смеха — и человечества нет: вот потеха!

И это подводит нас ко второй группе документов. Вот журнал "Сокол Жириновского" №3, 1992 год, с. 14, статья Алексея Митрофанова, который и поныне является министром иностранных дел теневого кабинета Жириновского. Заглавие: "Наша линия — разумный эгоизм, наша цель — мировое господство". Цитировать, думаю, излишне.

Трагикомично, что в своих встречах с Жириновским американские журналисты спрашивали, желает ли он присоединить к России Польшу, Финляндию и Аляску. Дело идет о мировом господстве! Что ж тут говорить об Аляске? У партии Жириновского есть герб. Смотрите: он во всех ее печатных изданиях и на всех ее официальных бумагах. А на этом гербе Польша, Финляндия и Аляска уже являются частью России. Не только всемирной империи Жири-

новского, а именно России, то есть метрополии этой империи.

Б.Ф.: А третья группа документов?

Л.Н.: Это не группа документов, а известная (многим) книга "Последний бросок на Юг", изданная тиражом в 75.000 экземпляров. Захват "Юга", включая Турцию, Афганистан и Иран, произойдет, по мысли Жириновского, без угрозы уничтожения Запада, а как военно-спортивный марш-бросок, разминка, парад. Любо-дорого читать набранный курсивом заключительный текст книги:

"Я вижу русских командиров в штабах русских дивизий и армий, прочерчивающих маршруты движения войсковых соединений и конечные точки маршрутов. Я вижу самолеты на авиабазах в южных округах России. Я вижу подводные лодки, всплывающие у берегов Индийского океана, и десантные корабли, подходящие к берегам, по которым уже маршируют солдаты русской армии, движутся боевые машины пехоты, передвигаются огромные массы танков."

Четвертая группа документов — это документы об антисемитизме самого Жириновского лично.

Б.Ф.: Несмотря на отца-еврея.

Л.Н.: Вероятность, что дед Гитлера был евреем, не помешало Гитлеру уничтожить шесть миллионов мирных жителей, которых он счел евреями, и еще шесть миллионов мирных жителей, которых он не счел евреями. Вот речь Жириновского в день открытия Думы в феврале этого года, в которой он говорит, что его "здоровье нужно всему русскому народу, который не kartavit..." Не kartavit значит не раскатывает "р", как русские, а произносит его как немцы или французы, но для русских антисемитов это значит, "как евреи".

Б.Ф.: Жириновский высмеивает это произношение, как белые расисты высмеивают южное американское произношение, считая, что это "негритянский акцент".

Л.Н.: Теперь пятая группа документов. Это призыв Жириновского 21 февраля 1994 года составлять "черные списки" тех, кто подлежит уничтожению после его прихода к власти.

Б.Ф.: В такие списки может угодить любой.

Л.Н.: Еще бы! Надо выжить соседей из квартиры — в черные списки их! Миллионы людей, желающих таким образом свести счеты, проголосуют за Жириновского, который позволит им уничтожить своих соседей, недругов и соперников. Последнее подводит нас к шестой группе доказательств. Речь идет о том, что Жириновский еще в 1991 году объявил о своем намерении расстрелять после своего прихода к власти 100 тысяч человек. Это заявление стало достоянием газет, радио и телевидения всех стран мира. Даже журнал "Тайм" 11 июля 1994 года дал к своей статье о Жириновском врез с цитатой о его планах осуществить такой массовый расстрел. Но во время его пребывания в США никто даже не напомнил ему об этом факте, записанном на компьютерных дисках всех крупных средств массовой информации.

Наконец, седьмая и последняя группа документов — связи Жириновского и его партии с нацизмом. Прежде всего его партия единогласно избрала его диктатором. Выбрано именно слово "диктатор". А возьмите фотографии его объятий с нацистами. Таких фотографий бесконечное множество, и эта его дружба отнюдь не донкихотство: ведь нацизм, неонацизм и фашизм — на подъеме в материковой Европе. В том же номере "Сокола Жириновского", который я уже цитировал раньше, рядом со статьей Митрофанова — статья, которая называется "Раса и факты". Мы узнаем, что "необходим новый расовый генезис, в результате которого каста славяно-русов восстановит древнее Знание о Природе как арийском космосе..." И так далее в таком же духе.

Б.Ф.: Каков же итог пребывания Жириновского в США?

Л.Н.: Благодаря американским СМИ, многих американцев Жириновский успокоил. Если бы завтра возникла угроза его прихода к власти, вряд ли бы они сильно всполошились. Он — странная птица, но ведь в России все странно. Однако Жириновский приехал в Америку не столько ради одурачивания США, сколько ради получения новых голосов в России. В России он создает впечатление, что за океаном ему был оказан "королевский

прием". Он выступал в двухчасовой программе "Си-Би-Эс", одной из трех крупнейших телевизионных компаний США! Мало кто в России узнает, что был он на этой программе всего шесть минут в облике появившегося на экране русского клоуна, который потешал зрителей своим английским. У США высокий престиж в России, и "королевский прием", якобы оказанный Жириновскому в США, побудит многих из них отдать ему голоса. Дескать, уважают его в Америке за то, что он собирается установить наше русское мировое господство. Уже сейчас чуют в США нашу будущую всемирную силу и заранее встают перед ним на задние лапки.

Б.Ф.: В оставшееся время давайте выслушаем хотя бы одного радиослушателя. Кристина, город Ричланд, штат Вашингтон. Прошу вас!

КРИСТИНА: Я знаю, как трудно объяснить американцам, что происходит в других странах. Что касается "Си-Би-Эс", то украинцы вот уже несколько недель пытаются убедить эту телевизионную компанию дать им возможность опровергнуть ее клеветнические измышления. Но пока безуспешно. "Си-Би-Эс" считает себя всеведущей по части всего, что происходит во всех странах. Я была в Сан-Франциско, когда Жириновский — как бы это сказать? — откалывал там свои номера. Были демонстрации против него, в газетах уделили ему много места, но ни у кого не было возможности бросить ему вызов в средствах массовой информации, вызвать его на полемику. А в "Новом русском слове" Козловский выступает как апологет Жириновского.

Л.Н.: Вы, вероятно, заметили новый штрих в "Утренней беседе" Жириновского с Козловским. Последний теперь называет Жириновского "Вов".

Б.Ф.: Вов?

Л.Н.: Ну да, Вов. В-о-в. Вова — уменьшительно-ласкательно-фамильярно, а "Вов" — это уж совсем нежно, слезы даже навертываются при виде такой нежной дружбы.

"МНЕ ПОМОГАЛИ ДВЕ ВЕЩИ: ПОДДЕРЖКА ДРУЗЕЙ И ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ В РОССИЮ"

Интервью Андрея Кончаловского, данное нашему корреспонденту Сергею Рахлину в Лос-Анджелесе

Когда я еду на машине по каньону Голдуотер, то взор мой невольно приковывает расположенный за густой растительностью дом, где когда-то жил и работал Эйзенштейн, которого Сталин угрозами заставил вернуться домой.

В тридцатых годах Сергей Эйзенштейн пытался взять штурмом Голливуд, но не преуспел в этом. Его сценарии "Золото Зуттера" и "Американская трагедия" по Теодору Драйзеру так и остались непоставленными. Дом Эйзенштейна я знаю только по фотографиям, зато побывал я в гостях у другого русского режиссера, поселившегося в Голливуде, Андрея Кончаловского. Некоторое время назад режиссер, правда, заявил, что будет жить в России. Что

ж, время покажет. А пока его дом, выстроенный в фешенебельном районе Лос-Анджелеса, в стиле русской дворянской усадьбы (его "Дворянское гнездо" — один из моих любимых фильмов), выглядит как живое свидетельство того, что Андрей Кончаловский нашел себя и свое место в Америке, хотя он никогда и не порывал с Россией.

Кончаловского по праву можно назвать патриархом русских кинематографистов в Голливуде. Не потому, что он стал неким лидером выходцев из СССР, попавших в американское кино. Критерием его успеха стали сделанные им в Голливуде фильмы, список которых я хотел бы привести: "Любовники Марии", "Тихие люди", "Сбежавший поезд", "Гомер и Эдди", "Дуэт для одного", "Танго и Кэш" и, наконец, "Ближний круг". Будучи американскими, все эти фильмы имеют вполне уловимый "русский акцент", и только последний "Ближний круг" по своей теме — русский: о Сталине и его окружении, хотя картина делалась в Голливуде и главные роли исполняют американцы.

Рассказом об этом фильме — лучшем из всех, что сделал режиссер в Голливуде, — я хотел бы предварить приводимую ниже беседу с Кончаловским. "Ближний круг" — последний и самый отточенный гвоздь, забитый искусством в гроб коммунистической идеи. Герой фильма — киномеханик Сталина Иван Саншин (Том Халс) — клинически типичный экземпляр "хомо советикуса" — на первый взгляд маленький человек из подполья Достоевского — волей судьбы был приближен к Сталину (Александр Збруев). Далее все по Фрейду — чем ближе он к Сталину, тем страшнее, тем более он боится вождя и его "ближнего круга". Сам по себе этот "ближний круг" бесконечно ничтожен и комичен. Но они-то — все эти ворошиловы, калинины, маленковы, молотовы, кагановичи — как раз и получили во власть великую страну для того, чтобы ее раздавить и изнасиловать. Избрав для своей картины, в основном, камерную форму, режиссер придает ей масштабы эпопеи. Не случайно по своему классу и философской глубине "Ближний круг" не может сравниваться ни с чем, даже самым интересным "на эту тему", созданным на родине Кончаловского. Но фильм этот появился позже, а каким было начало? Что тогда, в конце 70-х годов, значило быть русским в Голливуде?

— В те годы, — рассказывает Кончаловский, — к человеку, приезжавшему из России, здесь могли относиться по-разному. Если человек был эмигрантом, то он как бы сразу обретал вторую родину. Свое отношение было у американцев и к диссидентам, гонимым из России. Поскольку я не был ни эмигрантом, ни диссидентом, то не вписывался ни в какие рубрики. И отношение ко мне зачастую бывало довольно странным: раз ты не эмигрант и не диссидент, то значит — советский агент.

Что мог подорвать Кончаловский в Голливуде? И тем не менее радикальная (по американским понятиям) еженедельная газета, распространяемая бесплатно "L.A. Weekly" поместила тогда статью о Кончаловском с фотографией на обложке и с намеками на то, что он агент КГБ.

Некоторое время назад в Москве был опубликован список деятелей культуры, за которыми велась слежка, и Кончаловский, с некоторым для себя удивлением, обнаружил, что включен в этот список.

Режиссер рассказывает, если бы его не отпустили тогда из России, что было достигнуто ценой больших усилий, то он наверняка стал бы диссидентом. Но вместо того, чтобы бороться с режимом, ему пришлось сражаться за признание в Голливуде.

— Мне очень хотелось начать ездить по свету. И когда я попал в Голливуд (меня привез французский продюсер), то почувствовал себя так хорошо, как нигде, разве что на террасе маминой дачи. Вскоре был организован просмотр моих картин "Сибириада" и "Первый учитель" и после просмотра ко мне подошел известный актер Джон Войт, с которым я был уже знаком, и сказал мне, что хочет работать со мной. Так что в Голливуд я попал, можно сказать, благодаря Джону Войту, моему другу и по сей день.

Продолжительность и прочность такой дружбы особенно примечательна, поскольку в Голливуде дружбы часто бывают непрочными и поддерживаются из выгоды. Позже Джон Войт снимется у Андрея Кончаловского в получившем признание фильме "Сбежавший поезд" и будет выдвинут на "Оскара" за лучшее исполнение главной мужской роли.

А до этого Войт станет первым в Голливуде человеком, который закажет Кончаловскому сценарий и, хотя и скромно, но оплатит его. Фильм по этому сценарию так никогда и не состоялся, но деньги, полученные за него, помогли Кончаловскому "продержаться".

Ситуация у режиссера была сложная. К нему продолжали относиться с определенным недоверием. С другой стороны, как он сам говорит:

— У меня была масса иллюзий. Наверное, у каждого человека, который едет в Голливуд, есть какие-то амбициозные планы, особенно если он уже работает в кино. Голливуд похож на карусель. Все стоят в очереди и хотят получить билет на эту карусель. Но это сложно, а карусель крутится. И чтобы на нее попасть, нужно упорство, нужна удача и определенная уверенность в себе. И оптимизм. Иллюзии мои были связаны скорее не с Голливудом, а с самим собой. Я все-таки был к тому времени известным режиссером с определенным восприятием самого себя. Я к моменту приезда в Голливуд проработал в кино около 25 лет. Были премии, только что тогда я получил в Каннах специальный приз жюри (вторую по значению награду — С.Р.) за "Сибириаду". В Европе меня знали. Я думал, что и здесь знали, а оказалось, что я никому абсолютно не известен, кроме совсем уж узких специалистов по советскому кино.

Тут Кончаловский рассказал случай, когда в одной голливудской компании зашел разговор о русских фильмах, то собеседник назвал "Доктор Живаго" и "Николая и Александру" — "чисто американскими картинами на русские темы".

Режиссер понимал, что приехал не в пустыню, а в

особый мир, который занят самим собой. Не работая в Голливуде, его нельзя познать. Но тайна этого познания все-таки не за семью печатями. Ведь работают в Голливуде сегодня: немец Вольфганг Петерсон, голландец Поль Верховен, не говоря уже о представителях англоязычных стран — англичанах Ридли и Тони Скоттах, австралийце Филиппе Нойсе и многих других.

Всем им было гораздо легче, чем Кончаловскому, пробиться. Даже поляку Роману Поланскому. Россия тогда, когда Кончаловский начинал в Голливуде, была еще врагом.

— Но я благодарен судьбе, — говорит А. Кончаловский, — что она дала мне возможность учиться многому. Я в России чувствовал себя старше, чем здесь, потому что мне казалось, что я все знаю. Я ведь был профессор, читал лекции студентам. А здесь, в Голливуде, я начал все как бы сначала, начал учиться, а не учить, и это, конечно, очень продлевает ощущение молодости. Случалось оказываться и без работы. Мне помогали две вещи — поддержка друзей и обратный билет в Россию. Я ведь мог уехать. Роль блудного сына ведь всегда можно сыграть. Но после двух лет пришло чувство, что я заплыл слишком далеко и что уже виднеются берега Голливуда. К трем годам я понял, что недостаточно иметь хорошие идеи, нужно уметь их продавать. Нужно быть дипломатом, нужно уметь убеждать людей. Здесь, в отличие от России, все знают, что можно, но никто не знает, чего нельзя. Все можно, только надо, чтобы это было оправдано коммерчески. Надо быть, я бы сказал, достаточно смекалистым, надо искать формулу, по которой эта идея, этот сценарий может быть принят продюсером.

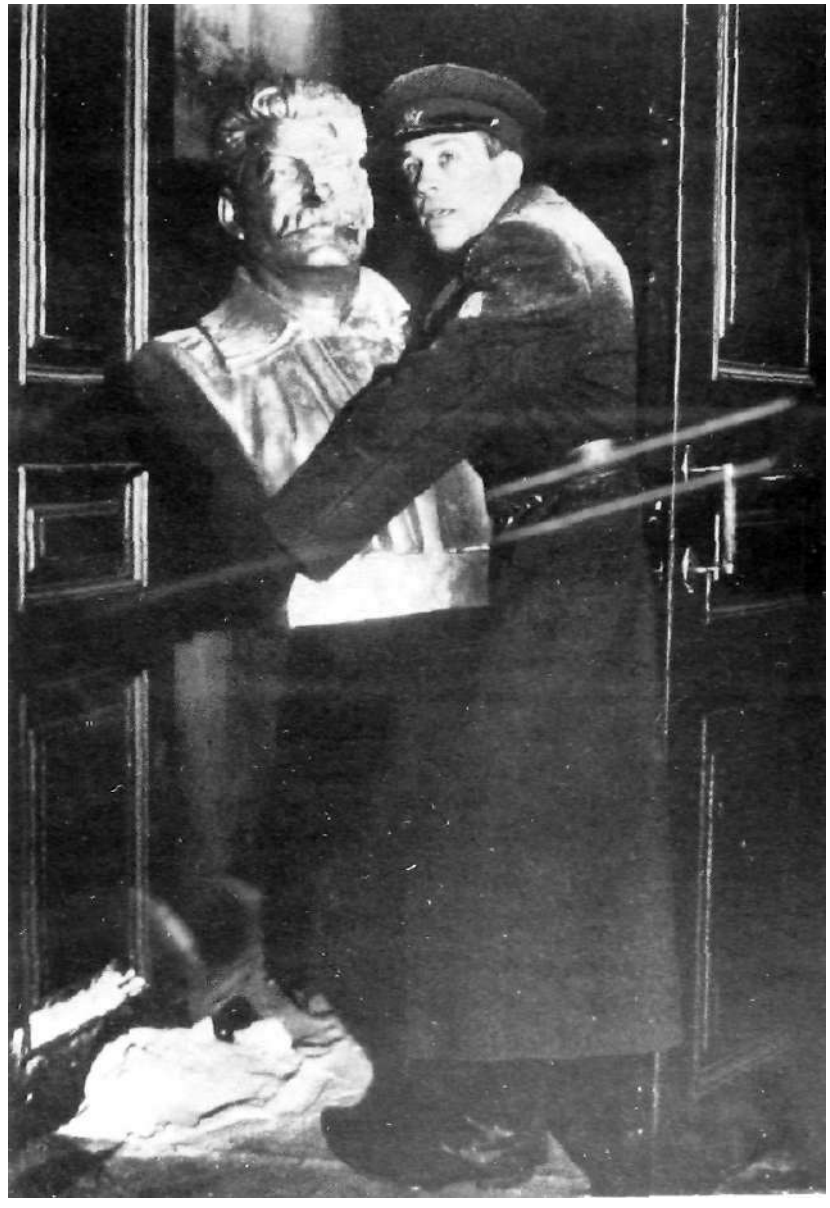
Следующий мой вопрос к Кончаловскому, какой у него в Голливуде "статус", что здесь говорят, услышав фамилию "Кончаловский"?

— Голливуд ко мне относится с некоторой опаской. Почему? Боятся нескольких вещей: что я неуправляем, что не всегда делаю свое дело в полном согласии со студией. Считают, что я свои человеческие и художест-

венные принципы могу поставить выше интересов студии. (Что и случилось во время съемок фильма "Танго и Кэш" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, когда продюсеры поручили завершить картину другому режиссеру. Но большую часть фильма снял Кончаловский, его имя осталось в титрах, а фильм собрал 150 миллионов долларов в мировом прокате. — С.Р.) Есть много продюсеров, которые хотят со мной делать фильмы. Я себя в Голливуде больше не чувствую инородным телом. У меня есть друзья, есть люди, с которыми у меня очень хорошие отношения. И все-таки здесь ты стоишь ровно столько, сколько принесла твоя последняя картина. Если она неудачная, то найти новую работу нелегко, если удачная, то, чтобы о ней ни писали критики, пусть даже ругали, но она принесла деньги — и работа будет. В Европе каждая картина делается "поштучно", Голливуд — во многом фабрика. Режиссеров и сценаристов пруд-пруди.

В заключение я спрашиваю, добился ли он успеха в Голливуде, Андрей Кончаловский ответил:

— Я знаю, есть еще следующий этап, когда любая студия будет готова рассмотреть твой проект и взять его. Такого я не достиг, но верю, что смогу этого добиться.



Кадр из фильма "Ближний круг".
Иван Саншин спасает бюст Сталина во время бомбежки

Кадр из фильма "Ближний круг"

Александр Ганшин (справа), который работал киномехаником у Сталина, и чья история вдохновила Кончаловского на фильм "Ближний круг", рядом с героем фильма Иваном Саншиным (Том Халс)

Иван Саншин (Том Хале) и его жена Анастасия (Лолита Давидович) — обыкновенные люди, всю жизнь испытывающие на себе давление сил "ближнего круга"

Кадр из кинохроники: Сталин и его "ближний круг" в Кремле

А. НЮРНБЕРГ

РАССКАЗЫ СТАРОГО ХУДОЖНИКА

Опубликованные в 124-м номере "Рассказы старого художника" вызвали много откликов у наших читателей. По их просьбе мы решили продолжить эту публикацию и напечатать в этом номере некоторые другие документальные истории А. Нюрнберга, прожившего необыкновенно интересную и насыщенную событиями жизнь.

I. ДОМА

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ

...Сентябрьское утро. Я стою у открытого окна и по старой фотографии рисую портрет празднующего двадцатилетие общественной деятельности городского головы богача Пашутина.

Окончание. Начало см. в №124.

На двух связанных камышовой веревкой стульях, служащих мне мольбертом, большая кухонная доска. На доске белая, плотная бумага. Рисую цветными карандашами.

Портрет продвигается мучительно медленно. В лице Пашутина нет ничего такого, чем можно было бы увлечься. Круглая одутловатая маска. Под сонными, никогда не знавшими ни смеха, ни слез глазными щелями большие мешки. Двойной подбородок. Время от времени, отрываясь от надоевшего портрета, я сажусь на подоконник и жадно разглядываю яркую картину украинского базара. Видно, как с утра подвыпившие крестьяне лениво стаскивают с гор изумрудных арбузов и лимонных дынь рваные рогожи... Как в один ряд выстраиваются подъехавшие огромные арбы с пламенными помидорами, синими сливами и винно-красными яблоками... Как толстые торговки в цветных платках на столах расставляют огромные горшки с горячими "пшенниками" (кукурузами)...

Над все этим — ярко сияющее, бездонное, нежно-голубое небо. Утренний ветерок доносит сладкие запахи спелых овощей и фруктов. И волнует меня.

Нестерпимо хочется выскочить из окна и броситься в гущу базара.

— Сынок, — слышу я шепот отца, — не отвлекайся. Времени осталось немного. Через три дня юбилей, а после него твой портрет никому не нужен.

Отец сидит в старом кресле и курит толстую папиросу.

— Портрет, — добавляет он полушепотом, — принесет тебе, молодому художнику, деньги и доброе имя... Весь город заговорит о тебе.

Сегодня двенадцатый день однообразной, утомительной работы. Бывают дни, когда мне кажется, что ей конца не будет, что курносый толстяк навсегда поселился в нашей семье и никакой силой его не выгнать.

Часто к вечернему чаю к нам приходил друг отца — Марк Грушко. Высокий, сухопарый старик в больших оловянных очках. Степенно усевшись в отцовском кресле, он несколько минут отдыхал и потом начинал рассказывать свои бесконечные удивительные истории о людях, встре-

чавшихся на его длинном и нелегком пути. Истории он ловко смешивал с притчами и афоризмами, наделяя все это грустным, искрящимся юмором.

Порой мне казалось, что передо мной замечательный артист. Я любил его голос — мягкий и успокаивающий, любил его мимику, таящую в себе дружественность, но больше всего покоряли меня его руки: тонкие и страстные. Впервые в жизни я понял, что руки — второе лицо. Есть руки, насыщенные добротой, героической красотой, эгоизмом, ревностью и страданиями... И не зря великие портретисты рукам модели придавали важное психологическое значение. Портрет модели без рук казался им неполноценным.

Грушко привил мне романтическую любовь к некогда жившим и мужественно страдавшим безвестным людям. К их легендарному свободолюбию, трудолюбию, благородным обычаям и веселым нравам. Обычно свои истории он заканчивал крылатой фразой:

— Они не знали ни горького хлеба, ни тяжелой смерти.

Отец высоко ценил светлый ум и согревающий юмор Марка Грушко. "Его юмор, — говорил отец, — почти тот же ум, но с приправой совести, а совесть — золото"...

Обычными темами их бесед были: библия, политика и искусство. Когда дело касалось картины или рисунка, отец, чтобы получить авторитетную консультацию, обращался к Грушко. И теперь, чтобы правильно оценить мою работу, отец почтительно спросил его:

— Что вы, дорогой Марк, думаете о портрете Пашутина?

С минуту Грушко молчал, потом, вскинув голову и актерски щуря левый глаз, произнес:

— Портрет, по-моему, идет хорошо. Вашему сыну удалось передать морду этого сытого мопса... но я кое-что в портрете изменил бы...

Тут Грушко живо расстегнул свой длинный сюртук и из кармана бархатного пиджака достал оставивший в моей памяти яркий след свой знаменитый портсигар. Чудо ювелирной работы! На крышке в овальной рамке тонкими

и смелыми штрихами была выгравирована сказочной формы птица с красиво изогнутым хвостом и фантастическим золотым гребнем. Чувствовалось, что гравер был большой художник и в работу вложил всю свою богатую душу. Грушко, конечно, знал цену своему портсигару. Медленно открыв его, он вынул самодельную папиросу, долго мял ее и, артистически закурив, вдохновенно сказал:

— Во-первых, я ему глазные щели открыл бы. Пусть он увидит мир и людей. Ведь живет он, как слепой... Во-вторых, я ему на мундире вместо пуговиц нарисовал бы, знаете что? — И, не дождавшись ответа, сказал: — Золотые червонцы.

Сдерживая улыбку, отец ответил:

— Вы, дорогой Марк, шутите, а я хотел бы от вас услышать что-нибудь дельное.

— Вы, мой друг, верите, что этот разжиревший мопс способен понять искусство и помочь вашему мальчику? Какое непростительное легкомыслие! Вы затеяли пустое дело. Пашутин, как и все богачи, скуп, и за ваш портрет больше рубля не даст. Вы хотите в кредит получить счастье? Наивная мечта!

Отец с Грушко не соглашался и Пашутина брал под свою защиту.

— Пашутин, — подбадривал себя отец, — известный богач и всеми уважаемый городской голова.

— Не смешите меня, дорогой Майор! — ответил Грушко.

После острого спора о роли мецената в жизни бедного молодого художника отец и Грушко степенно усаживались позади меня и пристально рассматривали в "кулачок" мою работу. Нравилось мне, что свои высказывания они украшали веселыми анекдотами и изречениями из священных книг. Отец, считавший себя слабым знатоком изобразительного искусства, обычно следил только за чистотой работы. Его безобидные замечания касались того, чтобы не "чернить щеку" и "убрать на воротничке и манжетах грязные штрихи".

— Почему, — говорил он, — на картинах известных художников я никогда не видал мазков и штрихов! Хорошая художественная работа должна иметь поверхность гладкую, как шелк.

Марка Грушко, как большого знатока искусства, увлекали психологические стороны работы.

— Главное в портрете глаза! — вдохновенно говорил он. — Все в них! Настоящий талант всегда виден в умении изображать глаза, их душу.

И дружески подталкивая меня локтем в спину, он с жаром добавлял:

— Дайте мне такие глаза, чтобы я мог сразу догадаться, кто изображен на портрете: добрый или злой человек, честный, благородный или делец, аферист... Поняли меня?

Эффектной концовкой его художественной критики обычно был увлекательный рассказ об одном воре, который забрался в богатую квартиру, наворовал много ценных вещей и уже собирался с ними удирать, но...

Вглядываясь в лицо отца, Грушко замолкал, после минутного молчания он затягивался папиросой и, понизив голос, продолжал:

— Вдруг вор случайно взглянул на висевший на стене портрет и растерялся... из глубины портрета глядели такие пронизывающие глаза, что вор не выдержал их взгляда, бросил награбленное и панически бежал...

— Вот что значит большой художник, — с торжеством заканчивал он свой излюбленный рассказ. В влажных глазах Грушко светился восторг.

Мать не любила Грушко. Ее оскорбляли его богохульство, нескрываемый веселый цинизм, но она избегала с ним заводить споры, боясь его острого языка. Бывали, однако, дни, когда ее терпение не выдерживало, и тогда, срываясь со стула, она кидала на пол недовязанный чулок со спицами и, угрожающе простирая цинику свои гордые руки, гневно цедила:

— Когда у вас, богохульник, язык одеревенеет?

Остановившись в дверях, она с покрасневшим лицом шепотом добавляла:

— Вы в аду сгинете!

— А я, — язвительно отвечал Грушко, — в рай никогда не стремился... там, бывалые и умные люди говорят, одни благочестивые, выжившие из ума старухи...

Отец дружески брал Грушко под руку и подчеркнуто любезно уводил его на веранду. Почтительно усадив своего разволновавшегося друга на диван, отец начинал с ним вести беседу на какую-нибудь интересную тему: о судьбе Государственной Думы, или о том, было ли у царя Соломона действительно тысяча жен и как он с ними уживался. Грушко успокаивался и охотно втягивался в беседу.

Портрет, наконец, окончен. Я близок к счастью. В последний раз разглядываю свою многострадальную работу. Нахожу ее неплохой. Мне кажется, что удалось уловить сходство. Лицо вытушевано мягко, чисто. Воротничок и манжеты, словно январский снег, ослепительно белы. На новеньком мундире восемь сияющих пуговиц и четыре медали. Одно только меня беспокоит — злая фраза Грушко: "Твоему сыну удалось передать морду этого сытого мопса". Что делать, чтобы смягчить это предательское выражение? Может, чем-нибудь приукрасить его лицо?

Впервые я столкнулся с проблемой приукрашивания модели. Позднее, я эту тонкую и хрупкую задачу, не задумываясь, решал просто. Я мою модель делал чуть красивее. Я льстил заказчику. И он меня за это никогда не ругал.

Но льстить Пашутину и сделать его более миловидным мне тогда казалось делом трудным и рискованным. Можно было сбить сходство, и тогда пропадут все тщеславные планы отца. Я оставил портрет таким, каким он получился.

— Отец, — пристал я к нему, — скажи мне откровенно, — Пашутин на портрете похож на мопса?

— Ничего подобного, — ответил он, улыбаясь, — он похож на себя.

Предпоследняя ночь. Лег я спать поздно, но уснуть не мог. Мысль о том, что портрет мог не понравиться, жгла мой усталый мозг. Не спал и отец. Слышны были его протяжные вздохи и чирканье спичек. Он курил. О чем он думал? Отец не любил авантюр и вниз головой не бросался в рискованные коммерческие операции. Он презирал шальные деньги и ценил только трудовой, потный рубль. Но натерпевшись от полюбившей нас нужды, он все делал, чтобы с ней расстаться. Временами ему казалось, что он обязательно оторвется от нее и заживет сытой и веселой жизнью. И тогда на нашей улице "скрипки заиграют".

Неудачи отец переживал болезненно, но долго печалиться не любил. Когда его одолевали неприятности, он говорил: "Скорее бы перескочить через них, и, оставив их позади, не оглядываясь, быстрым шагом идти вперед. Судьба недолюбливает сонливых людей".

Вдруг вижу: отец встает, гасит коптилку, зажигает большую настольную лампу, бесшумно придвигает к столу портрет и осторожно садится в кресло. Сухой желтый свет лампы отбрасывает на потолок и стену огромную тяжелую тень. Моментами на стене появлялась гигантская рука с карандашом, похожим на палку. Порисовав минут пять, отец склонял голову набок и внимательно рассматривал свою работу. Он поправлял пуговицы...

Последний день. Завтра толстяк нас покинет. Ура!

Отец, любивший нашу тихую жизнь украшать яркими и веселыми затеями, решил на прощание с Пашутиным устроить вечер с обсуждением моей работы.

— Надо, — заявил отец, — узнать, что о портрете скажут люди. Мнение людей — самое верное.

Вечером он пригласил своих друзей, усадил их за большой праздничный стол. Чтобы поднять в них бодрое настроение, он на стол поставил приветливо шумевший самовар, банку с вишневым вареньем и большое старинное блюдо с горкой румяных маковых пирожков.

Председателем на этом незабываемом вечере был Марк Грушко.

Портрет был вставлен в золоченую багетную раму и убран цветными полотенцами. Висел он в глубине комнаты и выглядел торжественно.

— Дорогие друзья, — сказал отец, — обращаясь к гостям, — я пригласил вас, чтобы, осмотрев работу моего сына, вы откровенно сказали, что в ней вам понравилось и что не понравилось!

Он рассеянно поглядел на портрет и, улыбаясь, добавил:

— А пока ешьте пироги с маком и пейте чай с вареньем.

И, погодя, дружески добавил: "Не стесняйтесь".

Гости ели и пили. Стол быстро опустел. Затем, весело разглядывая портрет, гости между собой шепотом начали делиться своими впечатлениями.

Первым выступил сапожник Савельев. Человек с добрым, открытым для всей улицы сердцем. О нем говорили: "у дяди Василия сердце и руки золотые". В Савельеве чувствовалась неукротимая сила. Говорил он быстро, с восхищением, даже с гордостью.

— Я, — начал он, — как вам известно, только сапожник. Двадцать пять лет делаю модельную дамскую обувь. Да, — он глубоко вздохнул, надвинул брови и добавил:

— Люблю все красивое. И свою работу стараюсь сделать красивой. *Дамы любят мою работу.*

Замолк, задумался и продолжал: — Когда я прохожу мимо магазина, где в окнах выставлены картины, я приклеиваюсь к этим окнам. Да, приклеиваюсь! — и, погодя добавил:

— Теперь я хочу сказать о работе вашего сына. Пашутин — как живой! Но нужно ли рисовать уродливых людей, если у них в кармане деньги, а на груди золотые медали? По-моему, не нужно.. Разве в городе мало красивых и уважаемых людей? Возьмите доктора Резникова, похожего на артиста... Адвоката Симховича с лицом писателя! Я все сказал. Художник должен рисовать только красивых. Все!

Вторым говорил портной Арон Заславский, по прозвищу "задумчивый". Узкоплечий, с большой поднятой головой и всегда чуть прищуренными глазами. Это о нем Грушко сказал: "Всю жизнь Арон считал, сколько звезд на небе, и никак не мог сосчитать".

"Задумчивый" Арон долго не решался выступить перед нами и только после того, как отец ему льстиво сказал: "Дорогой Арон, мы ждем от вас слов, пахнущих библейской мудростью", он полушутя, полусерьезно тихим голосом сказал:

— Я портной. Разбираюсь только в дамских платьях. Картины и портреты для меня чужой, незнакомый мир, но если вы уважительно просите что-нибудь сказать — скажу.

— Людей рисовать, по-моему, нужно молодых. У них огонь, сила, жизнь... Что хорошего художник найдет в старых, морщинистых лицах и сутулых спинах?

Арон замолк.

Грушко с места бросил ему: "Вы, Арон, кажется, давно уже дружите со старостью!" Арон смолчал. Потом он из кармана летнего пальто извлек модный журнал и, показывая нам его яркую обложку, с наигранным воодушевлением сказал:

— Вот, взгляните на этих в весенних платьях красивых девушек. Красота! — уставясь прямо мне в лицо, громко добавил: "Вот, мой дорогой художник, кого нужно рисовать".

Вся его фигура выражала победную гордость.

Последним говорил музыкант, наш старый друг Иосиф Кушнир. Кларнетист. Отец его уважал за редкостную страстность к книгам и называл его "ученым".

В городе о Кушнире отзывались с подчеркнутой улыбкой и добродушно подшучивали: "Он играет на бедных свадьбах и богатых похоронах". С полушутливым вздохом, хрипловатым голосом Кушнир начал:

— Дорогие и уважаемые друзья, должен вам признаться, что я с вами не согласен. По-моему, художник, рисующий только молодых и красивых, не может знать всю нашу жизнь со всеми ее богатыми сторонами... Я часто встречал красивых старых людей. Любовался ими. И понял, что морщины на их лицах — следы прожитых ими переживаний и страданий... Но разве, скажите, друзья, художнику передавать переживания и страдания неинтересно?

Он замолчал, взглянул на портрет, задумался и продолжал:

— Вы все говорили о красоте внешней, но вы забыли, что на свете существует еще одна красота — внутренняя, душевная. Мы, музыканты, призваны передавать красоту внутреннюю.

И, погодя, продолжал:

— Ваш Пашутин никому не нравится потому, что в нем нет ни внешней, ни внутренней красоты. Поняли?

— Я хочу еще сказать несколько слов. — Он выпрямился во весь рост. — Мне приходилось порой встречать некрасивых певиц. Художник, наверное, в них не влюбился бы.., а запоет такая певица, за сердце схватит и жжет. Не нарадуешься.

— Больше мне нечего вам сказать, дорогие друзья. Спасибо за внимание и уважение.

Обсуждение кончилось. Отец весело поблагодарил гостей. Приглашенные опять задымили и с шумом ушли на сумеречную улицу.

Вышел во двор, чтобы приветствовать раннее утро. Весь двор был залит прозрачным золотистым светом. Молодые клены и высокая трава чуть пожелтели и уже грустно дышали ранним увяданием.

Слышу возбужденный голос отца. Он меня ищет.

— Иду, — кричу я.

Отец стоит на пороге в праздничном летнем костюме и в соломенной шляпе.

— Спеши, сынок, — девять часов. — И, подумав, добавляет: — Я тебя до мостика провожу.

Портрет, завернутый в газету, в моих руках. Молча

спускаемся к речке. У мостика остановились. Отец озабоченно разглядывает мои новые ботинки.

— Не ходи по камням, — шепчет он.

— Постараюсь.

— Бог в помощь...

— Спасибо, отец.

Он ушел. В конце мостика я остановился, чтобы поглядеть на отца. Он шел медленно с поникшей головой и о чем-то напряженно думал.

Дом городского головы находился в конце Дворовой улицы. Унылый, провинциальный особняк. Что-то в нем было от его владельца. Не без волнения я подошел к небольшой, точно приклеенной к особняку дубовой двери. На двери потускневшая медная табличка с надписью: "Николай Васильевич Пашутин". Несколько минут я простоял в раздумье: как вручить Пашутину портрет и что ему сказать? С большой осторожностью я нажал кнопку. Через минуту дверь неохотно открылась и на лестнице, устланной малиновой дорожкой, стоял грузный швейцар.

Десять начищенных медных пуговиц на его ливрее сияли, как десять небольших солнц. На сиреневых дряблых щеках — большие, как щетки, бакенбарды.

— Чего тебе нужно? — сонным голосом спросил он.

— Хочу, — упавшим голосом ответил я, — передать господину Пашутину портрет моей работы.

— Давай его суды.

Стуча сапогами, ливрея скрылась за дверью.

Я стоял на малиновой дорожке и, чтобы отвлечься и рассеяться, рассматривал пашутинскую домашнюю обстановку. На боковых стенах висели два поясных портрета, написанных масляными красками. Бородатый, с выпиравшим животом и большими руками мужчина и бледнолицая курносая женщина. На ней голубая кофта с богатыми кружевами. Очевидно, художник не стремился смягчить физические недостатки своих богатых заказчиков и писал то, что видел. Какой независимый, честный художник!

Ждать пришлось недолго. Минут через десять дверь

открылась. Показалась ливрея. Она важно и мрачно приближалась.

— Василь Николаич велел передать тебе свою благодарность, — тем же сонным голосом сказал он. И, показывая своими рыбьими глазами на дверь, недовольно повторил:

— свою благодарность...

Вмиг я понял, что случилось какое-то несчастье... что оно заполнит душу и долго будет причинять острую боль. Я потерял физическое ощущение моего существа. Но работа мозга не прекращалась. Первая мысль об отце. Что он скажет?

Я бродил по улицам и усталый зашел в городской скверик. На скамье отдохнул. Потянуло к фонтану с рыбками. Долго простоял я у фонтана, наблюдая жизнь золотых рыбок. Яркие, богатые переливами краски, радужный блеск чешуи. Их плавное, ритмичное движение меня немного успокоило. Еще раз подумал об отце. Неудача его свалит с ног. Наверное, мой вид у рыбок вызывал сочувствие. Они подплывали ко мне и ласково, успокаивающе глядели на меня.

Были моменты, когда мне хотелось вернуться к Пашутину, забрать свой портрет и, жестоко выругав юбиляра, бежать... Но для этого нужны были воля и силы, а их у меня не было. Я был опустошен.

Сердце мое усиленно билось. Я слышал его удары.

Потянуло к любимой речке Ингулу. "Там, — я думал, — в лодке, привязанной к старой знакомой вербе, мне удастся забыть все происшедшее."

Тужурка заменяет мне подушку. Свежий степной ветерок приносит ароматные запахи осенних трав. Мои старые друзья, вербы, поголубели. Все это мягко отражалось в речке. Разбудила меня вечерняя речная прохлада. Боль в сердце стихла. И вдруг в еле заметном контуре плывшего против меня облака я уловил черты знакомого лица. Это был он... Низкий лоб, одутловатые щеки и ватные бакенбарды. Чтобы проверить правдивость увиденного, я закрыл глаза и вновь открыл их. Он! Он! Пашутин! Я встал

и испуганно глядел на потрясшее меня явление, стремясь зрительно запомнить все детали страшного облака. Но через полминуты эту голову мягко закрыл крылатый дракон и Пашутин исчез. Потрясенный виденным, я решил направиться домой. Я спешил рассказать все отцу. Почему-то символическая история с облаком, мне казалось, его приятно удивит, отвлечет и немного утешит.

Улицы были неузнаваемы. Производили впечатление больших театральных макетов, сделанных художником-фантастом. Вот и наш с тремя окнами дом, погруженный в дрему. У забора знакомые две акации. Они слились в один черно-синий силуэт и кажутся искусственными. У калитки на лавочке — отец. Он меня ждет. Собираю остатки мужества и смело подхожу к нему.

— Добрый вечер, папа!

— Вечер добрый, сынок! Что, неудача?

— Да.

— Я так и чувствовал. Сердце подсказывало.

— Ничего, сынок, — продолжал отец. — Это не удар. Это только пинок в спину. В жизни их у тебя будет много. Надо к ним привыкнуть. Не отчаивайся.

И после небольшого напряженного молчания:

— Ты, сынок, выбрал трудную дорогу — дорогу искусства. Хлеб у тебя будет нелегкий и горький. — И, немного погодя, добавил: — В ближайшие дни начнешь рисовать людей: красивых, некрасивых, простых и бедных. Но обязательно с красивой душой... А пока, — он смолк, махнул рукой и добавил:

— Пошли ужинать и спать. Завтра обо всем поговорим.

Я поужинал и внезапно почувствовал себя очень усталым. Лег, не раздеваясь. В открытое окно глядела моя милая, добрая луна. Я долго неотрывно глядел на ее ласковый побелевший лик. Потом она ушла за раму окна. Стало грустно. "Спасибо тебе, — прошептал я, — дорогая луна..." — И уснул.

МОИ ЗАРАБОТКИ

Я еще в постели. За окном бушует первая снежная метель. Большие мокрые хлопья весело стучат в запотевшие стекла и прилипают к ним. В комнатке полумрак. За фанерной стеной, оклеенной нежно-розовыми обоями, знакомые часы тяжело и протяжно бьют семь. Я лежу под своим ватным пальто и думаю о ненаписанных еще зимних пейзажах.

Вдруг бесшумно открывается дверь и в комнату входит незнакомая пожилая женщина в тяжелом черном платке. Она медленно стряхивает с себя талый снег и, притопывая большими галошами, простуженным голосом спрашивает:

— Вы художник?

— Да.

— Я к вам.

Не дожидаясь моего приглашения, она придвинула к себе стул и, усевшись, важно начала:

— У меня к вам большое дело. Только слушайте меня обоими ушами. Вчера я была у знакомых и видела портрет, нарисованный вами. Работа действительно художественная и сделана золотыми руками. Мадам Финкель — как живая. Вот-вот она откроет рот и что-нибудь скажет... Не буду много говорить, я тоже хочу иметь такой художественный портрет.

— Хорошо, я вас нарисую.

— Сколько может стоить такой портрет?

— Пять рублей.

— В богатой багетной раме и со стеклом?

— Без.

— Дороговато...

Деловито оглядев комнатку, она продолжала:

— Конечно, я не мадам Финкель... Наследство, оставленное мне покойным отцом, не вызвало зависти в сердцах моих родственников. Я бедная, но гордая женщина. Торговаться с вами не буду. Я хорошо понимаю, что труд

художника — это не труд торговца соленой рыбой. Пусть будет так, как вы хотите — пять рублей, но...

Она вместе со стулом осторожно придвинулась ко мне и, наклонившись, тихонько прошептала:

— Но у меня к вам просьба.

— Какая?

Она сняла с себя платок и, прижимая длинную коричневую руку к ветхой лиловой кофте, прошептала:

— Нарисовать на моем портрете все то, что вы нарисовали на портрете мадам Финкель.

— Что именно?

— Золотые часики с монограммой и богатую брошь. Шикарную вязаную шаль, шикарное жабо.

Немного помолчав, поглядывая на запотевшее окно, задумчиво добавила:

— Пусть дети мои, когда подрастут, радуются. Им не будет стыдно за свою мать, за Хаю Медовую...

Через три дня я сдал моей заказчице портрет, нарисованный жирным итальянским карандашом на великолепной слоновой бумаге. На сухой и плоской груди сияли золотые часики с монограммой "Х.М.", а на тонкой, жилистой шее, обтянутой шелковым кружевным воротничком, славно покоилась огромных размеров золотая брошь. Взглянув на свой портрет, Хая Медовая протянула ко мне свои старческие сухие руки. Две большие розовые слезы торопливо понеслись по ее морщинистым щекам и медленно упали на кофту. Голосом, полным опьяняющего счастья, она воскликнула:

— Да, это настоящая художественная работа со всеми оттенками. Я всегда говорила, что художник, если захочет — все может нарисовать. Счастливый вы человек!

Слухи о моих "ювелирных" способностях быстро облетели всю сонную улицу. На меня посыпались заказы. Незнакомые люди запросто останавливали меня, дружески брали за плечи и сулили сказочные заработки. Я сделался героем целой улицы.

Вернувшись однажды из школы домой, я застал у себя

незнакомую женщину. Она непринужденно сидела на кровати и кормила ребенка. Подогнув одну ногу, другую — полную и крепкую, в белом шерстяном чулке, она вытянула по стулу. На столе и печке пестрели пеленки. Остро пахло потом. Мой приход женщину ничуть не смутил.

— А я вас около часу жду — не меняя позы, спокойно сказала она. — Меня зовут Рахиль. Я — вдова с двумя малолетними детьми. Хлеб мой тяжел и горек. Но я не пришла к вам жаловаться. Я хочу жить так, как живут все люди. Я тоже хочу иметь художественный портрет. Вы, я думаю, меня поняли?

— Хорошо, я вас нарисую.

— Но я не торговка. Каждая моя копейка залита потом и кровью, я не могу платить бешеных денег. Вы меня поняли?

Она глубоко и громко вздохнула.

— Да, я вас понял.

— Вы мне должны сделать уступку и взять два рубля. И вы ничего не потеряете. Я вам белье постираю и заштопаю, пол вымою...

— Хорошо, — согласился я.

Она мягко улыбнулась. Небольшие черно-золотистые глаза смотрели благодарным взглядом.

— Теперь могу идти домой и взяться спокойно за свою работу.

Она встала. Быстро собрав свои тряпки, она ловким движением завернула в них ребенка, шаркая по полу желтыми мужскими штиблетами, в развалку, пошла к двери.

В дверях она остановилась, обернулась.

— Да, совсем забыла... я хотела бы, чтобы вы мне... кроме золотых часов с монограммой и броши нарисовали... — и, слегка покраснев, она почти шепотом добавила:

— Бриллиантовые серьги... Только не очень большие... лучше маленькие.

— Все будет сделано, — обещал я.

Невыразимая радость, наполнившая до краев ее сердце, осветила ее круглое мясистое лицо. Изливая свои

чувства, она крепко прижала к себе ребенка и стала целовать его, звучно причмокивая. Она приходила ко мне ежедневно. С ребенком и узелком, туго набитым тряпками. Непринужденно усевшись на мой единственный стул, Рахиль медленно расстегивала изумрудную вязаную кофту и, ловко вынув свою могучую розовую грудь, с каким-то подчеркнутым достоинством счастливой матери начинала кормить ребенка.

Чтобы развлечь меня, она негромко напевала еврейские песенки. Чудесные песенки бедноты, в которых чувствовалось никогда не унывающее веселое сердце. Часто вскакивая, она клала ребенка на кровать и, подойдя к портрету, волнуясь, тихо спрашивала:

— Скажите, художник, будет ли все ясно, что в ушах моих настоящие бриллианты?

— Будет, — заверял я ее.

— Подумайте, — победно улыбаясь, повторяла она, — за каких-нибудь два рубля вы меня делаете нарядной. Вы — чародей.

Портрет не удавался мне. Чем больше я тратил сил, тем слабее были его качества. Заказчица в конце концов это почувствовала. Наблюдая мои трудовые усилия сделать работу эффективной — она с нескрываемым огорчением заметила:

— Я знала, что бриллианты невозможно передать, как в натуре.

Между тем художественная слава меня начала утомлять. Порой я помышлял бросить свою улицу и переселиться в другой район, где меня не знают и где можно отдохнуть от пятирублевых портретов, срисованных по фотографии. Я мечтал о больших портретах, написанных на полотне масляными красками и с натуры, мечтал о молодых моделях с крепкими, свежими руками и ногами. Это были, разумеется, девушки в легких развевающихся платьях и в дорогой изящной обуви. Таким девушкам, конечно, не нужны были ювелирные портреты.

Пришла весна. Непреодолимо пртянуло к морю. Каждое

утро я уходил на Ланжерон. Я бродил по влажному песку и жадно вдыхал крепкие запахи проснувшегося моря.

В конце апреля мне удалось найти, наконец, долгожданный заказ.

Большой, в натуральную величину, во весь рост портрет молодой женщины. Жена какого-то разбогатевшего частного адвоката. За работу, в случае удачи, заказчик обещал уплатить пятьдесят рублей. "Пятьдесят рублей," — повторил я. Сумма казалась мне головокружительной. Заказ мне был дан адвокатом, в письменной форме, с подробными указаниями, что и как я должен писать.

На большом листе плотной кремовой бумаги мелким скачущим почерком было написано:

"Жена моя, Раиса Моисеевна, должна быть изображена у большого концертного рояля. На рояле стоит дорогая хрустальная ваза с большими розами. Голова жены немного повернута в профиль, усталые руки ее красиво лежат на клавишах. Раиса Моисеевна будто только что сыграла какую-то сильную симфонию и, задумавшись, мечтательно разглядывает висящих перед ней на стене любимых композиторов — Шопена, Грига и Чайковского."

Ниже было написано: "Рядом с композиторами художник обязан в уменьшенном виде нарисовать меня."

И еще: "Портрет должен быть выполнен в радостных, как жизнь, ярких тонах и в гладкой манере.

Самуил Блох."

Я принял все условия и с жаром взялся за работу. Первые дни модель моя, Раиса Моисеевна, невысокая, крепко сложенная, живая брюнетка, позировала охотно. На ней было шелковое пепельного цвета платье с большим вырезом на высокой груди. Она сидела легко и спокойно, много болтала, но это не мешало мне писать. Увлеченный работой, я не всегда внимательно слушал ее пестрые, путаные рассказы. Она не сердилась на меня за это.

— Вы сейчас витаете в облаках, — иронически улыбаясь, говорила она, — творческий экстаз, бурные взлеты фантазии... все понимаю.

Как-то прищурив глаза, с чувством произнесла:

— Ближе к земле, художник. Она не скучна, как небо.

За несколько дней она успела с мельчайшими интимными подробностями рассказать о своей бурной молодости, о своих неблагодарных подругах и многочисленных неверных друзьях. О муже она говорила с подчеркнутой иронией.

Мне нравились порывистые движения ее хорошо посаженной головы, тонкая форма рук и неровная, нервная речь. Чувствовалось, что она много перенесла и передумала.

Работа шла удачно. Моментами мне даже казалось, что я близок к рисовавшейся мне столько времени победе. Единственно, что меня беспокоило, это техника моего письма — мазки. Как назло, они получались широкие и густые. Самуил Блох, я знал, будет ими недоволен. Но я не мог связать себя. Яркие масляные краски, новенькие кисти, большой зернистый холст и, наконец, молодая модель — все это на меня не действовало, мазки получались сами собой. Спустя две недели я начал замечать, что модель моя позирует с ленцой. Вынужденное сидение на круглом (без спинки) стуле, видимо, утомляло ее. Возможно также, что, исчерпав все темы для своих рассказов, она потеряла и вкус к позированию. Чтобы спасти работу, я сделал перерыв на несколько дней. Не теряя пока времени, я взялся за композиторов и Самуила Блоха. Написав их (мне они также показались удачно выполненными), я пригласил Раису Моисеевну и показал работу.

Увидев портрет, Раиса Моисеевна пришла в ярость. Большие, красные пятна вмиг расцвели на ее бледно-смуглом лице. Не глядя на меня, она сквозь губы процедила:

— Кто вам велел такую глупость сделать? Этот кретин?

С искривившимся ртом прошипела:

— Он с ума сошел. Рядом с Шопеном и Чайковским такого мещанина, пошляка. Подумайте, что вы сделали?

После короткой паузы:

— Сейчас же замажьте! При мне сделайте это! Сейчас. Слышите? Не сделаете — порву ваш портрет на мелкие кусочки.

Чтобы успокоить ее, я взял кисть, развел на палитре светло-охристую краску и покрыл ею изображение Самуила Блоха.

Узнав об этом, заказчик мой бросился ко мне.

— Исправить можно? — задыхаясь, спросил он.

— Разумеется, — успокоил я его.

— А я думал, — все пропало, — продолжал он, сильно волнуясь.

Он порывисто подошел к портрету, остановил долгий, пристальный взгляд на нем, потом скользнул глазами по палитре, лежавшей на стуле, и потрясшим меня голосом сказал:

— Подумайте, это делает самый дорогой мне человек. Моя надежда, цель жизни... Теперь она — известная пианистка, а когда я пятнадцать лет тому назад встретил ее, это была забитая местечковая девушка в рваном ситцевом платьице и истоптанных шлепанцах... Подумайте — пятнадцать лет я ее воспитывал, учил, кормил, одевал... Сколько мне это стоило сил, здоровья и денег. Сколько раз я волновался... и вот мне благодарность. Я — мещанин, сумасброд. Чем я ей мешаю на портрете?

Глаза его стали влажными.

— Я вас очень прошу почистить мой портрет.

Глубоко вздыхая и понизив голос, добавил:

— Она не любит, когда ей напоминают о ее прошлом... а мой портрет о многом напоминал бы ей...

Самуил Блох съежился и дрожащими руками растирал крупные слезы.

Передо мной стоял опустошенный, раздавленный человек. Надо было сказать ему что-то утешительное, но я был тогда недостаточно опытен в семейных делах и не смог найти нужные слова.

МАКС

В конце октября на берегу моря я познакомился с одним молодым человеком. На нем было великолепное шелковистое пальто и такая же шляпа. Он сидел под скалой, спрятавшись от холодного ветра, и курил сигару.

За его спиной виднелось остывшее уже море с жесткими синими красками.

Узнав, что я художник, молодой человек предложил мне писать с него портрет, обещав хорошо заплатить.

— Я не миллионер, — сказал он мягко и певуче, — но я заплачу, как богач. Приходите ко мне. Я люблю художников.

Он дал мне свой адрес, крепко пожал мне руку (мягкая, теплая рука) и походкой человека, у которого жизнб хорошо налажена, ушел в город.

На следующий день утром я пришел к нему в гостиницу "Венеция", где он занимал просторный, светлый номер и, получив авансом десять рублей, приступил к работе.

Мой новый заказчик был очень живописен. Широкие прямые плечи, удлиненное коричневое лицо, светящиеся глаза и с черным отливом губы. Его звали Макс.

Позировал он, как профессиональный натурщик. Он был блестящий рассказчик. Небольшие, бесцветные, казалось бы, события приобретали у него форму и смысл значительных явлений. Разумеется, многое из того, что он рассказывал, было взято им у других, но взято с большим умением и тактом. В рассказах он всегда выступал как щедрый и добрый малый. С завидной, непостижимой находчивостью он умел превращать печальное в веселое. За все время писания портрета я ни разу не видел этого человека в плохом настроении, раздраженным.

Макс знал толк в женщинах. Умел рассказывать о них ярко, образно, с неиссякаемой нежностью.

После сеанса он обычно говорил мне своим придушенным голосом:

— Не спешите. Мы с вами выпьем, закусим, поболтаем.

На столе, покрытом бархатной, пестрой скатертью, появлялись оклеенная заграничной этикеткой забавной формы бутылка, два хрустальных бокала с тоненькими ножками, дорогое фабричное печенье и невыразимого стиля коробка с сигарами.

— Пейте, ешьте и курите, — улыбаясь, говорил он. —

Люблю художников. С ними не пропадешь. Я коммивояжер, но в душе всегда был художником.

Часто после угощения он подавал мне вчетверо сложенную пятерку, с побеждающей дружественностью говорил:

— Вам, друг мой, вероятно, деньги нужны. Это пойдет в счет работы.

Однажды, когда я, окончив работу, вытирал палитру тряпкой и готовился сесть за волновавший меня стол, в дверь тихо постучали:

— Войдите, — сказал Макс.

Вошли трое. Один высокий, грузный, с жидкими усами и лиловым лицом, и двое невысоких, в мятых, жеваных костюмах. Лбы у всех были низкие, мрачные.

Высокий внушительно повернул ключ в двери, глухо кашлянул, не спеша подошел к Максу и, ухмыляясь, прогудел:

— А мы, господин Моисей Исаич, к вам. Принимайте гостей!

— Пожалуйста, к столу, — спокойно ответил Макс.

Высокий подошел к столу, взял бутылку и, многозначительно разглядывая этикетку, произнес надменно:

— Нет уж мы с вами выпьем и закусим в другом месте.

— А ты кто такой? — обратился он ко мне. Его лиловое лицо приняло брезгливое выражение.

— Это художник. Мой хороший знакомый. Он пишет с меня портрет, — ответил за меня Макс.

Высокий недоверчиво взглянул на меня, потом на Макса и залился смехом. У него прыгали лиловые щеки и рыхлые плечи.

— Портрет Моисея Казацкого. На какую же выставку вы думаете послать его. Парижскую? Замечательно! — потрясал он номер своим гулким голосом.

— Так, так, так. Ха-ха! Скоро, значит, мы увидим портрет известного контрабандиста Моисея Казацкого. Очень, очень интересно. Может быть, вам дадут золотую медаль на шею. Очень интересно, — продолжал он гудеть.

Я ощутил оглушающий удар в самое сердце. Трудно

было принять все это. Первая мысль: пропал мой победоносный портрет, хвалебные отзывы в газетах и заказы. Все пропало. Минута — и мне казалось, что это инсценировка. Что трое незнакомых мне людей в отвратительных масках — актеры, блестяще разыгравшие сцену из какой-то пьесы. Сейчас все кончится. Они уйдут. И мы с Максом опять всласть будем пить густое, красное вино и курить ароматные гавайские сигары... Но эта минута проходила, а люди в масках не уходили.

Пока высокий с лиловым лицом гудел, двое других открыли шкаф и начали степенно рыться в ящиках.

Макс, величественно сидя в кресле, спокойно курил сигару, пуская правильные круги голубого дыма.

— Ну, как ваши успехи? — дружески обратился он к рывшимся в ящиках. — Нашли что-нибудь вкусное?

— Довольно ломаться, — вдруг сухо заговорило лиловое лицо. И Собирайтесь, пойдемте. Проверим, какой это художник, который малюет контрабандистов. Знаем их. Снаружи для виду художник, а внутрях — аферист... И с вами покалякаем, господин Казацкий.

Близко подойдя ко мне и нацеливаясь глазами в мои глаза, мрачно буркнул:

— Собирайся! Ну!

Вместе с Максом меня поволокли в старое, мрачное помещение, расположенное на углу Преображенской и Полицейской улиц. Утомительно и долго допрашивали. Максу дали стул, и он с большим достоинством сел на него. Мне приказали стоять и руки держать по швам.

— Художник, повторяю вам, здесь ни при чем, — спокойно и улыбчиво, как всегда, говорил Макс. — Что вы пристали к нему? Отпустите его.

Меня отпустили.

Спас меня мой ученический билет.

Выйдя из протухшего помещения на солнечную улицу, я улыбнулся равнодушному к моим событиям ослепительному голубому небу и поплелся домой. Два дня я с утра до ночи бродил по порыжевшим уже осенним берегам, стараясь забыть о происшедшем.

После случая с Максом, я, признаюсь, перестал думать о богатых заказчиках.

Я вернулся навсегда к моим бедным, молдаванским еврейкам. Они меня встретили так, как встречает на известной картине Рембрандта отец своего блудного сына.

— Вас ждут большие заказы, — сияя, сказала мне моя квартирная хозяйка.

ЛАВОЧНИК-ФИЛОСОФ

Художественные материалы я покупал в небольшой лавочке, находившейся неподалеку от школы на Преображенской. Над входом висела яркая вывеска, вызывавшая во мне образ солнечной Африки.

Жену Шварцмана называли "тихой Рейзат". Это была рембрандтовская старуха с приподнятыми узкими плечами и покорными сияющими глазами. Она не любила длинных разговоров и умела в двух-трех умно сказанных словах выразить очень многое.

Детей у Шварцманов не было. Их заменили жившие на верхней полке пышные кремовые голуби и два сибирских кота.

Шварцман был философ, он считал мир твореньем не бога, а черта и его приятелей. "Бог, — говорил он, улыбаясь и щурясь, — давно в отставке. Он, как старый николаевский солдат, живет одними воспоминаниями о боевом прошлом." Два правила: "ничему не удивляться" и "береги сердце и желудок" руководили всем его бытом и жизнью.

— Вас все волнует, — говорил он, глядя в лицо мое мягкими глазами. — Не набрасывайтесь на жизнь, — в ней ничего нет вкусного... Она дает одну изжогу.

Однажды я решил у него попросить взаймы немного денег.

В Одессе была весна, наполнявшая меня до краев, чудесная весна. В парках цвели акации, сирень. Улицы были залиты густым ярко-желтым хмельным солнцем, а

море так посинело, что казалось подкрашенным ультрамарином.

У меня завелась одна рыжая курсистка с бронзовым телом. Веселая, болтливая. Она умело ярко улыбаться и образно рассказывать о своей родине и детстве. Я ее часто рисовал на берегу моря на фоне облаков. Ей это нравилось, все шло хорошо. Но одно меня огорчало, — это моя одежда и особенно штаны. Они были ужасны: потертые у швов и промазанные красками на коленях. Словом, мне нужны были новые штаны, хорошие, тонкошерстные штаны рублей на шесть, а может, и семь. На толкучем рынке я встречал такие. Мне хотелось предстать перед моей рыжеволосой обязательно в победоносных штанах. Но где достать денег, чтобы купить их? И тут я вспомнил о Шварцмане. Он, я знал, меня поймет. Он добр. Я ему в грустных выражениях расскажу о моей драме. Он будет тронут. Придав лицу печальное выражение, я зашел в знакомую лавочку. Старик меня внимательно выслушал. На его мягком носу дремали темно-синие очки. Шварцман, видимо, волновался. Но это хороший признак. После волнений у него реакция, и он добреет. Итак я был близок к удаче.

— Друг мой, — начал Шварцман, медленно снимая очки, — я вам денег не дам...

И мягкими шагами подойдя ко мне, ласково, но внушительно добавил:

— И знаете почему? Потому что я не хочу вас потерять.

Я недоуменно смотрел на его очки, стараясь через яркую холодную синеву стекол проникнуть в казавшиеся мне всегда освещенными добрым огоньком глаза.

— Вы, я вижу, меня, друг мой, не поняли. Подумайте хорошенько над тем, чем кончится моя любезность. Я вам дам шесть или семь рублей. Хорошо. Получили и адье. А потом? Потом, знаете, что получится? Денег лишних, чтобы отдать мне долг, у вас не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы только не делайте больших глаз, как сова, — перебил он себя, и слушайте меня.

— Вы меня начнете избегать, а потом возненавидете. Верно говорю? И все это за мое доброе дело... Так зачем мне делать глупость, если я могу ее не делать. Денька два будете дуться на меня, потом все забудете, словом — вы опять мой дорогой гость.

Он отечески мягким жестом протянул свои сухие бледные руки и, наклонясь ко мне, шепотком произнес:

— Скажите, что я не прав.

Я молчал.

Шварцман имел свои взгляды и на живопись. Он любил со мною поговорить об искусстве. О его назначении и целях. Посещал выставки, знал многих художников и следил за их работой.

Он наливал себе и мне большие граненые стаканы крепкого чаю, клал себе три, мне два куска сахару и, прищурив глаза, начинал поучать меня. Очки лежали на столе, дожидаясь взволнованных моментов речи.

— По-моему, — важно начинал он, — большим художником может быть только портретист. Учись, мой юный друг, быть портретистом. Самое трудное и самое возвышенное искусство — портрет. Человеческое лицо.

Наступал момент жеста. У него был удивительный природный дар придавать своим жестам любой психологический характер и оттенок.

— Человеческое лицо... Что может быть более интересным и волнующим? Глаза, видевшие горе и несчастье, глаза, знающие, что такое слезы. Рот, который не только поглощал пищу, но и произносил проклятия, стонал и охал. В каждой морщинке есть своя жизнь, свои радости и страдания. Ничего нет интереснее человеческого лица. Пейзаж вещь хорошая, но он не знает, что такое страдание, а без страдания не может быть и глубоких художественных работ.

— Поэты и художники другого мнения, — вставляю я робко.

— Поэтам и художникам верить так же можно, как весной девятнадцатилетней девушке. Слушайте дальше.

Кто на этом свете больше всех страдает? Бедные и нищие. Поглядите хорошенько на них — и если у вас сердце не замусорено всяким хламом — вы меня поймете. Только бедных и нищих должен рисовать художник. Только их. Если бы у меня был талант, я, как ваш Рембрандт, рисовал бы только бедных людей. Он понимал, что такое красота и где ее нужно искать. Мудрый был человек.

Шварцман учил меня также умению жить и работать.

— Художник должен быть похож на ученого рабби, — неспешно говорил он, подбирая и обсасывая слова. — Он должен с утра до вечера сидеть дома и работать. На разглядывание жизни и участие в ней он должен тратить только десять процентов. На еду, женщин и всякие другие удовольствия — тоже десять процентов, а остальные восемьдесят процентов должны идти на картины. Поняли, мой юный друг? Еще лучше, конечно, если художник на свою работу тратит девяносто процентов, тогда он наверное чего-нибудь добьется. У художника должно быть твердое, но не как камень, сердце и крепкий, ничего не боящийся желудок. С женщинами он может встречаться только раз в месяц. Судьба каждому дает только один золотой. И нужно суметь его бережно и умно использовать. Один себе накупит детских игрушек и сластей, другой, — вина и паюсной икры, а третий — книг, учебников и простого житного хлеба. Каждый человек имеет свою дорогу, свои ямы и свою непогоду. Скажите, что я не прав?

Он умолкает, смотря на меня с подчеркнутой, нежной и иронической улыбкой. Наступает торжественная пауза. Выпив стакан чаю и неспешно вытерев свои прокопченные табачным дымом усы, он продолжает:

— Бог не вмешивается в такие дела. И не потому, что он стар и глух, а потому, что дела эти для него мелкие. Ум есть, глаза тоже — действуй по собственному разумению.

К концу его речи синие очки уже покоятся на горбатом

носу. Он их бережно снимает и кладет на стол рядом с сахарницей.

— Так, так, мой друг... Берегите вашу золотую монету. И если будете тратить ее — десять раз подумайте над тем, чего целесообразнее купить. Помните — другой вы уже не получите.

Я пристально гляжу ему в глаза. Спокойным и неподвижным взором, он встречает мой взгляд. Бледные старческие губы улыбаются.

— Еще выпьем по стакану хорошего чаю? — с чувством спрашивает он.

— Выпьем, — радостно отвечаю я.

ПАРИЖ

Я ВИДЕЛ ЖОРЕСА

Однажды утром, когда Жак и я, укрытые пальто и старыми холстами, крепко спали, в мастерскую ворвался Мещанинов.

— Вставайте, ребята! — выпалил он. — Есть малярная работа! В Малаховке.

И, тяжело переводя дыхание, добавил:

— В кармане путевка... Дал ее мой приятель, секретарь союза строительных работ — Лабуле.

Понизив голос, добавил:

— Только не медлите! В девять часов надо уже быть на работе!

И исчез. Точно сон наяву.

На вокзале наш бригадир, наполненный геройским воодушевлением, втолкнул нас в первый попавшийся вагон старомодного поезда и громко сказал:

— Помните, ребята, отныне вы не художники из "Ротонды", а маляры из строительного союза.

Потом, помолчав, добавил:

— Забудьте на один день о Манэ, Ренуаре и Сезанне...

Через десять минут невзрачный паровоз уныло взревел

и наш поезд с наигранной живостью понесся в Малаховку, куда мы благополучно прибыли в 9 часов утра.

Малаховка — небольшой тихий городок. Увидев его, я вспомнил поэтические пейзажи замечательного Писарро. Приветливые белые двухэтажные домики, ярко-зеленые жалюзи и французские высокие красные крыши. Над ними нежно-голубое, ласковое небо.

В конце городка мрачные казенные склады — очевидно, объект нашей будущей малярной работы.

Разыскав шефа работавших там маляров, Мещанинов торжественно вручил ему путевку. Отрекомендовав меня и Малика как двух опытных маляров, он сказал, что время не ждет: "Дайте нам краски и кисти. Мы хотим, не теряя времени, работать."

Поглядев на нас недовольными глазами, шеф иронически улыбнулся:

— Скажите откровенно, вы художники с Монпарнаса?

— Что вы? Что вы? — гордо ответил ему наш бригадир. — Мы — маляры. Настоящие профессионалы.

И с подчеркнутым рабочим достоинством добавил:

— Русские эмигранты.

— Посмотрим... посмотрим... — Тихо и недоверчиво сказал шеф. Вид его не внушал нам симпатии. Это был молодой человек с лицом и жестами уличного циркача. Он еще раз на нас поглядел и, презрительно улыбнувшись, ушел.

Затем вернувшись с малярными кистями и двумя банками, наполненными красной охрой, поставил нас на самом безжалостном солнцепеке около мрачного одноэтажного здания.

— Красьте оконные рамы, — добавил он сквозь зубы. — Их здесь четырнадцать штук. Запачкаете подоконники — вычту из заработка. В обеденный час приду к вам.

Мы надели халаты и с жаром взялись за работу. Весело поглядывая друг на друга, мы понимали, что наше положение придает нам какую-то зыбкую прелесть.

Ровно в 12 часов явился шеф. Он свирепо поглядел на нашу работу и с раздражением бросил:

— Немедленно оставьте работу и убирайтесь к черту! Вы мне загадили все подоконники. Вам писать картины, а не красить окна!

И, глубоко вздохнув, процедил:

— Ваш рабочий день кончился. Получайте по семь франков и отчаливайте.

Мы почувствовали себя униженными и оскорбленными. Защиту нашей чести взял на себя Оскар. Он умел говорить. И, когда нужно, с искренней слезой.

— Камрад, — обратился он к шефу, — вы оскорбили рабочих-эмигрантов. Мы не ждали от французского рабочего такого недружелюбия. Вы оскорбили рабочих-иностранцев, попавших в нужду. Стыдитесь, камрад! Я пожалуюсь Мишелю Лабуле.

— Убирайтесь, — вскипел шеф, — пока я вас не выставил! Богемисты!

Мы ушли с гордо поднятой головой. Выйдя на улицу, весело переглянулись и быстрым шагом направились в кафе. Пообедав и опустошив литровку красного, мы почувствовали себя охмелевшими, не лишенными бодрости парнями.

Затем забрались в ближайший сад и живописно расположились в тени стога скошенной ароматной травы.

Надвинув шляпу на лоб, Малик вскоре счастливо захрапел, а я и Мещанинов, покуривая и разглядывая равнодушно висевшие над нами облака, вслух думали, как трудно завоевать симпатию высокомерного Парижа.

После неудачной гастрольной поездки в Малаховку нас потянуло к живописи. Захотелось написать богатый по форме и цвету натюрморт (вазу, цветы и фрукты). Но у нас было мало денег. Надо было довольствоваться скромной натурой. Малик отправился на толкучку Муфтарку к знакомой цветочнице и купил большой красивый букет цветов, уплатив только один франк.

Пять дней мы безмерно наслаждались живописью. Мы писали на старых, записанных полотнах. Широко пользуясь прокладками и фактурными приемами, работали, как одержимые. Меня поражала моя палитра, заполненная

ярчайшими красками, которых раньше мне не удавалось достигнуть. Я старался передать тональность каждого цветка, каждого лепестка. И вдруг мне пришла в голову мысль, что каждая краска, положенная на холст, таит в себе какую-то музыкальность и может быть изображена какой-то нотой... и что, вообще, живопись — это музыка, изображенная красками, формой и мыслями... сложными и тонкими отношениями.

Через неделю Мещанинов сообщил нам, что был в союзе строителей, виделся с секретарем Лабуле и тот ему сказал:

— Назревают большие события. Надвигается забастовка, в которой вы обязаны участвовать.

Когда на следующий день мы пришли в союз, все его залы были заполнены рабочими. Было шумно и душно. Увидев нас, Лабуле подошел к нам и громко, чтобы слышали стоящие возле него, сказал:

— Дорогие друзья! Помните, что мы вас рассматриваем как представителей русских рабочих. Чтобы оказать вам достойную честь, мы посадим вас в первом ряду, около сцены, и добавил:

— Я должен вас обрадовать — к нам в гости обещал приехать Жорес.

Мещанинов тепло его поблагодарил за оказанную нам честь и сказал, что мы берем на себя художественно-агитационную работу.

Теперь каждое утро мы втроем приезжали к Лабуле и получали темы для лозунгов и карикатур. Потом мы шли в большую комнату, где для нас были приготовлены белые картоны, натянутые на подрамники полотна, гуашные краски Лефрана и всех номеров кисти.

Впервые в жизни я рисовал карикатуры. Настоящие, профессиональные, грамотные карикатуры.

Чтобы быть похожим на технически подкованного карикатуриста (я помнил, что таким меня Мещанинов рекомендовал Лабуле), я покупал в газетных киосках юмористические журналы и оттуда брал готовые, хорошо отшлифованные традиции, технику и приемы.

Какой интересный и богатый мир открылся передо мной! Я тогда понял, что можно всю нашу жизнь со всеми ее страстями и даже страданиями рассматривать как бесконечную нить юмористических явлений.

Понял я и природу высшей формы юмора — иронии.

Для меня стало ясным, что юмор не только в том, чтобы показать смешное в нашей жизни, но и в том, чтобы вскрыть ее уродливые и бессовестные стороны.

Девять лет спустя, когда я уже в советской Москве связался с известным "РОСТом" и начал работать под руководством Маяковского (писал окна сатиры), я часто, с большой благодарностью вспоминал парижскую рабочую забастовку, давшую мне первые уроки карикатурного искусства.

На седьмой день нашей героической работы в мастерскую пришел возбужденный Лабуле. Лицо его казалось освещенным ранним майским солнцем.

— Дорогие друзья, — воскликнул он, — через три дня у нас будет Жорес! Наш дорогой, любимый Жорес!

Глубоко вздохнув, он продолжал:

— Он приезжает, чтобы поддержать нас и укрепить веру в победу.

Мы его обняли и поздравили с большим, вдохновляющим событием. Постояв с нами несколько минут, он сорвался и куда-то умчался. Через минут десять он вернулся. В руках у него была небольшая фотография Жореса.

— Надо великого гостя, дорогие друзья, — сказал он — встретить достойно. Хорошо бы написать большой портрет Жореса... Портрет повесим над входом в союз, в знак приветствия.

Большой зал переполнен рабочими. Они сидели на стульях, стояли на балконах и в проходах. Мы как почетные гости уселись в первом ряду. Ровно в семь часов, на сцену вышел Жорес. Раздался оглушительный взрыв аплодисментов. Мы, конечно, также лихо аплодировали.

Жорес стоял посредине сцены и любовно смотрел на

своих друзей. Так продолжалось минут пять. Наконец, уставшие рабочие стихли. Воцарилась тишина. Густая, почти ощутимая.

Раздался громовой баритон Жореса:

— Дорогие друзья! — медленно отчеканивая каждое слово, начал он. — Я приехал, чтобы сказать вам, что мы все время следим за вашей героической борьбой. Мы восхищены вашим мужеством и непоколебимой волей к победе. Мы верим, что она будет... Она уже стучится к вам...

Опять взрыв аплодисментов и выкриков: "Жорес! Жорес!"

Жорес остановился и смолк.

Я старался разглядеть его лицо, жесты и движения. Это был коренастый человек среднего роста, склонный к полноте. Большая гальская голова гордо покоилась на круглых плечах. Небольшая с проседью борода. Ходил он по сцене медленно, тяжело ступая, под такт своих пламенных слов. Руки его ритмично поднимались и опускались. Порой, чтобы подчеркнуть в борьбе силу удара, он их соединял. Глядя на него и слушая его вдохновенную речь, трудно было не верить в победу бастовавших.

Я поглядел на рабочих, зачарованных его удивительным темпераментом, блеском логики и ума. От волнения они задыхались.

Дождавшись тишины, Жорес продолжал. В необычно колоритных тонах он рассказал, как недавно руководил бастовавшими углекопами и с каким трудом добился лучезарной победы.

Выступление Жореса подняло настроение рабочих. В редактируемой им газете "Юманите" была напечатана статья о блестящем выступлении Жореса в союзе строительных рабочих.

МАТЬ С ОЧКАМИ

Утром нас разбудили надрывные крики молодых горластых газетчиков.

— Пропажа в Лувре знаменитой Джоконды! Исчезновение знаменитой Джоконды!

Мы спустились из мастерской на улицу, купили газету и прочли:

"Вчера вечером луврская охрана, осматривая итальянские залы, обнаружила исчезновение величайшего шедевра старой итальянской живописи (Монны Лизы, прозванной "Джокондой", которая написана в 1503 году). Портрет Джоконды — работа гениального Леонардо да Винчи. Принятые сыскной полицией срочные меры по розыску пропавшего шедевра пока не увенчались успехом. Розыски Джоконды продолжаются."

— Сходим в Лувр, — сказал я. — Посмотрим, как парижане реагируют на это сенсационное событие.

Жак охотно согласился. Зашли в кафе, подкрепились и пошли в Лувр. Был яркий день. С привычным энтузиазмом сияло солнце.

В Лувре мы зашли в опустевший зал Джоконды. Было много народа. Фотографы с непередаваемым усердием снимали возбужденную публику, одинокую, осиротевшую раму. Вор, очевидно, был искусный мастер своего дела. На раме не было ни одной царапины.

Лица парижан выражали печаль и скрытое возмущение.

В толпе выделялись два спорящих француза. Один, в коричневой визитке с большой лысиной, другой — в голубом модном костюме и в кремовых гетрах. Мы близко подошли к ним и услышали, о чем они спорили. Француз в коричневой визитке и с большой лысиной с неослабеваемым раздражением говорил:

— Джоконда обязательно вернется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Ее весь мир знает. Ее никто не может продать и никто не может купить.

Другой француз, в голубом костюме и кремовых гетрах спокойно, со скрытой иронией говорил:

— Не вернется. Ее купит американский миллионер и спрячет. Попробуйте ее найти.

Быть в Лувре и не поглядеть на Веласкеса, Гойю и

Рембрандта нам казалось грешным, и поэтому мы поспешили к великим немеркнущим старикам.

Мы долго-долго простаивали перед ними, стараясь вобрать в себя их неугасимый творческий жар и тайно мечтая о том, чтобы скопировать одного из них.

Охваченные радостным волнением, мы в эти часы не чувствовали разрыва между надеждой и уверенностью. Наступил вечер и в Лувре картины потемнели. Охрана нас попросила оставить музей.

Пешком мы дошли до площади Сен-Мишель и у фонтана увидели толпу. Подошли ближе.

В больших соломенных шляпах и широких испанских мантильях уличные музыканты. Трое поют, а двое на испанских гитарах аккомпанируют. Прислушались и были удивлены. Музыканты уже успели сочинить песенку о пропавшей Джоконде. Они пели так, будто песня приносила им большую вдохновляющую радость. Припевом к каждому куплету были трогательные слова: "Мне надоело жить в объятиях скучной рамы... Я не так стара, как думают парижане. Мне хочется хоть часок побывать на веселом Монмартре. Разве это большой грех?"

Один из музыкантов снял шляпу и обошел с нею подпевавшую публику. В шляпу бросали мелочь. Кто сколько мог. Бросили и мы четыре су. Малик сказал твердо:

— Больше нельзя. На ужин не хватит.

— Послушай, дружок, — задумчиво добавил Жак. Мы находимся около знаменитой обжорки "Мать с очками" ("La mere au lunettes"). Сходим туда и поужинаем? Мать обжорки нас накормит и утешит.

Обжорка находиларь в одном из переулков района музея "Клюни". Полутемный, унылый переулок. Из чувства гордой брезгливости солнце очень редко посещало его. Только гнилые дожди и серые туманы дружили с ним.

По бокам входной двери на двух больших окнах висели потемневшие от времени полотняные шторы. Входная дверь была всегда открыта, и из обжорки неслись тяжелые запахи: жареной картошки, лука и кровяной колбасы.

Первый в обжорку вошел мой гид — Жак. Надвинув шляпу на лоб и приподняв воротник (такие здесь были для посетителей нерушимые традиции), Жак громко густым басом произнес:

— Месье, мадам!

Мать в очках ему ласково и протяжно ответила:

— Месье!

Мы деликатно поклонились, обошли мать с котлами и лесенку, на которой она стояла, подошли к большому столу и сели на стулья с высокими спинками. Вкладывая в слова уважение и торжественность, Жак бросил матери с очками:

— Шер мадам! Два супа, две картошки, две чечевицы, два муля (мидии) и два куска хлеба!

Мать повторила все это и уважительно подала заказанные изысканные блюда.

Утолив голод, мы заметили, что против нас в поношенном черном сюртуке сидит бородач. Очевидно, нищий. Он свирепо на нас поглядывал и все время кого-то поносил. Из его отдельных слов и возгласов можно было понятиь, что мы виновны в пропаже Джоконды и, вообще, во всех бедах и несчастьях Франции.

О, — воскликнул он истерично, — этих врагов — немцев надо выгнать! К черту их!

Вдруг мать с очками быстро сошла с лесенки, подбежала к бородачу и, разливной ложкой крепко ударив его по лбу, громко выругалась:

— Старый дурак! Что ты пристал к молодым людям? Это мои друзья — русские художники.

И, поправив на носу свои прославленные позолоченные очки, она спокойно вернулась на свое обычное место.

Жак и я поблагодарили ее за дружбу и мужество.

— Не обращайте на него внимания, — мягко улыбаясь, сказал она. — Он, когда выпьет лишний стаканчик вина, любит к людям приставать.

С бородачом творилось нечто неладное. Он сильно заволновался. Вытирая рукавом свой лоб, он мужественно

повторял: "Мерси, мадам!" Потом он подошел к нам и, низко кланяясь, стал извиняться:

— Простите меня, старого дурака! Пардон, "миль фуа" (тысячу раз простите), — повторял он. И голосом, внушившим нам желание обласкать его, он негромко сказал:

— Я русских люблю. И уважаю. Хорошие люди!

Через три месяца Джоконду принес в Лувр работавший там столяр. Итальянец. Его арестовали и судили. Похищение Джоконды он объяснил патриотическим желанием забрать ее и передать в Италию как национальное богатство своей родины.

Жака — мужа матери обжорки мы всегда видели в углу. Он стоял спиной к посетителям и угрюмо чистил картошку. Порой, когда эта однообразная, утомительная работа ему надоедала, он, чтобы заглушить свою тоску, негромко напевал парижские уличные песенки, а когда и они ему надоедали, он курил. Одну папиросу за другой. До одурения.

Мать обжорки редко и мало говорила. Простым словам она умела придавать глубокий волнующий смысл. Удивительно, что все, о чем она говорила, было окутано какой-то радостной тайной. После разговора с ней мне всегда казалось, что ее счастье начиналось и кончалось в пределах добра, которое она людям делала. И еще казалось, что вся ее жизнь — старание больше и лучше накормить голодных людей, и что теперь, на пороге старости, она, думая, что недостаточно их кормила, спешит восполнить пропущенное.

— Ах, — она как-то с налетом горечи мне сказала, — если бы я вновь начала жить, я бы не жалела, как раньше, своего сердца. Моя счастливая жизнь, теперь я поняла — это расходование. А я экономила...

Работа хозяйки обжорки всегда была примером трудолюбия, простодушия и чувства самоотречения.

Часто, после разговоров с ней, я уходил с желанием всегда работать и свои труды отдавать не только тем, у кого имеются деньги, но и тем, у кого есть искренняя любовь к искусству и доброта.

Вспоминая о матери обжорки, я часто думал, что судьба мне ее послала как милость.

В начале сентября был день ее рождения. Я и Жак написали для нее два натюрморта. Жак написал белую вазочку с красными тюльпанами и лимонными нарциссами. Я — голубое блюдо, до верха наполненное красными раками и рядом с ним — толстую бутылку сидра. Мать с очками была в восторге. Целый час благодарила. Потом угостила нас устрицами и вином. Я усмотрел в этом черту великодушия. А сегодня нужда опять погнала нас в обжорку. Десятый день, как мы не обедаем. Мы только завтракаем и ужинаем. Жак продал на Муфтарке все свои краски, а я — подарок отца — старинные часы. Мы ищем малярную работу, но ее очень трудно найти.

Я начал привыкать к "матери с очками". Восхищен ее добротой и мягкостью. Я подчинился тому бессознательному чувству, которое движет человеком, когда он сталкивается с искренними и добрыми людьми.

Порой мне казалось, в ней есть что-то от матери Рембрандта. То же прощение жизни за все посланные ей страдания, то же великодушие и необычайная человечность.

У меня появилось желание написать ее портрет и выставить его в "Салоне независимых". В ослепляющем белом чепчике и таком же воротничке. С разливной ложкой в руке: впереди нее — три котла с варевом. Особенное внимание решил уделить ее очаровательным рукам. Я ей сказал об этом.

Глаза ее мягко улыбнулись, щеки порозовели, и она ответила:

— Мон шер ами, у меня нет ни одной свободной минуты, чтобы позировать.

— Тогда разрешите мне сделать с вас во время работы несколько пастельных набросков.

— Пожалуйста.

Лицо ее с тонкими чертами, было бледным и усталым.

— Когда-то, — сказала она грустным и тихим голосом, — на голове у меня были темно-каштановые волосы, а рот был полон белых зубов.

— Но вы выглядите и теперь моложаво, мадам.

— Что вы! Что вы! — ответила она, смущенно улыбаясь. — Я так много в жизни работала, — прибавила она, — что даже не заметила, как ушла молодость и пришла старость.

Когда по цветным наброскам писал ее трудоемкий портрет — я много думал об удивительном трудолюбии французских художников, скульпторов и писателей. Я вспоминал их биографии и диву давался: как высок и силен был у них культ труда.

Я вспомнил своего друга — скульптора Жозефа Бернара, работающего десять часов в сутки. Так работает и талантливый Бурдель. Гениальный Роден, чтобы не отвлекаться от работы, бросил курение. Великий Сезанн свыше сорока лет работал с утра до захода солнца, а за день до смерти мечтал о том, чтобы закончить портрет своего садовника. Манэ свой первый шедевр, большое полотно "Завтрак на траве" создал, когда ему было тридцать один год. Основатель импрессионизма Клод Моне за летний сезон написал двадцать больших этюдов с Руанского собора. Я внимательно изучил один из этих этюдов. В некоторых его местах я насчитал семь слоев густой краски. Это большая трудоемкая работа. Таков труд отца новой импрессионистской техники! Не знал отдыха и одержимый, психически больной Ван Гог.

Биографы Делакруа рассказывают о нем много примечательного.

Делакруа старался ничем не прерывать правильный ритм своей работы. Он почти всю свою творческую жизнь провел в мастерских.

Сорок лет он жил уединенно, держа дверь на запоре, чтобы никто не мешал ему работать. Он ничего не ел до вечера, полагая, что натощак лучше работается.

Так работал гениальный Делакруа, оставивший после смерти свыше двух тысяч замечательных работ.

Французская общественность, чтобы исправить ошибку, допущенную в оценке его творчества, поставила ему в Люксембургском саду большой эффектный памятник и много его работ поместила в Лувр.

Тот же культ труда мы наблюдаем и у писателей. Мопассан ежедневно работал утренних шесть часов. После его недолгой жизни (он прожил 43 года) осталось свыше двухсот рассказов и романов.

Так же одержимо работал и Золя, оставивший целую библиотеку своих трудов.

Готье рассказывает: "Единственная уступка, на которую Бальзак соглашался, и то с сожалением, это чтобы видеться с любимой женщиной по получасу в год".

"Я одурел от искусства и эстетики", — говорил Флобер. Все большие французы были одержимы культом труда. Я понял, что только таким трудом можно было создать столь высокую и богатую культуру, которой увлекаются народы всего мира.

ВЛЮБЛЕННЫЕ

1912 год. Они появлялись на Сен-Мишеле, как только сумерки мягко окутывали бульвар легкой синевой, и шли вверх от музея Клюни к площадке Обсерватуар.

Они шли медленно, тихо и молча. Дойдя до "Египетского кафе", они останавливались, несколько минут рассматривали сумеречное небо и шедших вверх и вниз веселых людей. Потом они неторопливо усаживались на стоявшую против кафе под черным деревом равнодушную скамью. Склонившись к своему возлюбленному, девушка клала свою небольшую голову на его плечо, а он свою возлюбленную скульптурно обнимал. И застывали. Так они сидели около часа.

Яркий газовый свет, падавший из дверей и окон кафе, театрально их освещал. Я их хорошо рассмотрел. Лица — скромные, спокойные и простые. Резкие звуки джаза,

вырывавшиеся из дверей кафе, и уличные песни подвыпивших художников и студентов, окружавших кафе, их не беспокоили. Потом влюбленные впадали в привычную и приятную дремоту.

Часов в десять, когда движение и шум на бульваре усиливались, возлюбленный крепко обнимал свою возлюбленную, и оба засыпали. И казалось, что передо мной каменная глыба работы ранних греков. И веяло от них также чудесной скульптурой Родена "Поцелуй".

Все назойливее становился шум бульвара и кафе, душнее был отравленный газом и вином, ночной сен-мишельский воздух, а они спали каменным сном.

Проходя мимо них, я всегда на несколько минут останавливался, пристально и с жаром их рассматривал и напряженно думал об их жизни, судьбе... Кто они? Чем занимаются? Почему нужда их ежедневно гонит на ночной и пьяный Сен-Мишель? Как-то раз я близко подошел к ним. Мне хотелось проверить, шепчутся ли они между собой, но они крепко спали. В другой раз, тронутый их таинственным волнующим образом, я бросил им на колени несколько нарциссов, но никакой реакции не было. Моя память, умеющая хранить и беречь прошлое, сохранила еще одну яркую сцену, связанную с этой влюбленной парой.

Однажды, поздно ночью я возвращался домой и, по привычке, шел по Сен-Мишелю. Проходя мимо моих возлюбленных, я, конечно, не мог не остановиться, чтобы передать им мой сердечный привет. Глядя на них, я всегда ощущал радостное волнение, наполнявшее меня большой нежностью к ним.

Я стоял и глядел на них.

И вдруг из кафе выскочила молодая женщина и, бросившись на соседнюю скамью, руками охватила голову и истерично стала орать: "Ma tete! Ma tete!" (моя голова!)

Ее обступила толпа. Начали ее успокаивать, но молодая женщина продолжала орать. Ее страшный, пугающий крик отдавался по всему бульвару, и, казалось, достигал черного неба и волновал сонные звезды.

Я поглядел в сторону моих окаменевших влюбленных. Меня интересовало, как они в этот момент реагируют, но они беспробудно спали.

Рисовать их было неинтересно. Это была только начатая глыба, которую скульптор собирался обсекать. Ни в одном парке или саду, в таком виде, ее нельзя было поставить. Она бы выглядела изолированной и полуживой.

Я рассказал об этих "влюбленных" Мещанинову. Он обещал пойти на Сен-Мишель ночью поглядеть на них и, "если захватит и увлечет", вылепить их.

Вылепил ли он их? Вряд ли.

ПУШКИНИСТ ОНЕГИН

В 1912 г. осенью, в Париже в театре Сары Бернар состоялся вечер, посвященный памяти Герцена. На вечере со своими удивительными воспоминаниями выступал известный пушкинист, собиратель реликвий Пушкина Александр Онегин (Отто). Когда он вышел на сцену, я увидел невысокого старика с головой, словно отлитой из серебра. Черный костюм подчеркивал его небольшую фигуру. Публика горячо зааплодировала. Онегин поклонился и начал глухим голосом медленно рассказывать о встрече с убийцей Пушкина — Дантесом. В зале воцарилась тишина.

До сих пор помню ту взволнованность, которую я ощутил, когда он начал рассказывать об этой встрече. У меня дрожали руки и колени, сидеть было невозможно. Я встал и слушал его стоя. Большинство людей, — я заметил, — также стояло и казалось загипнотизированными. Тишина была настолько абсолютна, что даже его глухой, точно сжатый голос был слышен. Мне даже казалось, что я слышу повышенное биение сердец застывших людей. И когда Онегин начал подробно рассказывать о внешнем виде Дантеса, как убийца себя высокомерно держал, он, проглатывая слезы, замолк и потом, через минуту, сильно волнуясь, продолжал:

— Знаете, кого вы убили?... Вы убили наше солнышко...

И сдавленным голосом, почти шепотом, добавил:

— Гордость России!..

— А я, — нагло ответил мне убийца, — сын французского сенатора.

Онегин кончил свой скорбный рассказ, устало поклонился и маленькими шажками направился к кулисам. Буря аплодисментов заставила старика остановиться. Многие бросились к авансцене, чтобы ближе разглядеть живой осколок ушедшего мира. Несколько мгновений быть ближе к прошлому... Вероятно, были такие, которые стремились пожать старческую руку, столько раз державшую реликвии нашего великого поэта... солнышка России...

Онегин остановился, постояв минуту, сделал прощальный жест рукой и оставил сцену, точно он растаял в декорациях. Взволнованные его выступлением люди долго не расходились.

Прошло почти полвека, но стоит мне сделать небольшое напряжение памяти и вызвать из глубины ушедшего и отцветшего времени фигурку окутанного уже легендой старичка Онегина с его волнующими воспоминаниями — и я вновь переживаю этот вечер и вновь дрожат мои руки и колени...

СТАРЫЙ ПАРИЖАНИН ЛЕОН

У нас были друзья, не занимавшиеся живописью или рисунком, но вместе с нами делившие все тяготы искусства. Они никогда не читали книг по вопросам изобразительного искусства, редко посещали музеи, салоны, но были в курсе всех новостей художественной жизни Парижа. Хорошо знали все интимные стороны личной и творческой жизни Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Утрилло.

К таким друзьям принадлежал наш постоянный натурщик Леон. Его бесстрастное спокойствие во всех рискованных делах, какая-то ленивая самоуверенность в походке, жесте и хлесткая, ироническая фраза, делали его не похожим на всех нас. Он обладал завидной способностью

привлекать к себе монпарнасских натурщиц, видевших в нем своего бескорыстного и вернейшего друга. Они ему больше доверяли, чем своим любовникам. Он умел находить молочные, отпускавшие бедным художникам в кредит молоко, сыр-бри, шоколад, знал все женские монастыри, где по утрам можно было выклянчить чашку молока и кусок свежего хлеба, знал, где на барахолках можно было за какие-нибудь двадцать франков достать один только раз одеванный модный, стального цвета английский костюм. Чего только не знал и не умел Леон? Но все это ничего не стоило в сравнении с его беспримерным талантом находить деньги на улицах. Не отступавшая от Леона нужда, видимо, хорошо поработала над его зрением. Он мог на большом расстоянии видеть валявшуюся где-то в мусоре под деревом маленькую серебряную полуфранковую монету.

Надо было видеть его в момент, когда он, как ястреб, кружился над своей добычей! Какое у него было выражение лица! Какие неописуемые движения! У него была целая система искания подножных денег.

Для своей охоты Леон выбирал предутренние часы. Наспех одевшись и захватив свою удивительную трость, он уходил на Сен-Мишель, стремясь попасть туда до прихода подметальщиков.

Ему нравилась эта романтическая работа.

Бульвар еще спит. Дома, деревья, асфальт в росе, источающей свежую прохладу ночи. Только редкие подвыпившие пешеходы нарушают тишину.

Устроившись под первым каштаном, Леон закуривал папиросу и ждал рассвета. Как только предметы на асфальте становились различимыми, он брался за работу. Тонкая трость с острым наконечником в крепко сжатой руке. Шляпа надвинута на лоб. "Рыбак" ищет серебряных рыбок.

На прошлой неделе Леону повезло, и он нас здорово угостил.

Прогуливаясь вечером после сентябрьского дождя по

Монпарнасу, он заметил у водосточной трубы в небольшой лужице какую-то радужную бумажку. У Леона сердце застучало. Чтобы не возбудить подозрения у стоявшего почти у самой лужицы полицейского, Леон долгое время вертелся у находившегося рядом писчебумажного магазина. Он внимательно изучил портреты писателей и философов, выставленные среди чудесных лиловых конвертов и мраморных письменных приборов, сосчитал все проплывшие перед ним мокрые фиакры, выкурил несколько папирос, но полицейский стоял, точно бронзовая фигура, привинченная к асфальту.

Это начало уже надоедать, но тут на помощь пришло небо. Леону всегда везет. Откуда-то из-за крыш высоких домов налетели тяжелые тучи и начали славно обрызгивать бульвар. Полицейский спрятался в дверях ближайшего кафе. Насвистывая веселую арию, Леон спокойно направился к трубе. Мокрая, испачканная грязью бумажка оказалась настоящей десятифранковой...

Поблагодарив жестом небо, счастливый Леон быстрым шагом отправился домой.

Вечером, собрав нас, друзей, отвыкших от сытой жизни, Леон приказал следовать за ним. Мы ясно чувствовали, что он нас ведет на вечеринку, но делали вид, что не понимаем, в чем дело. Он нас привел в уютный Монпарнасский ресторан, где кормились хорошо зарабатывавшие художники и их ленивые накрашенные подруги.

Побуждаемый чувством великолепия, Леон хотел показать нас Латинскому кварталу во все блеске. И он нас показал.

Выбрав в глубине ресторана пустовавший уютный столик, Леон рассадил всех, как на свадьбе, голосом человека, уставшего от милостей Парижа, громко бросил:

— Гарсон, меню!

И гарсон почтительно подал ему меню.

В такие часы лицо Леона казалось освещенным лучами утреннего солнца.

— Сегодня, друзья мои, — сказал он, — мы живем, как Ротшильды... не отказывайте себе ни в чем!

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕОНА

Мелькнул знакомый силуэт. Леон! Его манера высоко и чуть набок держать голову. Да, это он! Может, у него выужу франк, в крайнем случае, пятьдесят сантимов — и двину к Ротшильду в гости. Вот уж поем этого пресного, как мел, но горячего и плотного риса! Вот уж на славу поем!

Я его нагнал.

— Леон!

Лицо его не сияло радостью. По его глазам я быстро понял, что он занят тем же, чем и я. Он ищет монеты, рассчитывая на весеннее настроение ворчливой Фортуны.

— Куда торопишься, Леон?

— На медицинский факультет.

— Зачем?

— Хочу медикам свой мозг запродать. Не возьмут мозга, тело предложу.

— Мало дадут, не советую.

Я ему стал доказывать, что французы народ скупой и мелочный.

— Да, не оценят, — соглашался он. — Ты прав насчет французов. Скуповатый народец. Правда, и туловище у меня не первого сорта. Никому я теперь не нужен, и ничего я теперь не стою. А было время, — с глубокой печалью добавил он, — когда в бумажнике моем лежали радужные, как сегодняшний день, бумажки и когда нижний этаж честно и бесперебойно работал. Куда же ты советуешь податься? Не на Марс же мне поплыть. Там сидят нищие евреи, для которых пять франков — капитал. Черт знает что такое! Не иметь франка, чтобы посидеть в кафе с таким другом в такой чудесный день!

Я шел рядом с ним, слушая его горячую, прыгающую речь. На углу Суфло мы остановились.

— Пойдем, сэр, ко мне, — важно сказал он мне. Может, в моем скромном буфете найдутся еще сухарики... Выклянчим у хозяина отеля бутылку пива. Посидим, поболтаем. Как думаешь, сэр?

Я согласился.

Он жил на Сен-Жаке 82 в старом и грязном отеле. Над покосившейся входной дверью висела ветхая и жалкая вывеска со смытой зимними дождями надписью: "Отель Генриха IV". С большим трудом мы одолели лестницу, кривую и темную, как ночной монмартрский переулок, и липкую, как рыбный отдел центрального рынка. Леон громко и властно командовал: "Сюда, сэр, влево, держитесь крепче, мон шер, смелей!"

— Знай, Леон, — сказал я ему, переведя дыхание, — ты мне за эту лестницу заплатишь лишним сухарем.

— Ладно, сэр. Ну вот и мой Пти палэ! — провозгласил он торжественно. Он отпер дверь. В нос ударила смесь крепких запахов несвежего белья, мочи и клопов. Грустная романтика хорошо знакомых мне нищих отелей. Комната была тесно заставлена старой рухлядью и казалась необитаемой. Точно склад старьевщика.

— Отдохнем чуть в этом прелестном уголке, — говорит он усталым и разбитым голосом.

Я сижу в жестком нищенском кресле и рассматриваю владельца Пти палэ. Глаза человека, уже не считающего проигранных партий. Такие люди на удары Судьбы уже не отвечают и не обороняются. Они только стараются сделать удары не очень тяжелыми, для чего пользуются хорошо известным методом поставленного воротника. Лицо его, как всегда, чудовищно гладко выбрито. Редкие напомаженные черные волосы деликатно прикрывают стыдливую лысину. Под нижней, несколько выпяченной губой, небольшая, но значительная морщинка — отпечаток забот и снисходительности. Шелковый галстук — черное с золотом. Воротничок утомляющей белизны. Трость камышовая с металлическим набалдашником, счастливо купленным у старьевщика на утренней Муфтарке. Природа с ним обошлась довольно дружески. Она его наградила редчайшим уменьем нескучно жить и ладить с нуждой. Мне нравилась в нем эта ценная способность.

— Где же твое миндальное печенье, — спросил я его.

— Не торопись, мой друг. Доберемся и до него.

Он встал, подошел к комоду с отбитыми углами и, насвистывая уличную песенку "Мариетта", выдвинул верхний ящик и запустил в него обе руки.

— Вот мое угощение, — сказал он. — Подойди ближе.

Я подошел к комоду. На дне ящика я увидел множество фотографий.

— Угощаю. Это все мои романы и увлечения за двадцать лет. Смотреть можешь сколько хочешь, — только одно условие — ничего не брать.

Я дал слово.

Замусоленные, грязные фотографии. Видно было, что их часто брали потные замаранные руки. Были и без углов, изодранные, с полустертым изображением. Я их стал внимательно перебирать, рассматривать. Груди, шеи, глаза, носы, шляпы, руки и ноги. Жирные, толстые, худые, костлявые. Богатейшая коллекция морд, лиц и личиков, от которых Домье и Доре пришли бы в восторг. Никогда в жизни не забыть мне ее.

— Неужели все они собраны тобою? — спросил я.

— Да, мною, — гордо ответил он. — Двадцать лет — понимаешь, друг мой. Двадцать лет! Это почти вся моя жизнь. Как тяжело думать сейчас об этом. Точно совсем недавно я их обнимал этими руками (он протянул свои костлявые большие руки), целовал вот этими губами (указательным пальцем он указал на свои влажные губы). Точно вчера я вдыхал запахи их кожи, волос... белья. Я как будто слышу их голоса, смех, плач... Живы ли они? Что с ними? Я только одну встречаю — Мари. Но эта, некогда чудесная девушка, чудовищно постарела. Какие-то руины! Тяжело глядеть на нее. Руины, руины... — уже забыв о моем существовании, твердил он про себя.

Спазмы голода и его истеричная речь меня утомили. Я почувствовал, как во мне росло и ширилось раздражение.

— Да, Леон, все они чудовищно постарели и служат консьержками в грязных, вонючих отелях, — говорю я, чтобы поддеть его. Его левый глаз прищурился, пряча

вспыхнувший огонек злобы. Отвисшая нижняя толстая губа неприятно обнажила его вставные фарфоровые зубы.

— Старость — вот самая пакостная вещь! Как умно поступил Лафарг с женой. Ты знаешь, они, как только почувствовали, что старость их взяла за бока — покончили с собой.

И простирая ввысь руки, он придушенным голосом произнес благоговейно: "Вот храбрецы!"

Несколько минут он торжественно молчит, потом порывистым движением вытаскивает из ящика пачку фотографий и жадно разглядывает их. Затем он их патетически бросает на стол.

— Милые мои, дорогие мои, что с вами? Где вы? Вспоминаете ли вы меня?!

Голова его опускается над ними. Что-то шепчет им.

Я начинаю понимать, что никакого угощения не будет, что пиво с сухарями — это блеф, что Леон меня завлек к себе с тем, чтобы сделать из меня аудиторию, публику. Цель достигнута. Мы свои роли сыграли и теперь можем расстаться. Теперь он может спокойно собрать свою замечательную коллекцию и спрятать ее в комод в муфтарском стиле до следующего сеанса. Мною овладело сильнейшее раздражение. Я бросился на улицу. Нарядно одетая толпа плыла вниз по Сен-Жаку в сторону Сены. Когда я взглянул на дома и деревья, забрызганные густым, горячим солнечным светом, а потом поднял голову к расплавленному ультрамариновому небу — мне стало так легко, что готов был простить ему все. Я даже готов был видеть в его коллекционировании возлюбленных один из видов сильнейшей, достойной уважения страсти. Брать фотографии в руки, глядеть на них, переживать все сызнова, волноваться. Трогательно! Он, вероятно, потерял бы смысл своей жизни, если бы кто-нибудь украл бы у него эту чудовищную коллекцию.

Через минут пятнадцать я уже шагал по Сен-Мишелю. Мои глаза жадно вглядывались в сухой пыльный асфальт. Надо было спешить, чтобы не опоздать к миллионеру Ротшильду в гости!

ОТЪЕЗД НА РОДИНУ

Сентябрь. 10 часов утра. За большим окном Ротонды сияющее нежно-голубое небо и в последнем золотом наряде деревья.

За нашим столом близкие друзья: Мещанинов, Федер, Инденбаум и Малик.

На столе праздничный натюрморт. Большое фиолетовое блюдо с горкой золотистых горячих сандвичей, две бутылки красного вина и четыре больших апельсина.

За нами ухаживает знакомый смуглый гарсон. Во рту у него погасшая сигара, которую он лениво жует.

Заседание открыл наш неутомимый вожак и оратор Оскар Мещанинов.

— Друзья, — сказал он мягким баритоном. В крепкой руке скульптора бокал с вином.

— Я хочу говорить о моем плане отъезда нашего друга Амшея на родину. План состоит из трех частей. Часть первая — это как добыть материальные средства для нашего друга. Я предлагаю для решения этого вопроса устроить уличную продажу его работ. Как это делают Ордисты. И когда он продаст десяток пейзажей и натюрмортов, мы, окрыленные, отправимся на блошиный рынок.

Он смолк. Потом, глотнув красного и немного понизив голос, продолжал:

— Вторую часть моего плана я назвал внешним оформлением.

На рынке мы купим английский, красивый, модный костюм, элегантное демисезонное пальто, испанскую круглую шляпу и лаковые туфли марки "Impossible". Погодя, он продолжал:

— За все эти вещи, я уверен, мы уплатим около семидесяти франков. Не больше. На Родину он приедет хорошо одетым. Как настоящий парижанин, себя и нас — друзей не посрамит. Родные должны его встретить с радостными лицами.

Я начал прощаться с Парижем. У меня был разработанный, казавшийся мне удачным план прощания.

Главная цель его заключалась в том, чтобы набрать как можно больше впечатлений, которыми я буду жить на Родине.

Две недели прощания.

Я решил написать несколько пейзажей. При мысли, что могу еще посидеть на берегу Сены и писать согревшие мою жизнь поэтические пейзажи, сердце радовалось. Я буду писать парижскую осень — самое красивое время года! Пейзажи наполнят мою душу любовью к этому великому и удивительному городу.

Потом я решил походить по музеям, зайти в Ротонду и в обжорку "к матери с очками", накупить себе красок, карандашей и кистей. А для близких людей купить несколько недорогих сувениров. И все.

Начал я с любимого Люксембургского музея. В 10 часов утра его тяжелые двери медленно открылись. Я, вероятно, был первым посетителем. Я ходил по залам, долго и близко разглядывая каждое полотно. Два с половиной года я учился у этих замечательных, покоривших уже весь мир, мастеров.

Я вспомнил их трагическую жизнь, неустанную тяжелую борьбу за свое творчество, за право жить и работать так, как они хотели. И мои глаза, я чувствовал, увлажнились

Особенно тяжелую жизнь прожили такие великие мастера, как Манэ, Сезанн, Гоген, Ван Гог и Тулуз-Лотрек... Да и другие мастера — Писарро, Ренуар и Сислей не знали счастливых дней и легких лет. Долго, долго я буду вспоминать их вдохновенное, блестящее, дающее радость и счастье людям искусство.

После Люксембурга я решил сходить на Монпарнасское кладбище и положить на могилу моих дорогих Мопассана и Бодлера несколько астр.

На этом кладбище похоронены видные русские революционеры. Среди поставленных им памятников выделяется памятник Лаврову. Направился к могиле Мопассана. Медленно, с взволнованным сердцем, подошел я к скромной, ничем не выделявшейся могиле. Невысокая чугунная ограда, темно-красная бронзовая, покрытая пылью плита, и на ней надпись: "Здесь покоится прах великого писателя Ги де Мопассана. 1850-1893 гг."

— Прожил, — подумал я, — только сорок три года, и такое богатство оставил людям.

Причем, не следует забывать, что больше года он провел в психиатрической больнице, где уже, конечно, не работал, и около года он жил на юге у друзей, отдыхая от литературы.

Вокруг плиты в виде символической рамы цветник из анютиных глазок. Синих, желтых и белых.

Все. Я положил на плиту три белые астры. Пользуясь тем, что охраны здесь не было, я сорвал несколько анютиных глазок и спрятал их в пиджачный карман... В отеле положу их в томик Мопассана.

Потом я подошел к могиле Бодлера (1821—1867 гг.). Здесь на могиле поэта стоял большой, сделанный в символическом стиле из парижского песчаника памятник. Автор — бельгийский скульптор. Фамилию его в памяти не сохранил. Памятник производил большое впечатление. Особенно осенью, когда ветер с деревьев срывал желтые листья и бросал их на памятник. На высоком пьедестале лежит завернутый в саван, с обнаженной головой мертвый поэт. Над ним склонилась мрачная голова гения зла. Здесь я также простоял десять минут и на пьедестал положил также три астры.

Когда я приехал на Северный вокзал, друзья уже были в сборе. Пришел и скульптор Инденбаум, старый и искренний друг, умевший в тяжелые минуты утешать меня. Пришел и Леон, натурщик, никогда не расстававшийся с нами. Все пришли: Мещанинов, Федер, Малик. "Как хорошо, — подумал я, — что они меня в этот грустный день не забыли!"

Вокзальные часы показывают 12. Осталось 20 минут до отхода поезда. Началось прощание. Все меня крепко обнимали, глубоко заглядывали в мои усталые глаза. Крепко жали мои холодные руки. Целовали. Все было насыщено сердечной искренностью. Я чувствовал, что с сердцем происходит что-то неладное.

Первым заговорил Федер.

— Дорогой друг, — сказал он мягким и бодрым голосом. — Мне тяжело расставаться с тобой, я очень к тебе привык. Всем сердцем чувствую, что уезжаешь надолго. Может, на год-два, а может, больше. Жизнь, мой друг, неумолимый жестокий режиссер.

Он смолк, а потом продолжал...

— Всегда пиши, при любых условиях пиши. Вспоминай о Париже. Ты его не поругивай... Он к тебе тепло относился. Ты просто его не понял...

Федер улыбнулся, ему, вероятно, после грустных слов захотелось пошутить, перед моим отъездом сказать что-нибудь веселое, и он сказал:

— Подумай, он тебе дал много утешений — великолепную мастерскую на Рю де ля Санте 32, рядом со знаменитой тюрьмой Санте. Над ее входом, на верхушке ворот, имеется историческая революционная надпись: "Liberte, Eqalite, Fraternite" (Свобода, Равенство, Братство). Ты, конечно, скажешь, какая ирония. Потом, — добавил он, — напротив мастерской твоей женский монастырь. Каждое утро в открытом окне у ворот ты видишь нежные женские руки. В одной — кружка молока, в другой — кусок белого хлеба. Вот тебе готовый завтрак! И невдалеке от мастерской знаменитая парижская венерологическая больница Кашена.

Чего тебе, друг мой, еще надо?

Мы рассмеялись.

Началась трогательная сцена — передача сувениров. Мой пульс усилился.

Первым, как всегда, выступил Ося Мещанинов. Он мне принес большую жестяную коробку с лефрановской гуашью. Чудесные краски!

— Будешь писать — меня вспомнишь, — улыбаясь, сказал он. — Ты, друг, получаешь отпуск на один год. Не больше. Осенью в будущем году ты должен быть опять с нами. Прощай! До свидания!

Инденбаум, с присущей ему скромностью, сказал мало, но тепло.

— Гляди, друг, любуйся! И не забывай автора.

Он вынул из сумки небольшой каменный женский торсик и стыдливо его мне передал.

Леон торжественно, с широко открытыми глазами, преподнес небольшую книжку-монографию об Эдуарде Манэ.

— Дарю тебе, — сказал он, — книжку, с которой можно хорошо и интересно прожить всю свою жизнь. Береги ее. Прощай!

Наконец, Жак Малик. Он мне принес завернутый в холстик, небольшой, но приятный по форме, стульчик.

— Я ничего не скажу, — громко прошептал он. — Стульчик, когда к тебе привыкнет, все расскажет.

— Да, вспомнил, — сказал он, — Кремень просил у меня на память небольшой натюрмортик. Вот он. Бери.

Я взял.

Я всех крепко расцеловал.

До отхода поезда осталось пять минут.

Пять минут, которые западут в нашу память и никогда не увянут.

Поезд тихо оторвался от вокзала и друзей и медленно, неохотно, словно зараженный моим состоянием, пошел.

Я вошел в вагон и стал у окна. Поплыли каменные заборы, крыши с высокими, тонкими трубами и нежно-голубое небо.

— Прощай, — прошептал я, — город, где учился искусству, страдал и созрел как художник.

Опять вспомнил знакомую, гениальную фразу Достоевского. "Париж — город, где можно страдать и не чувствовать себя несчастным."

ДВА МИРА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Странные вещи происходят в искусстве: чем глубже стремимся мы постигнуть его законы, тем встает большее число вопросов. Даже простые и, кажется, давно известные истины так часто ввергают нас в бесконечные споры.

В окно уже стучится XXI век, а мы все еще не можем до конца понять, что есть, вообще, искусство? И в чем его тайный смысл? И как, например, живопись соотносится с окружающим нас миром? Можно до утра перечислять эти вопросы, которые невольно приходят в голову, когда бродишь по галереям нью-йоркского Сохо, открывающим нам с разных сторон мир современного искусства.

Над чем-то подобным размышлял и я, когда оказался в Мими Ферцт галерее на Принц стрит, где были выставлены работы русского художника Михаила Александрова. Ему и посвящается наш сегодняшний вернисаж. То, что он необычен и в манере своей дерзко независим, чувствуется сразу. Однако в чем покоряющая сила его работ? И, вообще, откуда этот Александров и его полотна? Критики, которые не обходят художника вниманием, пишут о влиянии русских иконописцев, что многое в нем от эпохи Возрождения, что-то от средневековой аскезы, но чем упорнее я пытаюсь понять его излучающие свет образы, его горящий красками мир, вознесшийся над прозой жизни и будто пришедший из других эпох, тем больше ощущаю встающие передо мной трудности. Что значат лики его таинственных пришельцев? Я бы назвал их инопланетянами, если бы не их бесконечно знакомые лица. Приходят мысли о русской старине с ее златоглавыми соборами и поющими колоколами, мысли о великих святых и кающихся грешниках. Что-то в этих лицах от раннего христианства, от творений великих итальянцев, наполнивших светом всю нашу новую историю. Не является ли само их появление в Нью-Йорке, среди его ослепляющего блеска и нищеты, среди свалок гарбиджа, средь сумасшедших уличных криков и бродячих бездомных, — не есть ли само их явление в этом гудящем, сатанинском мире — своего рода вызов художника этому миру? По-английски — челендж? На иврите — эдгар? На любом языке существует это понятие. Тем более на языке искусства — эта томящая жажда вырваться, разорвать оковы традиций!

Хочу услышать обо всем этом от самого Александрова, звоню по телефону в его манхэттенскую студию, чтобы взять интервью.

— Окружающий мир? Я не приемлю этого мира, меня не тянет живописать его маразм и уродства, хотя для многих моих нью-йоркских коллег он и есть главный предмет их искусства, насквозь пронизанного сарказмом, обличением и негативизмом. Я думаю, что искусство не мыслимо без вознесения, без Бога, без десяти заповедей. Религия? Церковность? Ах, все это слова, за которыми может ничего не стоять. Все дело в видении художника. Почему я работаю так, а не иначе? Может быть, важно то, что я жил в мире несвободы и насилия, нет, я не был диссидентом, все это не по моей части. Но я вырос среди русской культуры, и именно русская икона (с которой критики связывают мой путь) стала для меня истинным символом духовности.

Возможно, по телефону все это звучит неубедительно и сумбурно, — неожиданно смолкает мой собеседник и, помолчав, интересуется, нет ли у меня факса, он может мне кое-что прислать.

И вот передо мной никогда не публиковавшаяся статья Александрова. Из нее, впрочем, мы мало что узнаем о жизни художника, что родился он в 1949 году в Вильнюсе, что еще в юности порвал с художественной академией по причине ее полного несоответствия его взглядам на искусство, что в 1980 году он эмигрировал через Толстовский фонд в США, где выставлялся во многих галереях.

Перед нами совсем другая история — история его вхождения в единственно важный для него духовный мир, сквозь призму которого он смотрит на искусство и на самое жизнь.

"В раннем детстве я представлял вселенную как величественную конструкцию на фоне ночного неба. В этой картине было много единства, стройности, красоты и, главное, это строение было исполнено вселенской важности. Когда пришла юность, мир начал терять свою стройную ясность, и только искусство оставалось отблеском художественной значительности другой, вечной реальности. Но пришло время и единство вернулось снова, вселенная стала опять обретать цельность, но не складываясь, как в детстве, в конструкции и волшебные замки, теперь угадывался мир, не нуждающийся в этих построениях. Искусство же по-прежнему казалось отблеском другой реальности — вечной, благородной, бессмертной, но не метафизической, а духовной, которая не нуждается ни в каких построениях. Преобразующее прикосновение духовного мира способно трансформировать бесплодный труд» убогую материю, неудачное творчество в нечто прекрасное, вечное. И не важно, какой стиль на дворе — барокко, классицизм, постмодернизм — все способно ожить. Я хочу отметить эту существенную, на мой взгляд, разницу между двумя мирами — метафизическим и духовным, так как в наше неясное время зритель нередко не чувствует ее. Конечно, искусство — о человеке, однако во все ключевые моменты его жизни, когда все уровни нашего существа находятся в напряженном взаимодействии друг с другом и другими мирами, искусство выступает в виде символов. Все великие произведения глубоко символичны. Портреты Рембрандта при всей их видимой натуральности выступают как символы человеческого благородства, душевной красоты, они возникают на темных, дымных фонах, как одинокие души, как пламя свечи, противостоящей отступившей тьме... С символами связан и вопрос о безобразном в искусстве. Некоторые зрители ищут в живописи уродства повседневной реальности. Нужно помнить, однако, что злобные конфликты, моральная деградация — ато только внешнее проявление внутренних, иногда болезненных процессов в области духовной жизни. Проникая в духовную сущность этих проблем, не боясь страданий и трагизма — без них ведь нет жизни — искусство тем не менее всегда стремится "вверх", "домой" в мир вечной гармонии."

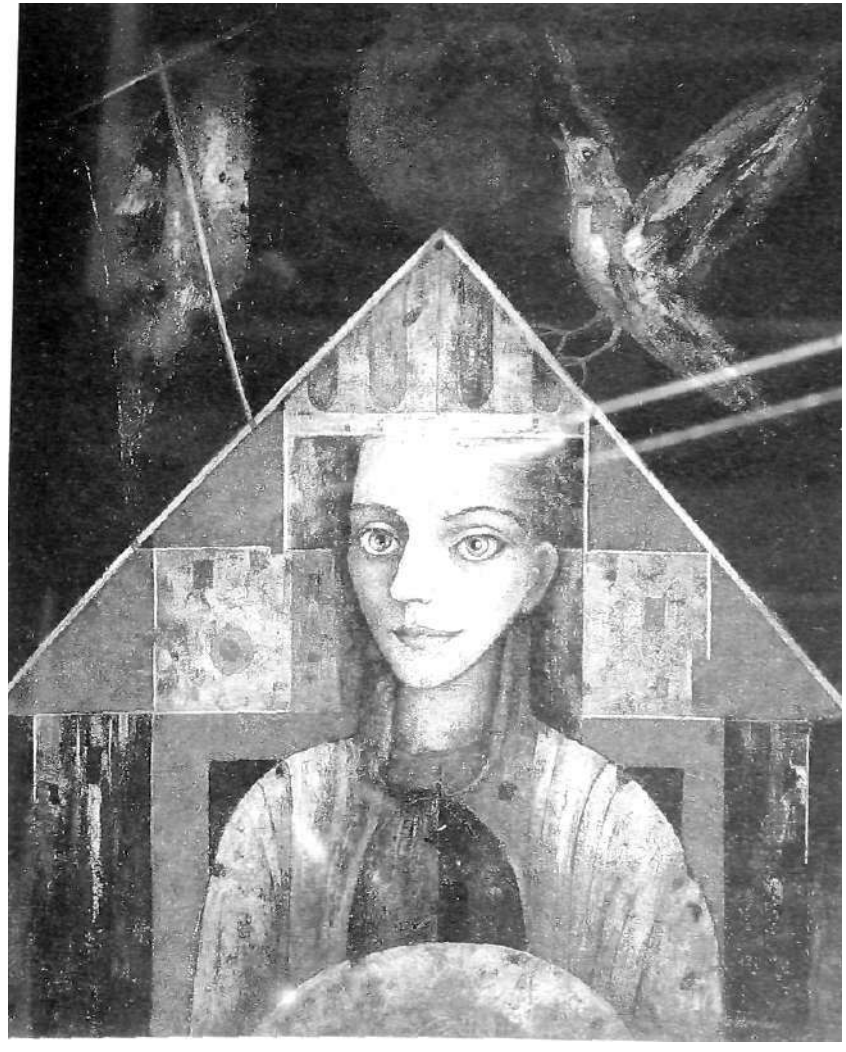
В. Петровский

Женщина и кошка.
Масло. Холст. 1994

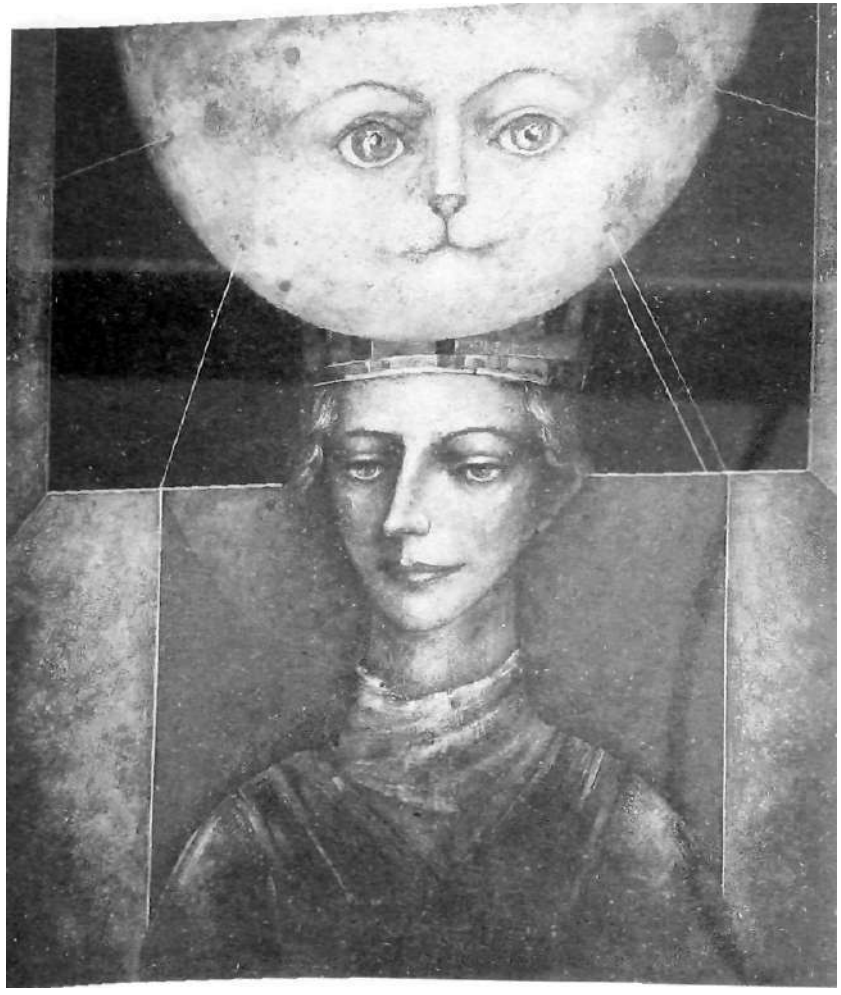
Возмужание.
Масло. Холст. 1994

Воходящее солнце.
Масло. Холст. 1993—1994

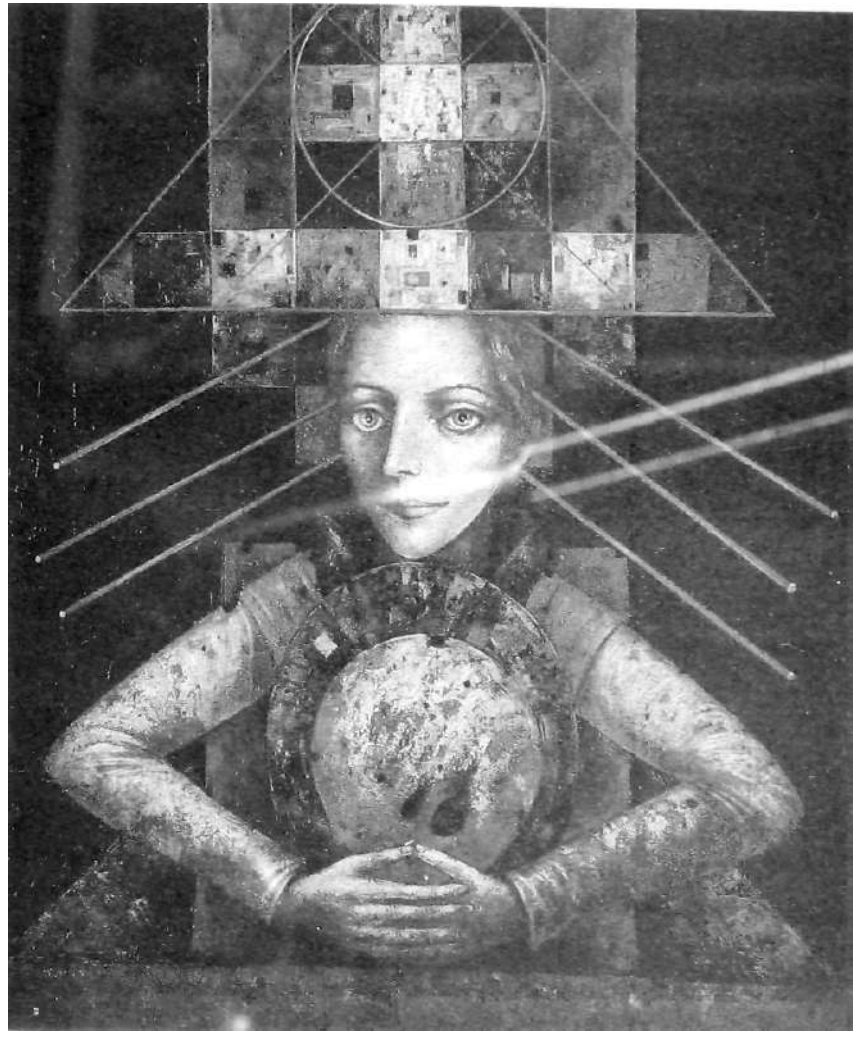
Он и другие.
Масло. Холст. 1994



Поющая птица.
Масло. Холст. 1994



Облако.
Масло. Холст. 1994



Медитация.
Масло. Холст. 1993—1994

Девушка и единорог.
Масло. Холст. 1993

Российскому библиотекарю

Э. ШТЕЙН

КНИГОХРАНИЛИЩЕ XXI ВЕКА

Вначале одно признание: как я, Эммануил Штейн, владелец издательства "Антиквариат", библиофил и библиограф, оказался перед лицом довольно сложной задачи. Как ни странно, причиной стала библиотека Йельского университета. В прошлом сам преподаватель Йеля, я бывал в этой библиотеке бессчетное число раз, казалось, неплохо знал ее, но все происходило до той минуты, пока я не взялся о ней писать. Взялся и вдруг почувствовал, что не знаю, с чего начать. Библиотека огромна, размещается в тридцати зданиях, насчитывает десять миллионов томов. Добавим еще тысячи географических карт, рукописей, грамзаписей, коллекции редчайших монет, картины, для которых специально построены две галереи. Библиотечные каталоги, словно гигантские мортиры, обстреливали меня множеством цифр, но странное дело — цифры, которыми был испещрен мой блокнот, мало при-

ближали меня к тому, что мне хотелось прочувствовать — к живому дыханию этой уникальнейшей в мире библиотеки.

Вместе с куратором Славянского отдела югославкой Татьяной Лоркович мы идем по главному зданию библиотеки, построенному в 1935 году и носящему экзотическое название "Стерлинг" (по имени одного из выпускников Йельского университета и впоследствии крупного филантропа). На семи этажах здания, построенного в готическом стиле, размещены многочисленные методкабинеты, длинные, стометровые стеллажи, читальные залы и почти четыре миллиона книг и журналов. Несколько лет тому назад, рассказывает Татьяна Лоркович, здесь был открыт особый читальный зал, зал микрофильмов, в котором вы найдете 125 тысяч наименований и где можно познакомиться с любой диссертацией, защищенной в университете с 1965 года. Татьяну Лоркович сменяет в роли гида заместитель куратора другой уникальной библиотеки, носящей еще более загадочное имя "Байнеке", где наряду со старинными книгами собраны ценнейшие архивы, документы и письма, сохранившиеся с начала века. Впрочем, мой новый гид — француз Винсен Жиру, как и Татьяна Лоркович (оба они давно американцы), рассказывают о фондах библиотеки олимпийски бесстрастным тоном, не выказывая ни малейших эмоций, и опять же пересыпая информацию массой цифр, которые мне явно мешают проникнуть в то самое сокровенное, что я называю живым дыханием библиотеки.

Словно уловив мои мысли, Жиру на удивление мне прерывает свой бесстрастный поток и спрашивает:

— А вам известно, что за несколько лет до своего возвращения в Россию у нас был Солженицын? Что делал? Знакомился с письмом Распутина, в котором тот предупреждал царя о бедах, которые обрушатся на народ, если Россия вступит в войну с Германией. (Позже меня познакомили с оригиналом этого послания, текст которого я привожу.)

"Мой друг скажу грозна туча нат расейей беда горя

много темно и просвету нету, ты царь отец народ не протибезумным торжествовать и погубить себяи народ вот германию победяти расея" — таково бредовое послание этого всемогущего и безграмотного безумца при дворе императрицы. (Сохранена авторская орфография и синтаксис.)

Жиру знакомит меня с архивом генерала Спиридовича, где хранится письмо Распутина и в котором собраны уникальнейшие материалы о Николае Втором и членах его семьи, рассказывает о шести царских фотоальбомах, в которых вклеено около 3 тысяч неофициальных семейных фотографий из жизни царской семьи, сделанных в период с 1906 по 1914 годы и принадлежащих фрейлине императрицы Анне Вырубовой. Тут же хранятся и 35 писем, посланных Николаем Вторым Анне Вырубовой из заточения. Чем дальше, тем интереснее. Разговор заходит о подлинных письмах Тургенева к Виктору Гюго и Полине Виардо, которые также хранятся в библиотеке "Байнеке". Здесь и первый роман Набокова "Машенька", опубликованный им под псевдонимом Сирин с авторским автографом на экземпляре, подаренном Ивану Алексеевичу Бунину. "Глубокоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич, мне радостно и страшно посылать Вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго, прошу Вас. Всей душой Ваш Н. Набоков." Рядом с Набоковым книги и архивы Бальмонта, Берберовой, Адамовича, Степуна, Лунца, Терапиано, Гуля, Одоевцевой... Невозможно просто перечислить имена тех, благодаря кому возник в русской литературе "Серебряный век" и с кем имеют возможность встретиться читатели Йельской библиотеки.

Книголюб и собиратель старых русских книг, я, кажется, слишком увлекся описанием русских литературных архивов. Славянская комната — это ведь маленькая толика гигантских книжных собраний Йельского университета, среди которых первоклассная "Химическая библиотека", "Инженерная", "Юридическая", "Математическая", "Библиотека драматургии", "Библиотека леса и окружающей

среды", лучшие в мире "Медицинская библиотека" и "Библиотека художественного факультета".

Пишу об этих богатейших книжных собраниях и невольно думаю о тех, кто будет читать мое эссе. Конечно, информация эта и интересна и познавательна, но другая сторона в жизни библиотеки, очень, кстати, важная, пока остается скрытой в моем рассказе, тайной за семью печатями. А ведь эта "тайна", о которой я пока молчу, не может не интересовать моих российских читателей, и прежде всего читателей-профессионалов, российских библиотекарей, которые так же, как и мои гиды из Йеля — Татьяна Лоркович и Винсен Жиру, борются за решение фундаментальнейшей задачи XX и еще более XXI века: как приблизить накопленное человечеством море информации к ее потребителю. На передней линии этой борьбы, если уж использовать военную лексику, как раз и находятся библиотечные учреждения — и такие гиганты, как библиотека Йельского университета или Санкт-Петербургская Салтыковка и совсем маленькие районные и сельские библиотеки российской глубинки. Разные масштабы, но один и тот же смысл деятельности — помочь читателю в максимально короткий срок найти нужную ему книгу, рукопись, архивный документ, историческую справку.

Давно как будто известен путь, по которому идут современные библиотеки, информационные центры, банки информации. Этот путь — максимальное использование компьютеров на всех участках информационного поиска, являющегося основой библиотечной работы. Но как это ни странно (на это, вероятно, есть свои причины), компьютеризация библиотечной работы все еще идет черепашьим шагом. Загляните в Славянский департамент нью-йоркской публичной библиотеки, крупнейшего книжного центра, расположенного на углу Пятой авеню и Сорок второй стрит. И что бы далеко не ходить, попросите, например, впервые вышедшую в России книгу о Пикассо "Иван Аксенов. Пикассо и окрестности". Вас тут же переадресуют к гигантским каталожным альбомам,

лежащим на столе у входа в Департамент, чтобы вы прежде всего отыскали шифр. В каталогах тысячи названий, и на поиск у вас может уйти и час, и больше, затем вы передаете шифр дежурному по залу, а тот — младшему библиотекарю-книгоноше. Последний отправится на поиск соответствующих стеллажей, и снова ожидание. Процедура эта (хоть и отражает она вчерашний день библиотечного дела) и поныне действует во многих западных и, вероятно, во всех российских библиотеках.

В библиотеке Йельского университета все по-другому. Я — не специалист по компьютерам и при всем желании не могу в подробностях изложить, что представляет собой централизованный компьютеризированный каталог — Орбис с его ста терминалами, установленными в многочисленных залах библиотеки. Чтобы увидеть его в действии, я провел эксперимент с той же книгой "Иван Аксенов. Пикассо и окрестности". Поиск намеренно начал не в "Стерлинге" и не в "Байнеке", а у одного из терминалов "Химической библиотеки", не имеющей ни малейшего отношения ни к искусству, ни к литературе. Приблизившись к столику библиотекаря-консультанта, приготовился объявить, что никакими шифрами об этой книге не располагаю. На что последовал ответ, что ничего подобного и не требуется. Меня попросили назвать лишь три вещи: автора, название и язык книги. И это все. Затем отправили в библиотеку "Байнеке", где и была мне выдана эта одна из важнейших книг по истории русского авангарда. На всю процедуру ушло 14 минут, из них половину времени на переход из "Химической библиотеки" в Главное здание.

То, что время — деньги, в наше время известно даже детям. Но как часто мы без толку транжирим это богатство. Во время своей последней поездки в Москву я отправился в Историческую библиотеку, чтобы просмотреть одну нужную мне старую книгу. В библиотеке провел целый день, и на знакомство с книгой — в это даже трудно поверить — осталось минут сорок-сорок пять. Большая часть дня ушла на поиск книги в разбросанных

по всей библиотеке каталогах, переговоры с консультантами, на нескончаемые ожидания у стеллажей и стоек.

В библиотеке Йельского университета все опять же не так. Чтобы собрать информацию о нужной книге, вам даже не обязательно являться в библиотеку. С разрешения администрации — а получить его очень легко — вы можете подключиться к компьютеру-каталогу из своего дома и тотчас получить информацию — находится ли интересующая вас книга на стеллажах, а, если ее там нет, то когда будет возвращена. (Кстати, за несвоевременный возврат книги насчитывается ежедневный штраф в сумме 0,75 доллара).

Но и это еще не все. Как часто, потратив в поисках книги массу времени и, наконец, познакомившись с ней, вы приходите к выводу, что это совсем не то, что вам нужно. Так вот, в компьютерной системе "Орбис" есть специальная программа, с помощью которой вы можете получить аннотации около трех миллионов книг.

Мне осталось еще сказать о том, что за армия приводит в движение эту сверхсовременную кузницу книжной информации. Ну, прежде всего это никакая не армия, а сравнительно немногочисленная группа профессионалов высшего класса и очень узкой специализации, которые знают очень многое об очень немногом — и потому в любое время могут прийти на помощь читателям любой профессии и области знаний. Иногда это очень непросто. И когда читатель что-то ищет, особенно, если это "что-то" уникальное, то ему даются, естественно, разные ответы и консультации, иначе и не может быть в этом современном и воистину гигантском книгохранилище. Единственный ответ, который здесь крайне редок: "Вы знаете, в наших фондах этой книги нет", и уж совсем невозможно услышать: "И мы даже не знаем, как вам помочь".

По правде говоря, я не знаю, как будет выглядеть библиотека XXI века, но когда пытаюсь представить ее образ, то отныне всегда думаю о книгохранилище Йельского университета, с которым я, в меру своих сил, познакомил читателя.

АЭРОФЛОТ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Факты и комментарии

Слова эти как нельзя лучше отражают наступление новой жизни крупнейшей авиакомпании России, отныне ставшей акционерным обществом. В опубликованном ниже пресс-релизе читаем, что "Аэрофлот" как национальный перевозчик России прокладывает новые маршруты, открывает для своих пассажиров новые города, страны и континенты, что в эти российской авиакомпании существуют такие технологии и методы, о которых ее зарубежные коллеги могут только мечтать. Глубина осуществляемых преобразований не вызывает сомнений, но существует и еще одна, психологическая сторона перестройки, о которой мы мало что узнаем из предлагаемого читателям материала. Этой важнейшей проблеме и посвящается наш редакционный комментарий. Но вначале текст пресс-релиза: "Аэрофлот — российские международные линии".

Начавшийся два года назад процесс создания акционерного общества "Аэрофлот — Российские международные авиалинии" подошел к завершению.

Из государственного реестра российских предприятий

исключены: Производственно-коммерческое объединение "Аэрофлот — российские международные авиалинии", Центральное управление международных воздушных сообщений, Международное коммерческое управление гражданской авиации, Центр международных расчетов, Шереметьевское авиационно-техническое предприятие и Межрегиональное агенство международных услуг "Россия". Все эти предприятия, еще недавно имевшие статус самостоятельных юридических лиц, ликвидированы и отныне входят в состав АО "Аэрофлот".

Принципиально новым является выделение из состава авиакомпании международного аэропорта Шереметьево и его преобразование в самостоятельное акционерное общество со 100-процентным государственным капиталом.

Продолжается процесс приватизации авиакомпании. По его завершении 49% акций будет принадлежать трудовому коллективу. Оставшийся пакет акций (51%) закрепляется за государством на три года. В течение этого времени дивиденды от принадлежащих государству акций останутся в распоряжении акционерного общества и будут направлены на приобретение авиационной техники.

Согласно уставу, АО "Аэрофлот" становится собственником имущества, переданного ему государством, и по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом. Высшим органом управления "Аэрофлота" является Совет директоров, состоящий из семи членов, включая генерального директора. Члены Совета и его председатель назначены Правительством. Генеральный директор руководит деятельностью акционерного общества "Аэрофлот" в период между заседаниями Совета директоров. По его представлению утвержден Советом директоров состав Правления АО "Аэрофлот". С членами Правления заключаются соответствующие контракты. Генеральный директор как руководитель акционерного общества подотчетен Совету директоров.

Совет директоров, Генеральный Директор компании В. Тихонов и члены правления приступили к разработке

новой политики компании, направленной на расширение объема и улучшение качества воздушных перевозок. Планируется развивать авиаперевозки на российском рынке, а также рынке СНГ.

Стратегия нового Аэрофлота — летать безопасно, быстро, с максимальными удобствами для пассажиров. Притом летать там, где есть спрос и предложения, независимо от дальности трассы. Это и определяет задачи Аэрофлота: сохранить высокий уровень профессионализма летного состава и наземного персонала; повысить безопасность полетов; обновить самолетный парк; поднять престиж компании в мире.

Сегодня Аэрофлот осуществляет более 65% всех международных перевозок российских компаний в страну и за ее пределы. С каким бы критерием ни подходить — это крупная компания с многотысячным квалифицированным летным составом и наземным персоналом, сильным самолетным парком.

Ныне в Россию летают более 50 авиакомпаний мира. В свою очередь Аэрофлот регулярно осуществляет технические и коммерческие посадки в 140 пунктах более, чем ста стран мира.

Аэрофлот как национальный российский перевозчик стабильно прокладывает новые маршруты, открывает для своих пассажиров новые города, страны и континенты. Только за последние девять месяцев самолеты под флагом Аэрофлота начали полеты по 23 новым авиалиниям из Москвы в Сиэтл, Мальту, Доху, Дубай, Сан-Пауло, Коста-Рику, Баку и другие города дальнего и ближнего зарубежья.

Конкуренция с зарубежными авиакомпаниями и стремление работать прибыльно заставили пересмотреть частоту и регулярность некоторых нерентабельных маршрутов. Так, временно не выполняются полеты в города Ливии, Ирака, Югославии, Афганистана, Руанды. Сокращение работы летного состава восполняется полетами на внутреннем рынке. Осваивать этот рынок Аэрофлот планирует во взаимодействии с российскими авиакомпа-

19-172

ниями, доставляя пассажиров из зарубежья не только в Москву, но и, например, в Санкт-Петербург, Иркутск или Читу. Такое сотрудничество не только укрепит позиции на авиарынке отдельных компаний, но и в целом поднимет престиж российской гражданской авиации. Кроме того, корабли Аэрофлота уже регулярно летают в столицы ближнего зарубежья: Баку, Киев, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Ереван. В конце 1995 года они будут систематически перевозить своих пассажиров во все столицы и многие другие города бывших республик СССР.

Там, где спрос на услуги Аэрофлота будет стабильно высокий, компания увеличит частоту рейсов, как это сделано на маршрутах в Бахрейн, Чикаго, Мюнхен, Амстердам, Софию и другие зарубежные города.

Эта коммерческая политика уже приносит результаты. Она позволила в последние три года не только сохранить количество регулярных и чартерных рейсов (при том, что некоторые дальние маршруты осваивают большие самолеты), но и увеличить количество рейсов более чем на 5%.

Работники Аэрофлота понимают, что разветвленную сеть международных маршрутов не создать без высоконадежной и скоростной техники. Поэтому в совершенствовании парка авиатехники — а этот парк насчитывает сегодня 112 самолетов — они видят очень важную задачу, которая последовательно решается. Уже сегодня авиакомпания располагает способными летать на дальние магистрали пассажирскими самолетами отечественного и зарубежного производства: Ил-96, А-310, Б-767. Но ставка, безусловно, делается на отечественную технику: российские лайнеры нового поколения нисколько не уступают зарубежным аналогам. Поэтому до 2000 года решено приобрести еще 20 новых пассажирских и грузовых суперлайнеров Ил-96М.

Сегодня в Аэрофлоте создается специализированное подразделение международных перевозок грузов, наряду с ветеранами отечественного воздушного флота Ил-76, в это подразделение входят и новые авиалайнеры Ту-204

и Ан-124 "Руслан". Все они полностью соответствуют международным стандартам и требованиям безопасной эксплуатации. Программа поддержания высокой степени готовности каждого самолета к полету постоянно совершенствуется.

На пути реализации стратегических целей важнейшее значение приобретает управление финансами и инвестициями. В рамках акционерного общества будет единая система управления финансами, причем достаточно жесткая. Для выполнения программ не только эксплуатационной деятельности (она становится все более сложной), но и производственной (например, строительство гостиниц). Для этого планируется шире привлекать зарубежных и российских инвесторов. Это поможет существенно повлиять на увеличение прибыли авиакомпании. Наряду с уже функционирующими двумя гостиницами — "Аэростар" и "Новотель" — обсуждаются проекты нового строительства. Самая важная стратегическая задача Аэрофлота — постоянное повышение безопасности полетов. Ряд профилактических мер компания уже осуществляет. Одно из них — повышение профессионального уровня пилотов.

В Москве создан и действует Центр по переподготовке не только собственного летного состава, но и летчиков других авиакомпаний России и стран ближнего зарубежья. Система подготовки авиационного персонала достаточно эффективна. Ни в одной авиакомпании России и СНГ еще не введена система государственной сертификации пилотов и других специалистов. В Аэрофлоте она действует уже два года, полностью отвечая требованиям международных стандартов.

В компании существуют такие технологии и методы, о которых зарубежные авиакомпании могут только мечтать. К примеру, давно уже введена и успешно работает система послеполетной обработки информации — о техническом состоянии воздушных судов и технологии работы экипажа. Причем каждый пилот может лично проверить на компьютере все те действия, которые он совершал в

реальном полете. Подобного пока нет ни в одной компании мира.

НЕЛЬЗЯ ВЫРВАТЬСЯ ВПЕРЕД, НЕ ПРЕОДОЛЕВ ПСИХОЛОГИИ, ОСТАВШЕЙСЯ ОТ ПРОШЛЫХ ВРЕМЕН.

Комментарий редакции

Так сложилось, что в Москву мне приходилось летать самолетами многих зарубежных компаний. Лишь года полтора назад я, впервые за 20 лет эмиграции, отправился в Россию на Аэрофлоте. Тогда еще только планировалось его преобразование в акционерную компанию, и, по правде говоря, ничего хорошего об Аэрофлоте мне слышать не доводилось. Может быть, поэтому, ожидая посадки в переполненном зале аэропорта Кеннеди, я вдруг засомневался и даже поймал себя на мысли: не влипнуть бы мне часом с этой аэрофлотовской авантюрой? Ни в какую неприятность я не влип. Но стал невольным свидетелем любопытной сцены, впрочем никак не связанной ни с расписанием полета, ни с оснащенностью корабля, ни с качеством сервиса. Теперь уж можно правду сказать: я был приятно поражен полету — ничего подобного, что рассказывали об Аэрофлоте, не было и в помине: ни ужасного обслуживания, о котором ходили слухи, никаких многочасовых ожиданий, никакой грубости со стороны экипажа. Напротив, меня поразила чистота и комфортабельность салона, бортпроводницы были исключительно внимательны, — и сам полет можно было бы назвать приятным и отлаженным, если бы не упомянутая выше сцена. С одной стороны, она вроде бы не стоила и ломаного гроша: один пассажир пожаловался на другого, позвали бортпроводницу, и инцидент был тут же исчерпан.

Но читая о перестройке Аэрофлота, я почему-то сразу вспомнил этот эпизод, одну воистину замечательную фразу стюардессы, говорившую о слишком многом.

Чтобы было понятно дальнейшее, упомяну, что я, как обычно, летел в секции для некурящих. И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что мой сосед справа (судя по всему россиянин, совершавший с группой сотрудников вояж за океан) извлек из кармана пачку "Мальборо" и, закурив, сладко затянулся. Вскоре к нему подошел его товарищ и, склонившись над ним, прикурил от его сигареты.

Сам я бросил курить лет двадцать назад, запаха табака не выносил, но в ночном салоне стояла такая приятная, убаюкивающая тишина, что, закрыв глаза, я заставил себя

забыть о дыме, который лез мне прямо в лицо, и сладко задремал. Разбудил меня громкий кашель пожилого человека с нездоровым цветом лица, сидевшего позади в кресле. Не в силах откашляться, он беспомощно озирался вокруг, и, увидев молоденькую бортпроводницу, обратился к ней за помощью. Та с нескрываемым сочувствием взглянула на него, и — то ли раздраженно, то ли беспомощно — пожала плечами: господи! ну что она с ними может поделать, сто раз просила, чтобы не курили — а им хоть бы что!

— Но во всех нормальных авиакомпаниях есть правило — курить в строго определенных местах, — продолжал возмущаться сосед сзади.

— Сравнили! Так то в нормальных компаниях, — неизвестно чему возмутилась стюардесса, — а мы же Аэрофлот, куда нам до нормальных, кто с нами считается!

Странное дело, не запах дыма, от которого у меня вдруг разболелась голова, и не то, что нарушались элементарные нормы поведения в воздухе, а именно эта случайная реплика испортила мне настроение. Резануло то, с каким самоуничижением эта молоденькая бортпроводница (видно, и летала-то без году неделю) говорила о своей авиакомпании, о своей альма-матер. На мгновение я почувствовал, что и сам теряю к себе уважение, раз вздумал лететь на этом самом Аэрофлоте, но, с другой стороны, думал я, при чем тут компания, столь решительно взявшая курс на перестройку? Дело было в ее людях, или, как теперь говорят, в "человеческом факторе", не поспевающем за жизнью.

Комплекс неполноценности, неверие в себя и свое дело никогда не помогают в жизни. К тому же комплекс этот имеет и оборотную сторону: от подобного самоощущения опускаются руки, теряется ответственность за вверенное дело, словом, с такими взглядами вряд ли возможно добиться чего-то настоящего. Особенно это опасно, когда осуществляются революция или реформа — не важно, в каком масштабе, всей ли страны или одной компании. Когда идет ломка всего старого, особенно нужна смелость, уверенность в себе и в своем деле.

Между тем я чувствовал, что умонастроение молоденькой бортпроводницы присуще не одной ей, а и многим ее коллегам, служившим в Аэрофлоте. Возможно, за годы сталинско-брежневской эпохи комплекс этот глубоко впитался в плоть и кровь людей, тех, кому сегодня надо бы высоко нести голову и гордиться своей авиакомпанией, может быть, самой безопасной в мире, оснащенной сверхсовременной техникой, способной успешно конкурировать с зарубежными партнерами.

Преобразование деятельности Аэрофлота не может не вызвать у каждого из нас глубокого уважения. И прежде всего у его сегодняшних и будущих пассажиров. Эта глубинная реформа открывает новые пути и перспективы. Но оттого еще более назревшей и важной выглядит перестройка сознания людей, — процесс нелегкий и долгий — но согласимся с тем, что его успех наверняка позволит Аэрофлоту еще уверенней двинуться вперед.

В. Александровский

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮРИЙ НАГИБИН. Родился в 1920 г. в Москве. 20-летним юношей в журнале "Огонек" опубликовал свой первый рассказ "Двойная ошибка". После короткого пребывания в медицинском институте, перешел на сценарное отделение института кинематографии. В начале 1942 г. добровольно ушел на фронт, после контузии и выздоровления был военным корреспондентом. Еще в годы войны вышли первые сборники его рассказов "Человек с фронта" и "Большое сердце". За последующие годы издано более 70 сборников рассказов и повестей, вышло собрание его сочинений. Начиная с 1956 г. Юрий Нагибин работал в кино. По его сценариям поставлено более 40 фильмов, многие из них, например, "Председатель", стали классикой советского кино. В 1989 г. Юрий Нагибин удостоен премии лучшего писателя Европы. Он лауреат премии "Золотого льва" в Венеции. Произведения Ю. Нагибина изданы на всех континентах на 80 языках мира. Умер в 1994 году.

ДМИТРИЙ ПРИГОВ. Родился в 1940 г. в Москве. Окончил художественный институт (бывшее Строгановское училище), отделение скульптуры в 1966 г. С 1975 г. член Союза художников СССР, 1991 г. — член Союза писателей, с 1992 г. — член русского ПЕНа. В России опубликованы две книги: "Слезы героической души" ("Московский рабочий") и "Пятьдесят капелек крови". В 1993 г. была присуждена Пушкинская премия фонда Топфера. выставлялся в различных музеях, галереях и выставочных залах Европы и США, лауреат премии Берлинской академии ДААД.

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ. Родился в 1948 г. в Москве. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором-реставратором. Начиная с середины 70-х годов, стихи Айзенберга печатаются в русских журналах за рубежом ("Время и мы", "Континент", "Синтаксис" и др.), а статьи — в московских журналах "Театр" и "Декоративное искусство". В России стихи Айзенберга были опубликованы впервые в 1989 году и с этого времени появляются в журналах "Знамя", "Огонек", "Вестник новой литературы", "Стрелец", 'Театр" и др. Вышли групповые сборники с участием Айзенберга "Понедельник" (М., 1990) и "Личное дело" (М., 1991), а в 1993 году — книга его стихов "Указатель имен". В зарубежных литературных изданиях стихи Айзенберга публиковались в переводах на английский, итальянский и польский языки. Статьи и эссе Айзенберга печатались в журналах "Знамя", "Октябрь", "Синтаксис", "Московский наблюдатель", 'Театральная жизнь", в "Литературной газете".

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 г. в Ростове-на-Дону.

В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: "Ядро ореха" (1965), Обрученный с идеей" (1971, 1986, 1988), "30-е —70-е" (1978), "Лев Толстой и кинематограф" (1980), "Лесковское ожерелье" (1982, 1986), "Локти и крылья" (1990), "Билет в рай" (1989) и многие другие.

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника "Собеседник" и журнала "Столица". Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала "Огонек". Поэт, автор двух сборников стихов: "Декларация независимости" (1992) и "Послание к юноше" (1994). Член Союза писателей. Печатался в "Литературной газете", "Искусстве кино", "Огоньке", "Экране и сцене", "Синтаксисе". Основная тематика публикаций — проблемы культуры и морали, социальная проблематика.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Родился в 1962 г. В 1988-м защитил кандидатскую диссертацию по Пушкину. Автор книг "Стихотворная повесть А.С. Пушкина "Медный всадник" (1990) и "У парадного подъезда: литературные и культурные ситуации периода гласности" (1991). Живет в Москве.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 г. эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией". Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова: "Что знает советская разведка о России", "Посредственность и спасение Запада", "Запад выходит напрямую к гибели", "Где так вольно дышит человек" и др. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в протоколы Конгресса. Регулярно публикуется во многих российских газетах и журналах: "Известия", "Московские Новости", "Литературная газета", "Дружба народов" и др.

СЕРГЕЙ РАХЛИН. Родился в 1943 году в г. Горьком. Закончил отделение журналистики Латвийского государственного университета. С 1967 года регулярно пишет о кино. Работал в отделе культуры рижской вечерней газеты "Ригас Баллс", затем ответственным секретарем латвийского журнала "Кино". Автор сценариев нескольких телевизионных фильмов. В 1979 году эмигрировал в США. Закончил в Лос-Анджелесе аспирантуру Университета Южной Калифорнии, получил степень магистра искусств. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе, ведет раздел кино в еженедельнике "Панорама". Аккредитован как кинокритик при Американской ассоциации кинопромышленности. В последние годы печатался в московских изданиях "Известия" и "Экран".

АМШЕЙ НЮРНБЕРГ. Родился в 1887 г. на Украине, в городе Елизаветграде. Закончив в 1910 году Одесское художественное училище, отправляется изучать живопись в Париж, где в течение года снимает квартиру вместе с Марком Шагалом. В 1913 году Нюрнберг приезжает в Россию и, находясь под влиянием французского импрессионизма, сближается с широко известной тогда группой "Бубновый валет". После революции работает под руководством Маяковского в "Окнах РОСТА". Всю жизнь А. Нюрнберг вел записи и дневники, которые в конце 70-к годов объединил в книгу мемуарной прозы "Рассказы старого художника", которые мы начали публиковать в №124 и продолжаем в №126.

SUMMARY OF VREMYA I MY (TIME AND WE), №126

Yuri Nagibin, "Daphnis and Chloe. A Love Story" (conclusion). The last novel by one of contemporary Russia's best-known writers (see summary of №125).

Grigory Pomerantz, "Awe Before Love." Previously unpublished chapter from the book "Notes of an Ugly Duckling" which contains a hidden polemic with Yuri Nagibin's novel.

Dmitry Prigov, 'The Great Ones." Philosophical verses.

Mikhail Aisenberg, "All Our Doings and OuQjme Are Fragile." Lyrical verses.

Lev Anninsky, "Thoughts of a Marginal Man." The author examines the problems of national identity and ethnic mixing, tackles the question of the connection between the individual's national character and the dominant culture in the country where he lives.

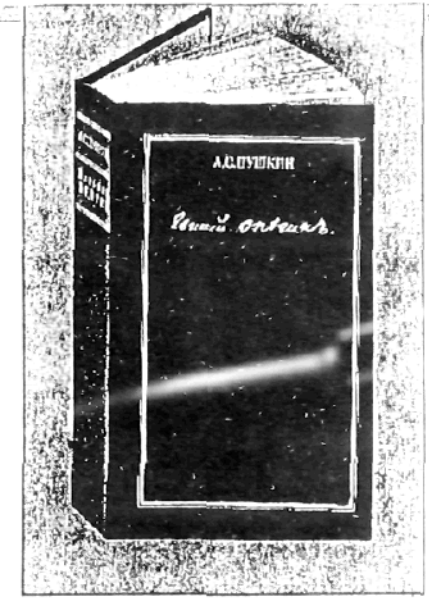
Dmitry Bykov, "Moscow Eclipse." Commenting on the tragic death of "Moscovsky Komsomolets" correspondent Dmitry Kholodov and the ensuing ferment in political circles, the author raises the question of the moral guideposts and principles of modern Russian society.

Alexander Arkhangelsky, 'The Prize Period of Russian Letters." The essay offers a broad range of information about the Booker Prize and modern Russian literature.

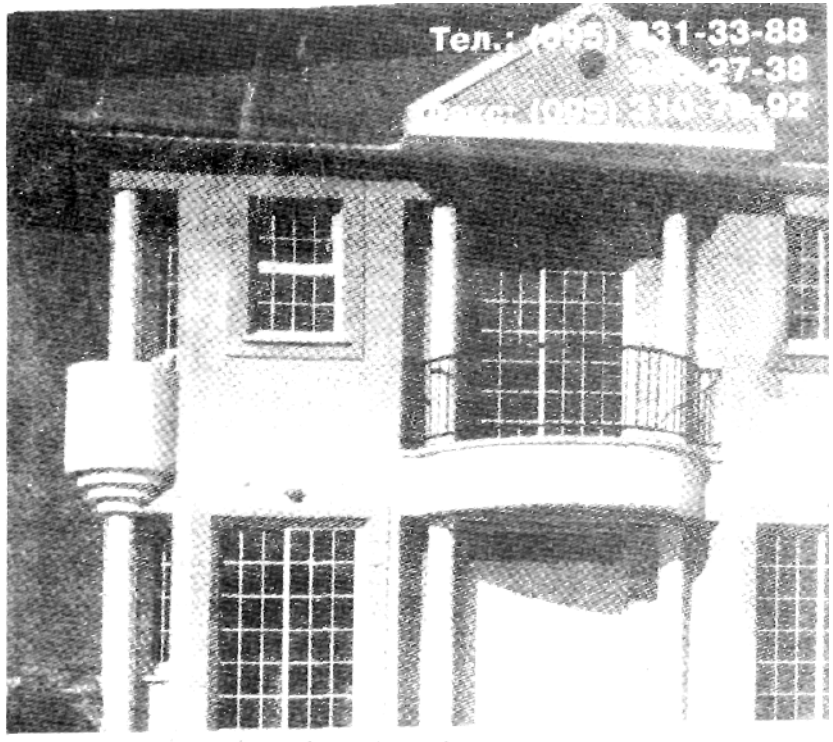
"Zhirinovsky and CBS." A transcript of a conversation between well-known radio commentator Barry Farber and journalist Lev Navrozov about Vladimir Zhirinovsky's visit to the iUrS»

Sergei Rakhlin, "Interview with A. Konchalovsky".

Amshei Nurnberg, "Tales of an Old Artist." The conclusion of Nurnberg's memoirs. (See Summary in Vremya i My №124).



Издательство „АТРИУМ“
предлагает
вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А.С.ПУШКИНА
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“
Текст романа сопровождает
серия новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;
впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;
фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.
Общий объем – 752 стр.
Тираж книги – 5000 экз.
999 экземпляров нумерные
Контактный тел. (095) 258-1992



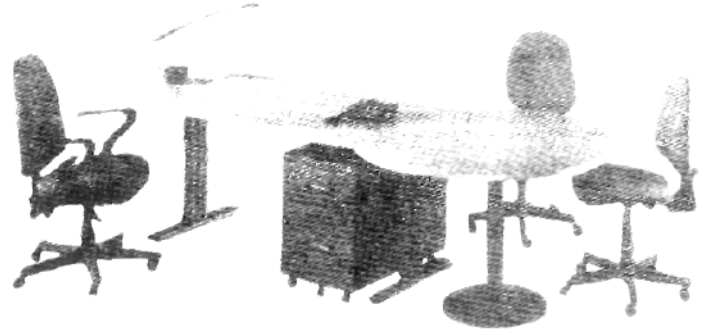
ДОМА НА КИПРЕ

Продажа без посредников, адвокатская поддержка.
Гарантия первоклассного английского банка.
Гарантируем ипотечный кредит до 50%.
Оформляем вид на жительство.

А.Р.ИМПЭКС

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Для офиса
Кабинеты руководителя
Универсальные рабочие места
Кресла, стулья, аксессуары



Для дома
Мягкая и корпусная мебель
Гостиные, кухни
Детская мебель

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ!

Отгрузка со склада в москве.

123367, Москва, а/я 001
ВДНХ, пав. "Москва", 4 эт.

(095) 974-6251, 974-6254;
FAX 187-9283.

Принимаются к оплате STB-card

Alfred Glenser

НПК ВЕСТА

Адрес: ул. Б. Полянка, 15.
ст. м. «Полянка».
Москва (095) 230 79 52
230 79 57
230 76 52

Санкт-Петербург (812) 315 74 26
Рига (0132) 37 75 41
Одесса (0482) 28 43 10
Киев (044) 269 43-02
Новосибирск (3832) 32 88 37

АО «НПК–ВЕСТА»

Продажа безналоговых компаний за рубежом в течение 1 часа.

Готовые страховые компании. Регистрация банков.
Разработка схем налогового планирования.
Открытие счетов в западных банках первой величины в течение 1—3 дней.

Вы можете приобрести у нас брошюру «Off-shore companies: Обзоры, комментарии, рекомендации» и «THE BANKERS' ALMANAC» с детальной информацией о всех банках мира.

VKGW

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1995

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

Одновременно объявляется подписка в РОССИИ.

Для тех, кто оформит подписку до 1 мая 1995 года установлена льготная цена — 42 000 рублей, для билиотек — 52 000 рублей.

В розничной продаже — цена договорная.

По вопросам подписки обращаться в Московской центр журнала «ВРЕМЯ И МЫ» по адресу:

119847 Москва, Зубовский бульвар, 17,
Издательская группа "Прогресс—Литера".
Тел.: 246-13-40, 245-22-43

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .
Имя . . . . . .
Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на..... год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

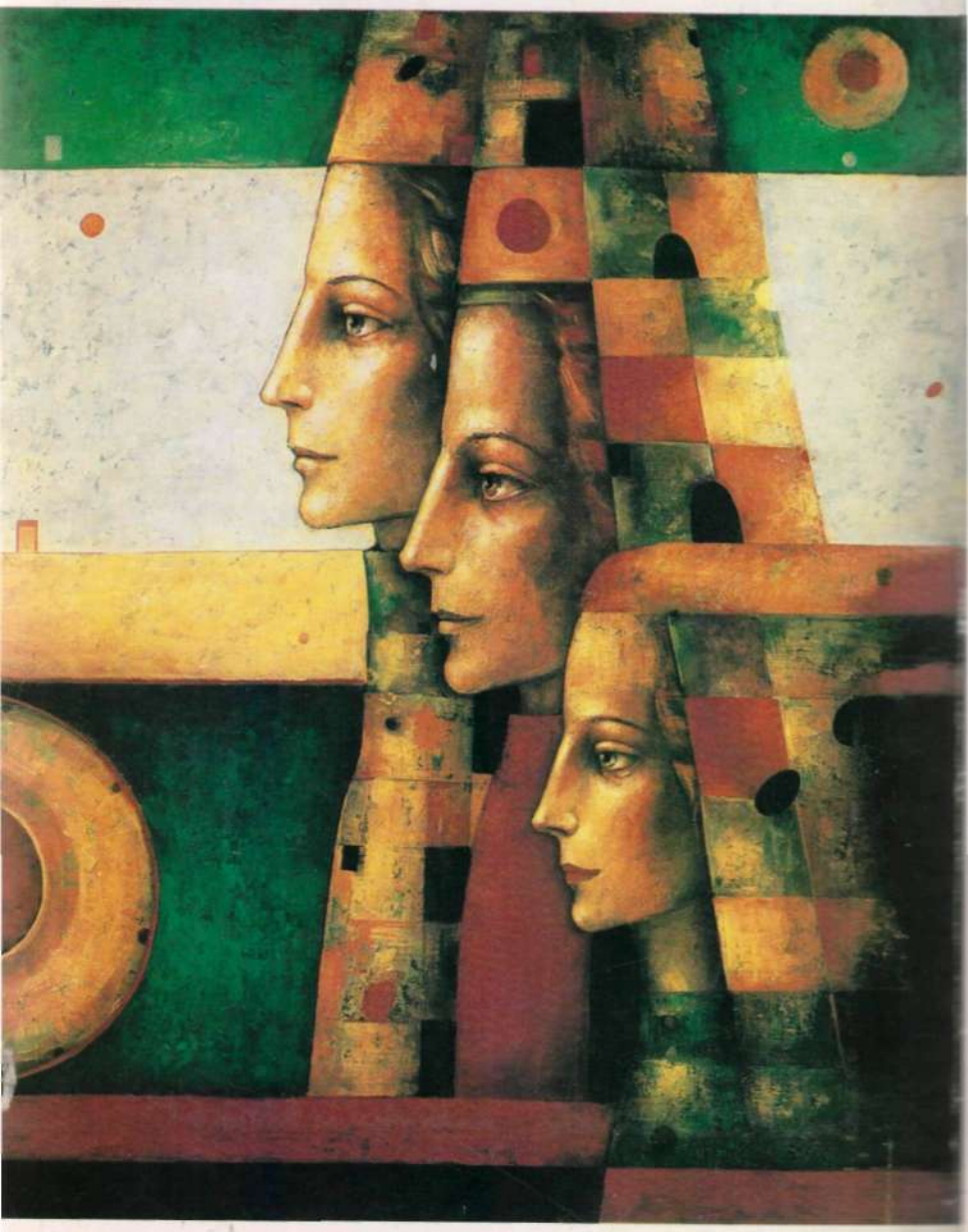
Подпись . . . . . .

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

Главная редакия журнала "Время и *мы":*
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606, USA
Tel.: (201) 592—6155, Fax: (201) 592-6958

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Михаил Александров "Вчера, сегодня, завтра" Масло. Холст.

ЛР № 060775 от 25.02.92.
Подписано в печать 10.03.95. Формат 84xl08V32. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 15,96. Усл.кр.отг. 16,38. Уч.изд.л. 14,55.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 172 С041. Изд. № 49607
А/0 Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17
Можайский полиграфкомбинат Комитета Российской Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93